

ЕВГЕНИЙ АСТАХОВ НАШ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ДВОР



ЕВГЕНИЙ АСТАХОВ

НАШ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ДВОР



ЕВГЕНИЙ АСТАХОВ

**НАШ СТАРЫЙ
ДОБРЫЙ ДВОР**

РОМАН



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1981

84P7
A91

A $\frac{70302-173}{078(02)-81}$ 245—81. 4702010200

ДВОР С ТРЕМЯ АКАЦИЯМИ

Это был самый обычный двор, такой же, как и все соседние. Разве что росли в нем три старые акации. Две рядом, а одна в стороне, поближе к дому.

Акации были высоченные — макушки их дотягивались до террасы четвертого этажа. Поредевшие кроны бросали на утрамбованную глину двора жиденькую тень. Когда поднимался ветер, с акаций летели вниз коричневые стручки. В них, как в детских погремушках, тарахтели мелкие, похожие на чечевицу семена. Если надгрызть мясистый край стручка, то можно высосать сладковатую тягучую массу; от нее было вязко во рту и першило в горле, но тем не менее стручки считались деликатесом, и, когда на всех четырех террасах дома не было видно взрослых, в кроны акаций летели палки.

— Нет, это что пошли за невозможные такие дети! Они опять разобьют нам все окошки! Прекратите сейчас же кидаться! Не то я оболью вас кипятком!..

Это мадам Флигель. Ее так прозвали, потому что она жила на втором этаже небольшого флигеля, что стоял рядом с домом. Больше всего на свете она любила кричать. По любому поводу. Крик у мадам Флигель пронзительный, как крик древесной лягушки перед дождем. Он заполнил весь двор, заглушил гаммы, доносящиеся из открытых окон ее квартиры.

— Раз имеете детей, так извольте следить за этими детьми, чтоб неросло из них одно безобразие!

Ей тут же ответили:

— Что вы там раскричались, как на похоронах? Кипятком она обольет! Цветы свои кипятком поливайте, а чужих детей не касайтесь!

И тогда гаммы резко оборвались, и на балконе появилась дочь мадам Флигель. В руках у нее палочка вроде дирижерской. Поговаривали, что этой палочкой она лупит своих учениц.

— Что я слышу? — размахивая руками, воскликнула дочь мадам Флигель, и голос у нее тоже как у древесной лягушки. — Здесь защищают хулиганов, от

которых нам завтра будет страшно выйти на улицу! Я как педагог немедленно напишу директору школы! И приведу сюда, если нужно, жактовскую комиссию!

Ей тоже ответили, и скандал начал угрожающе разрастаться.

— Заткните эту старую деву, да! — гаркнул из подвала старьевщик Никагосов и захохотал хриплым смехом.

Дочь мадам Флигель у всех на виду упала в кресло. С ней случился глубокий обморок. И сердобольная Аделина Константиновна Мак-Валуа, бывшая актриса городского театра, ахая, бросилась звонить по телефону в «Скорую помощь».

— Ты убил мою единственную дочь, негодяй! Вы видите, она не дышит! Она мертва!..

Окажись в этот момент старьевщик под балконом, мадам Флигель обязательно бы ошпарила его кипятком. Но Никагосов и не думал покидать свою удобную и безопасную позицию.

— Ну где же там ваша «Скорая помощь»? — надрывалась мадам Флигель.

«Скорой помощи» не было — у Мак-Валуа, как всегда, не оказалось мелочи для автомата, а разменять ей рубль никто не спешил.

— Таким некорошим бабам нужно не «Скорый помощь», нужно один короший палька. Или два короший палька. — Михель Глобке, старый, как дворовые акации, немец, чинивший всей Подгорной улице обувь, поднял над головой два пальца. — Ein, zwei — suchen Sie bitte aus *.

Скандал во дворе подходил к обычному своему финалу — дочь мадам Флигель, так и не дождавшись «Скорой помощи», ожила сама по себе и с громкими стонами, поддерживаемая матерью, удалилась с балкона.

— А на тебя, старый бандит, барахольщик ты этакий, я найду управу, ты меня узнаешь! — предупредила Никагосова мадам Флигель уже откуда-то из глубины цветочных зарослей. — Я на тебя самому наркому напишу!..

На этом спектакль закончился. И хорошо, что закончился, потому что даже самый хороший спектакль можно испортить, затянув его.

* Один, два — выбирайте, пожалуйста! (нем.).

Действующие лица и зрители расходились, довольные друг другом, сцена пустела и снова превращалась в обычный двор. Через длинную подворотню в него входил разносчик, тянул за собой осла, груженного большими плетеными корзинами. В корзинах один к одному, словно артиллерийские снаряды, стояли глиняные кувшины с кислым молоком.

— Аба, мацони, мацони-и! — весело пел разносчик. — Кому холодный, свежий мацони?!

Во двор приходили обычно одни и те же разносчики. Они продавали яйца, зелень, фрукты, кислое молоко, овощи и кур. То был передвижной базар, который перекачивали из одного двора в другой на ручных тележках, перевозили на ослиных или на собственных спинах.

— Зелень! Есть зелень! Петрушка, киндза, тархун, цицмат!..

— Вариэби! Цыпленки! Молодой цыпленки! Вариэби!..

— Инжир! Виноград белый-черный! Очень сладкий, как миод!..

Каждый кричал на свой лад, не повторяя друг друга, старался, чтоб его узнали по голосу, не спутали бы с конкурентом.

Крестьяне из пригородных деревень стеснялись кричать слишком громко и тем более расхваливать во всеуслышанье свой товар. Если товар хороший, хозяйка и так поймет. Они приезжали обычно рано утром, и за их ослами трусили смущенные шумом городских улиц большие патлатые псы.

Перекупщики, те, наоборот, голосили вовсю, сыпали прибаутками, стучали в окна, звякали чашками весов.

— С-с-екла ставлять!..

Это стекольщик в кепке козырьком назад, с неизменной самокруткой, прилипшей к нижней губе. Он кричит свое «секла ставлять», не вынимая ее из рта, и самокрутка чудом держится, даже пепел не опадает.

Но звонче всех были, конечно, продавцы керосина. Именно звонче, потому что, во-первых, они вовсю звонили в медный колокольчик, оповещая улицу о своем прибытии, а во-вторых, со звоном и грохотом катилась по мостовой их стальная бочка на кованых колесах, звенели подвешенные к ней мерки и воронки, ведро

под краном, и в дополнение ко всему бренчали жестяными бидонами спешащие из дворов и подъездов хозяйки.

— Аба, керосин! — словно не доверяя колокольчику, покрякивал продавец.

Он не расхваливал свой товар, чего тут расхваливать, и не сыпал прибаутками — керосинщиками чаще всего были сердитые и ворчливые старики.

Темной лоснящейся рукой поворачивал керосинщик кран, сиреневатая струя, пенясь, била в дно мерки.

— В стеклянный посуда наливать не будем. Сё, не будем, и сё!..

Вместе с разносчиками во двор приходили уличные певцы. Чаще других худая бледная женщина в черном платье и молчаливый мужчина со скрипкой. Он доставал скрипку из потертого футляра, трогал смычком струны. Женщина кивала ему, и все знали, что сейчас она будет петь подрагивающим голосом давно забытые, печальные романсы.

— Ах, — вздыхала Мак-Валуа, — когда-то у нее было, наверное, чудесное контральто...

Люди открывали двери, выходили на длинные, опоясывающие дом террасы, стояли, облокотившись на перила, и слушали.

Жильцы в доме на Подгорной улице были на редкость разными. Так уж получилось, что в одном доме собрались совсем непохожие друг на друга люди.

Например, бывший хозяин дома Туманов и его придурковатый сын Никс.

— Вы сами идиоты! — обижался за сына старик Туманов. — Мой Никс — ученый человек, он скоро защитит диссертацию, и ему будут платить по две тысячи в месяц!..

Рядом с ними живет военный летчик Пинчук. Он был на Халхин-Голе, летал там на истребителе. И в финскую войну тоже. Вернулся с орденом Красной Звезды. И мальчишки остро завидовали его сыну Алику, как будто это сам Алик, а не его отец получил боевой орден. Правда, с финской Пинчук уже не сам приехал, его привезли. И он теперь навсегда прикован к большому кожаному креслу с велосипедными колесами.

У летчика спокойные серые глаза и сильные руки, которыми он перебирает туго надутые шины колес...

На первом этаже в самой большой квартире живет

профессор. Говорят, он написал десять толстых книг. Несмотря на свои шестьдесят лет, профессор каждое утро подтягивается на кольцах, делает склёпку, а потом долго и старательно растягивает эспандер. И кажется, что профессор натирает им себе спину, словно мочалкой. По выходным вместе со всеми он играет во дворе в волейбол и кричит задорным тенорком:

— Сэтбол! Мяч на игру!..

— Ничего себе профессор! — возмущенно пожимала плечами мадам Флигель. — Прыгает возле сетки, как заяц.

Профессор человек воспитанный, и он не стал, конечно, в ответ на такие слова выражаться на веселый двор, как это сделал бы Никагосов. Он просто молча посмотрел на мадам Флигель, и та тут же исчезла с балкона, словно растворилась среди своих кактусов и петуний...

Кто только не живет в этом большом доме, которому скоро уже сто лет!

— Его получил в приданое еще мой дедушка, — хвастливо заявлял старик Туманов. — А флигель уже строил я перед войной, в тринадцатом году. И каждый год делал ремонт, между прочим. А что теперь? Хоть бы раз покрасили для смеха.

Он говорил это вполголоса и только тогда, когда поблизости не было летчика. Летчика старик Туманов опасался...

Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан.

Девушку с глазами дикой серны,
Где таились негa и обман...

Это поет женщина в черном платье. У скрипача длинные седые волосы, которые все время падают ему на глаза.

Люди бросают с террас завернутые в бумажки монеты. Они глухо падают к ногам женщины. Мальчишки, стоящие рядом, подбирают их, аккуратно складывают в открытый скрипичный футляр.

И только профессор, когда женщина кончает петь, спускается во двор и, поклонившись ей, кладет в футляр три рубля.

— При его зарплате мог бы и пять положить, — говорит мадам Флигель. — А вообще эти музыканты — одно безобразие, их надо гнать в шею...

ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИЛ ИВА

Вокруг этого города были горы. Конечно, не снежные вершины, какими их рисуют на коробке от папирос «Казбек». Поменьше. Но все-таки горы. Город лежал у их подножия словно в большой коричневой чаше.

Если забраться на самую высокую из окрестных гор, туда, где греются под солнцем развалины древней Персидской крепости, то можно увидеть весь город разом: все его проспекты, улицы, скверы, большие и малые дома, церкви, бирюзовый минарет, иглой уходящий в такое же бирюзовое небо, кривые переулки старой части города, бурое русло реки, разрезанное на части мостами, и гордый средневековый замок на отвесной скале.

Часами можно смотреть, как ползут по тонким ленточкам улиц разноцветные трамваи и еле различимые отсюда автомашины, как снуют они взад и вперед по мостам, будто ищут кого-то в этом перепутанном клубке улиц, переулков и длинных, похожих на трубы проходных дворов.

Если прислушаться, то вверх вместе с полупрозрачной дымкой, висящей над городом, поднимается глухой монотонный гул. Это голос города, сотканный из тысяч человеческих голосов. Кто-то там, внизу, сейчас смеется или поет, кто-то ругается и сердито топает ногами, кто-то плачет, а кто-то просто говорит тихим, спокойным голосом. И все это, смешанное со стуком каблучков, лаем собак, шуршанием автомобильных шин, трамвайными звонками, рокотом реки, шелестом листьев, сливается в единый голос города. О чем он рассказывал, Ива не знал. Наверное, о себе. О многих веках своей долгой жизни, о людях, которые рождались и умирали в его старых, сложенных из кирпича домиках с деревянными надстройками, с балконами, нависающими над улицами, и в его дворцах с зеркальными стенами, с колоннами из розоватого мрамора.

Над старой Персидской крепостью медленно проплывают лохматые полотенца облаков. Бахрома их бесшумно скользит по голубовато-зеленому кафелю неба. Ива смотрит вверх, и ему кажется, что облака вот-вот заденут его лицо, что они даже пахнут так же, как теплые, прямо из-под утюга, мамины полотенца.

Город лежит внизу, удобно уютившись в коричневой чаше, словно в громадной, испачканной землей

ладони. Как много в нем живет людей! Их просто не видно отсюда. А если взять подзорную трубу или большой морской бинокль, то сразу увидишь спешащих прохожих, мальчишек, висящих на трамвайной «колбасе», крикливых разносчиков, усатых милиционеров, важно стоящих в самом центре уличных перекрестков. А там, где люди копошатся, сбившись в толпу, — там базары. Колхозный, Воинский, Молоканка, Майдан. Там кричат и ругаются, пьют вино и чай, клянутся, божатся, надувают друг друга, торгуются, смеются, жарят шашлыки, зазывают покупателей, едят хинкали. Здесь в ходу все языки, а вернее, один объединенный язык. Два-три слова русских, одно армянское или грузинское, еще тюркское, но всем все понятно.

Так говорят в городе многие. И Ромка с четвертого этажа, и тихий Минастик, у которого папа с мамой зубные врачи, и Алик, сын летчика Пинчука.

Летчик зовет сына Шурец. А все остальные Аликом. Ива вначале не мог понять почему. И только потом узнал: так его когда-то звала мать. Шура, Шурец...

— Э, какая это была красивая женщина! — Старик Никагосов закрывал глаза, качал головой. — Я ее еще девочкой знал, на этих вот руках держал. Тогда наш летчик, как Алик был, только хулиган немножко. С крыши на стенку один раз лазил, глицинию рвал. Я тридцать лет в этом дворе живу, про всех что хочешь знаю...

А вот Ива в этом дворе жил всего лишь год. И знал только то, что было на виду и составляло жизнь людей, объединенных очень сложным, во многом еще недоступным ему понятием: «соседи».

«Не купи дом, купи соседа» — так издавна было принято говорить в этом городе.

И все ж не каждый сосед становился другом. Что-то порой разъединяло соседей, Ива видел это. Причин он не знал, а спрашивать о них стеснялся.

Как много загадок прячется в этом старом городе, лежащем у подножия коричневых гор! Кого только не знал он, кого не видел...

В этом городе рождались герои, поэты, путешественники, купцы, искусные чеканщики, резчики по камню, музыканты, дерзкие разбойники и просто бездельники, способные слоняться весь день по улицам и глазеть на что придется. Вроде того же Ромки.

— Я вчера на Центральном мосту остановился и давай смотреть в воду. — Ромка сидел между зубцами крепостной стены, как в кресле, держал в руках извивающегося желтопуза *. — Смотрю, смотрю, как будто там, в воде, что-то очень интересное лежит. Пятнадцать человек около меня собралось, даже больше, тоже смотрят... Ха-ха! Я ушел потом потихоньку, а они все стояли... — Он покрутил в руках желтопуза. Тот выгибался кочергой, скрипел кожей совсем как новенький бумажник. — Скрипит, — сказал Ромка и вздохнул. — В прошлом году я бо-ольшого желтопуза в автобус кинул. В открытый, знаешь, как корзина, ну «союзтрансковский», с туристами. Вах! Какой крик стоял! Я полчаса бежал, а они все кричали.

Ромка есть Ромка. Даже профессор, который никогда ни на кого не сердится, и тот однажды погнался за ним с выбивалкой для ковров. Не догнал, правда, Ромка здорово умеет бегать...

Минасик сидел рядом с ним на крепостном зубце и жалостливо поглядывал на желтопуза.

— Выпусти его, на что он тебе? Смотри, совсем уже замучился.

— А я не замучился, да? — возмутился Ромка. — Лучше желтопузом быть, чем такая жизнь! В школе учителя и Джулька покоя не дают, дома отец и опять Джулька. Мать тоже добавляет, бабка тоже. А желтопуз что? — Он положил пленника за пазуху. — Живет как Минасик, никого не кусает, его тоже никто не кусает.

— Пора домой, — сказал Ива.

— Пора, — Ромка прыгнул с крепостной стены на землю, отряхнул штаны. — Отлупит меня сегодня отец, обязательно отлупит. За то, что с уроков удрал. Джулька ему сказала, забурда ** такая! Как хорошо, что у тебя сестры нет. Скорей бы выросла она, я б ее замуж за Никса отдал, хорошая парочка получилась бы, да? — Он вытащил желтопуза из-за пазухи, протянул его Минасику. — На, возьми своего родственника. Пошли!

Ива последний раз глянул вниз. Вечерние тени синими языками лежали у нагретых за день стен. Дома неохотно взбирались по склону горы. И чем выше и круче она становилась, тем меньше домов осмелива-

* Большая безногая ящерица.

** Болтун, пустомеля (груз.).

лись лезть дальше. Только самые маленькие и, видать, бесшабашные домишки рискнули добраться почти до крепости и затаиться в тени ее все еще величественных бастионов.

Много веков стоял этот город на перекрестке оживленных торговых дорог. Все смешалось в нем: Восток с Западом, бирюзовый минарет с золотыми луковицами русских церквей, с костистыми шпильями костела и кирки, с остроконечными шлемами грузинских и армянских храмов.

Разноязычный и веселый, он бежал навстречу мальчишкам, а может, это они бежали с горы навстречу ему...

ПОСЛЕДНИЙ САМОЛЕТ ЛЕТЧИКА ПИНЧУКА

Ромкин отец был директором ресторана «Олимпик». Домой он приезжал поздно вечером, торопливо поднимался по лестнице с большой скрипучей корзиной в руке. Что было в корзине, никто не знал, но все догадывались.

— А что вы хотите, — говорил старик Туманов, — чтоб он за одну зарплату работал? Нет, до чего же вредные люди живут в нашем доме! Разве раньше я допустил бы таких жильцов сюда? Да ни за что! Куда все идет, куда катится?!

На террасу, перебирая руками колеса, выехал летчик, и старик Туманов, так и не выяснив, куда все идет и куда катится, поспешно ушел в свою комнату.

Каждое воскресенье, как только спадала жара, во дворе начинались волейбольные сражения. Играли взрослые. Азартно и долго, до самой темноты. Судил матчи летчик. Он подкатывал кресло к самым перилам террасы и, сильным броском послав мяч на площадку, объявлял:

— Розыгрыш подачи!..

Двор как маленький стадион. Слева четыре этажа — четыре террасы во всю длину дома, словно трибуны, с которых так удобно смотреть игру. Справа глухая стена соседнего дома.

Если мяч стучался о нее, то летчик тут же свистел:

— Аут! Потеря подачи!..

Между подворотней, ведущей с улицы во двор, и стеной соседнего дома примостился флигель. Его боль-

шой балкон тоже как трибуна. Только на нем никогда не бывало зрителей — мадам Флигель и ее дочь не любили волейбол.

Двор упирался в невысокую кирпичную стену. Невысокую, если смотреть со стороны двора. А так она уходила вниз метров на пять. Там, внизу, был другой двор, густо заросший туйей и кустами одичалой сирени. Витые стволы глицинии, похожие на две мускулистые руки, ползли по стене. Цепляясь за вымытые дождями швы кладки, они поднимались высоко вверх, до самой крыши соседнего дома, и там, раскинув десятки щупальцев, повисали зеленой пышной шубой. В начале лета грозди лиловых цветов дразнили мальчишек: попробуйте доберитесь до нас!..

Цветы цветами, а если вот ухватиться за стволы, то можно спуститься в нижний двор, например, за упавшим туда волейбольным мячом. А мяч то и дело перелетал через стенку.

Раздавался свисток судьи и дружное:

— Автора-а!..

«Автор», немного смущенный всеобщим вниманием, поспешно перелезал через стену, спускался в нижний двор, шарил там в кустах сирени.

Минута, и мяч возвращался на площадку, игра продолжалась...

Во дворе среди ребят старшим был Алик. Он ходил в отцовской кожаной тужурке со следами от споротых петлиц, и это делало его похожим на взрослого. Все, кроме Ромки, подчинялись ему. Алик был справедливым в спорах, драться не лез, и поэтому получалось, что подчиняться ему легко и даже приятно. Один Ромка имел по этому поводу свое особое мнение:

— Э! Почему он должен командовать? Он кто такой? Подумаешь, на два года старше!.. Тужурку имеет! Я отцу скажу, мне тоже такую купят. Если плохих отметок в четверти не принесу.

— Так то купят, — возражал ему Ива. — Купить многое можно, да что толку. В этой тужурке его отец на Халхин-Голе летал и в финскую. Это боевая тужурка!

— Боевая-моявая! — не сдавался Ромка. — Зато у меня новая будет, блестящая, во!

Но сколько бы ни разорялся Ромка, сколько бы он ни хвастал, Алику все равно завидовали, хотя, по при-

нятым во дворе законам, завидовать друг другу не полагалось.

Когда летчик Пинчук вернулся из госпиталя, его встречал весь дом. Два здоровенных парня — племянники Мак-Валуа — вынесли его на руках из машины, и все старались протиснуться вперед, поближе, пожать большую сильную руку летчика, глянуть на красную эмаль его звезды, горящей на отвороте летной ту-
журки.

Даже старик Туманов, и тот крутился среди других, а его шепелявый Никс все пытался произнести речь:

— Мы очень тебе приспательны...

Но речь сказал дядя Коля. Он обнял летчика за плечи, поцеловал его в щеку.

— Ты молодчага! — сказал дядя Коля. — Ты герой нашего советского неба! И ты должен знать, что мы все, твои соседи, гордимся тобой, и, как говорится, не теряйся, все будет на большой. — И он оттопырил короткий, темный от въевшегося металла палец, поднял его над головой, как бы показывая собравшимся, что все у летчика будет отлично.

Ни в одном из домов на Подгорной не было сразу двух орденоносцев. Вся улица говорила:

— Очень знаменитый стал этот дом! Два года назад встречали профессора — орден Ленина человеку дали! Какой, значит, умный он, сколько книг прочитал! Теперь смотрите — летчик, оказывается, тоже не просто так себе летчик был. Три самолета сбил! За четвертым тоже погнался, но не повезло. Очень жалко — хороший человек этот летчик...

Четвертый самолет часто снился летчику. Он видел, как настигает его. Вот мелькнул в перекрестье прицела фюзеляж, еще секунда, и палец, лежащий на гашетке пулемета... Но самолет на крутом вираже уходит в тучу и исчезает в ней, как в черной кляксе. И снова взлохмаченное небо и фюзеляж в кресте нитей, и онемевший палец на пулеметной гашетке. А потом тишина. Молчит мотор. Что-то случилось с ним, словно не выдержал он сумасшедшей гонки в скованном морозом небе. Можно бросить машину, ледяной ветер обожжет лицо, натянутся струнами парашютные стропы, а беспомощный истребитель, кувыряясь, полетит к земле, врежется в черные финские сосны. И все из-за того, что остановилось на секунду его сердце.

Голова летчика мечется по подушке. В который раз сажает он в снег свою машину, который раз бьет его в спину короткий тупой удар.

— Ты что, папа?!

— А?.. — Летчик открывает глаза. — Это ты, Шурец? Ничего, ничего... Порядок, Шурец, уже порядок. Спи...

А вот у Ивы отец ничем не знаменит. Он инженер-технолог на том же заводе, на котором работает дядя Коля. Каждое утро они вдвоем едут через только-только еще просыпающийся город в разболтанном, дребезжащем трамвае. Знакомый старик кондуктор в фуражке из мочала, увидев их, дергает за сигнальный шнур и останавливает вагон.

— Аба, ватман! Подожди! — кричит он. — Что значит нет остановки? Людям на завод надо, не в духан! Ва, что ты за человек, да?..

* * *

Как все толстяки, Минасик любил помечтать.

— Кем ты будешь, Ивка? — в который раз спрашивал он.

— А ты?

— Мне вообще хотелось бы доктором, — отвечал Минасик и, почему-то краснея, добавлял: — Ну можно и зубным врачом...

Эти сокровенные беседы велись обычно на крыше кирпичной пристройки, стоящей в углу двора, вплотную к стене соседнего дома. Когда-то, говорят, в пристройке была кухня. От нее шла галерея прямо к флигелю, в котором до революции жил биржевой маклер Сананиди. А потом он удрал за границу, галерея сгорела, кухню закрыли на большой висячий замок и теперь хранят в ней всякий хлам. Лишь высокая кирпичная труба, соединенная с дымоходом соседнего дома, напоминает о том, что в пристройке и вправду когда-то была кухня.

Забраться на ее крышу так, чтобы никто не заметил, можно только с нижнего двора по стволу глицинии. Здесь, сидя на теплой от солнца черепице, ребята чувствовали себя надежно укрытыми от любопытных взоров — крыша была с крутыми скатами, сиди сколько хочешь, никто не увидит...

ПОХОД НА ОЗЕРО БЕЗЫМЯННОЕ

Однажды на уроке учитель зоологии, рассказывая о земноводных, сказал:

— Знаете, дети, километрах в двенадцати от нашего города есть озеро, в котором, по слухам, водится малоазиатский тритон. Мольге витата — это его латинское название. А если верить справочникам, то вообще на территории Закавказья этот вид водиться не должен. Вот ведь как интересно!..

Учитель был старенький и тащиться куда-то в горы на поиск тритоньего озера не мог. Но где его следует искать, объяснил.

— Вы сами там были? — спросил его Ива.

— Когда-то очень давно. А теперь увы. Я сердечник, и мне рекомендуют избегать крутых подъемов...

— Давай сходим на это озеро, — предложил Ива Минасику.

— Ты знаешь, моя мама...

— Но если нам удастся найти этих самых тритонов, мы же почти открытие сделаем!

— Открытие, конечно... Но мама очень волнуется, даже когда я ухожу к Персидской крепости, хотя она совсем рядом.

— Ну, может, как-нибудь... — Иве долго не шло на язык никакое другое слово, кроме «обмануть». — Как-нибудь... придумать что-то.

Минасик понял его.

— Нет, — он снова покачал головой. — В воскресенье к нам всегда приходит бабушка. И другая бабушка, и еще тетя Маргарита. Мне надо быть дома, неудобно.

— Скажи: не пустят, — вмешался в их разговор Ромка.

— Да, не пустят, — покорно согласился Минасик.

«Очень жаль, — думал Ива. — И что они у него такие панические? Подумаешь, сходить на озеро. А без Минасика идти неохота...»

И тут снова вмешался Ромка. Он всегда умел горячо браться за дела, к которым еще минуту назад не испытывал никакого интереса:

— Это вы про то озеро, что учитель рассказывал? Слушай, я тоже пойду. Поймаю этих... как его, он говорил, ну?

— Малоазиатских тритонов, — подсказал Минасик.

— Правильно! Почему он так называется — тритон? Что, три тонны весит? — Ромка рассмеялся своей шутке, хлопнул Минасика по плечу. — А ты давай сиди дома, маменькин сынок. Убежать не может. Жирный, как барашка, любит манный кашка! — Окончательно развеселившись, Ромка почувствовал себя главой затеваемого дела. — Ловить их чем будем? Руками? — Сачок бы надо сделать, — сказал Ива, — из рыболовной сетки.

— Правильно! Пусть Алик сделает сачок, он что хочешь может сделать. Молодец, хорошие руки имеет. Его тоже надо позвать, пусть с нами пойдет. — И Ромка, продолжая планировать предстоящий поход к озеру, добавил с уверенностью: — Обязательно пойдет Алик. Скажем ему: пусть ружье свое возьмет. Если убьет зайца, можно шашлык пожарить.

На том и порешили: идти втроем в ближайшее воскресенье.

* * *

На языке школьников это называлось «шатало». Термин происходил, надо думать, от слова «шататься». Шататься по городу или за городом вместо того, чтобы сидеть в школе на уроках.

«Шатало» было большой слабостью Ромки. Если бы школа находилась на самой Подгорной улице, дело другое. Но кто-то додумался расположить ее в очень неудачном, с точки зрения Ромки, месте. Пока дойдешь, нужно дважды свернуть за угол. С Подгорной на Арочную, а потом еще в переулок. Один раз обязательно свернешь не в ту сторону, да еще при этом вспомнится, что первый урок математика или, еще хуже, немецкий! Куда же тут деться человеку? Поневоле пойдешь на «шатало».

Конечно, иногда случались осложнения из-за Джульки. Откуда она только бралась в самый неподходящий момент — как раз когда Ромка приближался к роковому перекрестку улиц? И сразу же поднимала ужасающий крик и грозила. Лупить ее портфелем, это только время зря тратить; уговаривать по-хорошему тем более. Приходилось Ромке сворачивать к школе.

— Замолчи, захурма*! — огрызался он на ходу. — Видишь, иду? Чего еще хочешь?

* Ворчун, ворчунья, брюзга (азерб.).

И поддавал сестрице портфелем.

— Ненормальный, ненормальный, ненормальный! — единым духом выпаливала Джулька, тыча пальцем в самый нос брату. Был у нее такой излюбленный прием при оценке действий противника.

Что касается Ивы, то и углы и повороты его не смущали, он всегда сворачивал правильно. Ну а Минасик, у того даже мысль о «шатало» вызывала почти суеверный ужас.

Ромка пренебрежительно сплевывал сквозь зубы.

— Дрейфит, ну.

— А вот выгонят тебя из школы, — пытался парировать Минасик.

— Подумаешь! Это ты хочешь стать как наш профессор. А я лучше к Люлику пойду...

Люлька — парень лет девятнадцати — был известным на всю Подгорную хулиганом. Ходил он в шикарных диагоналевых галифе, сапогах «царского» покроя, со срезанными под прямым углом носами и, по уверению Ромки, всегда носил при себе финский нож.

— Вот такой! Шестой номер, ну! — Ромка, выставив перед носом перемазанные чернилами пальцы, показывал, какого размера у Люлика финка.

И вот неожиданно для всех пойти на «шатало» предложил Минасик.

— В воскресенье меня с вами все равно не пустят, — сказал он. — Искать озеро? Нет, безнадежное дело, не пустят. Пойдемте в пятницу с самого утра, а к концу уроков вернемся.

— Аоэ! — обрадовался Ромка. — Давай на «шатало»! Молодец, Копижир!

В Иве боролись два чувства: зачем удирать с уроков, когда можно пойти в воскресенье? Но, с другой стороны, как идти без Минасика? Ведь он-то в этом деле как бы главный. Без него и тритонов не найти — никто никогда их не видел. И карту они вместе чертили. Дорога к озеру вилась по ней пунктирной змейкой, все до одного ориентиры, перечисленные учителем зоологии, были нанесены разноцветной тушью: родник, старое кладбище, холм с одиноким дубом на вершине, загон для овец, каменный столб.

Да что там карта! Дело совсем в другом. Вот придут они на озеро, и вдруг тот же Ромка, наугад пошарив в воде, торжествующе заорет:

— Иф-иф-иф! Смотрите, я какуй-то гадость с хвостом поймал!

Но окажется, что это никакая не гадость, а великолепный экземпляр малоазиатского тритона. Мольге витата!

Ромка, который вообще во всей этой затее сбоку припека, который лишь благодаря доброте старичка зоолога имеет в четверти «посредственно с минусом», вдруг сделает научное открытие! И в журнале «Юный натуралист» появится фотография: Ромкина физиономия с нахальной улыбочкой и малоазиатский тритон, когорый, по общему мнению, должен водиться совсем в других краях. Ромка держит тритона за хвост своими перемазанными в чернилах пальцами с таким видом, словно он поймал по крайней мере нильского крокодила.

— Может, тебя все-таки пустят в воскресенье? — на всякий случай спросил Алик.

Минасик грустно покачал головой.

— Тогда пойдем на «шатало»! — Ива сказал это решительно, как отрубил. — Если уж Минасик рискует...

— Я не рискую, я только потому, что... это... в научном отношении...

— Научном-паучном! — перебил Минасика Ромка. — Идем, значит, идем. Все! Барахло надо вечером в старой кухне, наверху, спрятать. Сачок этот ваш, котелок, что там берем, ну еще? Только чтоб Джулька не увидела.

Джулька не увидела. Предлог уйти в школу раньше обычного нашелся. Залезть по стволу глицинии на крышу старой кухни и забрать припрятанное с вечера снаряжение, а заодно оставить там школьные портфели — дело минутное. Еще бы не наткнуться на улице ни на кого из соседей...

Ромка пересчитал собранные накануне деньги, сунул их в карман.

— Идите к Верхнему шоссе, — сказал он. — Я один в гастрономе сагзали* куплю. Зачем толпой ходить?

И верно, толпой ни к чему. Поэтому Алик, закинув на плечи берданку, пошел вперед; за ним, чуть отступя, Минасик. Он нес сачок. Замечательный сачок, сработанный Аликом накануне вечером. Последним шел Ива. Ему достался рюкзак с остальным имуществом.

* Еда в дорогу (груз.).

Все складывалось хорошо, пока вдруг совершенно неожиданно они не услышали очень знакомый голос:

— Нет, что это такие за дети! Не то что уж не здороваются со взрослыми, но даже дорогу им не уступят!

Вот тебе и на — мадам Флигель! С базара, видать, тащится, с корзинницей.

— Здравствуйте... — упавшим голосом сказал ей Минасик.

— Сильно нужно мне твое «здравствуйте»! Видали, какой рыбак нашелся, цепляет своей дурацкой сеткой за лицо прохожих. А еще из интеллигентной семьи, врачи у него, видите ли, папа с мамой...

— Вернемся, пожалуй... — нерешительно предложил Минасик, когда мадам Флигель свернула за угол. — Застукала она нас.

— Чего застукала? — Алик даже не обернулся, продолжал шагать, придерживая рукой ружейный ремень. — Подумаешь!

— Тебе хорошо! Она твоего папу боится, не напрыгается на него.

— Не ной! А то дождик пойдет.

И хотя Минасик продолжал еще некоторое время нить, дождь все же не пошел. Напротив, ветер разогнал последние тучи, и солнце сразу же принялось поджаривать все вокруг: и крутой склон горы, начинающийся прямо от Верхнего шоссе, и каменную тропу, вьющуюся по нему, и самих путников, и город, который остался у них за спиной. Минасик в последний раз оглянулся на него, отыскал глазами зеленую крышу школы.

«Наверное, начался третий урок первой смены, — тоскливо подумал он. — Еще не поздно вернуться. Можно даже успеть повторить физику...»

Но у поворота тропы уже маячила фигура Ромки. Он ел шоти*, размахивал сеткой с продуктами и кричал при этом:

— Эй! Быстрее, ну! Сколько ждать можно?..

Солнце ползло вверх по небу, тропа ползла вверх по горе, а все остальные ползли вверх по тропе. Легче всего было солнцу, труднее всех Минасику. Во-первых, он был немного толстоват, во-вторых, ходить по горам ему приходилось не так-то уж часто, и, в-третьих, мама одевала его теплее, чем это полагалось по

* Особой выпечки и формы лаваш (груз.).

сезону. Обливаясь потом, Минасик опирался на сачок, как на посох, во рту у него все пересохло, а горячая тропа становилась все круче, и казалось, что ей самой нестерпимо хочется, перевалив через гребень, сбегать наконец в какую-нибудь прохладную низинку, заросшую кизилковыми кустами, окунуть сухие камни в мелкую прозрачную речушку, смыть с себя колючую пыль.

Но на карте не было никаких речушек и приветливых низин. Имелся, правда, родник, но до него надо было еще добираться и добираться.

Пить хотелось всем, и каждый переживал это по-своему. Ромка, наевшись хлеба с сыром, корил всех за то, что не взяли с собой воду.

— Ну и купил бы в гастрономе лимонад, — сказал ему Ива.

— А ты напомнил мне? Скажешь, напомнил?

Алик в такие разговоры не вступал, потому что, сколько ни говори, ни вода, ни лимонад от этого не появляются.

— Почему не взяли лимонад?! — настырничал Ромка. — Почему, ва?

Ему никто не отвечал.

Тогда он принялся за Минасика.

— Где твой родник?! — наскакивал Ромка. — Где, ну? Карты рисует, профессор Копижир! Родник, озеро... Где родник?!

— Не дошли еще, — оправдывался Минасик. Он брел позади всех, держась за сачок двумя руками. — Сперва должен быть загон для баранов, а потом уже родник.

Минасик был прав лишь отчасти. Загон для баранов и родник оказались в одном и том же месте. Каменное корыто, обросшее зелеными волосами тины, было полно воды. Тоненькой струйкой стекала она вниз по каменному желобу.

Ромка первым добежал до родника. Он окунулся в него по плечи и замер. Можно было подумать, что он пьет не только ртом, но и ушами, и носом, и глазами. На дне корыта сидели маленькие лупоглазые лягушки. Но всем было не до них — пусть хоть крокодилы сидят!

Вода, не очень холодная и солоноватая, только сначала показалась вкусной.

— Так себе водица, — сказал Ива, напившись.

— Лучше, чем никакая, — возразил Алик.

— Лимонад как забыли купить! — снова возмутился Ромка. — Теперь с лягушками пьем.

— Вообще-то лягушки... — начал было Минасик, но его перебил чей-то окрик:

— Э, швилебо! *

Обернувшись, они увидели пастуха с седой бородкой. Он стоял у входа в кош ** и махал им рукой.

— Что вы пьете эту воду? — кричал старик. — Это плохая вода, кто ее пьет? Только мои овцы. Вон там, за холмом, хорошая вода, настоящий цкаро ***, сладкий и холодный. Под большим дубом, внизу сразу.

— Вот видите! — торжествовал Минасик. — На нашей карте все верно: сперва загон, а потом уже родник.

— Ты бы и пастуха нарисовал. — Ромка шел, минутно сплевывая себе под ноги, видимо, вспоминал лягушек на дне каменного корыта.

Теперь тропа, словно ей тоже надоело тащиться под солнцепеком, частенько ныряла в неглубокие тенистые ущелья, заросшие барбарисом и дроком. Прошли заброшенное кладбище и каменный столб с полустершейся надписью: «Здесь начинаются владения князя...», а озера все не было. Не было и леса. И крутого спуска перед лесом. А все должно уже было появиться, если верить Минасикиной карте.

— Ну где твой дремучий лес? — насмешничал Ромка.

Леса не было. Деревья стояли больше в одиночку или небольшими группами.

— А где озеро? — не унимался Ромка. — Э, лучше б я в другое место на «шатало» пошел бы.

— Чего ты пристал? — возмутился в конце концов Ива. — Родник был? Был. И кладбище, и столб были. Значит, будет и озеро.

— И лес дремучий?

— И лес.

— Пусть тогда Алик в лесу зайца убьет. Шашлык сделаем. — Чувствовалось, что Ромка проголодался.

— Зайца трудно найти. — Алик переложил берданку с плеча на плечо. — Собаки нужны. Вот у дяди Коли — Унал и Гера...

Ромка терпеть не мог дяди Колиных собак. У него у самого была собака. Когда кто-нибудь, разгляды-

* Сынки (груз.).

** Загон для овец (груз.).

*** Родник, ключ (груз.).

вая ее закрученный девяткой хвост, замечал: «Дворняжка типичная», Ромка смертельно обижался.

— А ты сам что, князь?! — кричал он. — А ну куси его, куси, чтоб меньше говорил!..

Так они шли и препирались, время от времени впуская в спор Иву. Ромку особенно возмущал тот факт, что Алик спорит из-за чужих собак. Из-за своей можно, пожалуйста, а раз собаки дяди Коли, пусть тот и хвалит их, при чем здесь Алик?..

— Озеро! Озеро!..

Это кричал Минасик. Он первый увидел озеро. Если б не он, озера вообще никто бы не увидел, потому что, занятые своим спором о собаках, Ива, Ромка и Алик продолжали идти по дороге, в которую постепенно превратилась тропа. Дорога тянулась до самого края неоглядного плато, исчезала в полях. А надо было свернуть вправо, на совсем неприметную, заросшую травой тропинку, пройти по ней полсотни шагов до края крутого, почти обрывистого склона. Внизу, под ним, пряталось озеро, а дальше, до самого горизонта, громоздились зеленые волны леса.

Если уж говорить начистоту, то по тропинке Минасик пошел случайно. Отстав от всех, он проглядел поворот дороги и свернул на тропинку. Вот и все.

— Озеро! — кричал Ива.

— Озеро! — вторил ему Алик.

Ромка сначала тоже завопил:

— Аоз! Озеро! — Но потом, приглядевшись к нему, заявил: — Из-за такой джабаханской лужи я столько шел по жаре и пил воду с лягушками?

Озеро и вправду было совсем небольшим. Но все-таки лужей называть его не следовало. Тем более джабаханской.

Голубым пяточком лежало оно на зеленой ладони леса. Узкая желтая тропинка, вытоптанная в склоне, то появлялась, то исчезала в густых зарослях кизила.

Добежать до озера было делом десяти минут. Выбрав тенистое местечко, Ромка развел костер и принался за стряпню. Все шло отлично.

— Эй, Минас! Все стынет, ну! Здесь тети Маргариты нет, чтоб тебе отдельно подавать.

Но Минасик даже не оглянулся. Босиком, в одних трусах он продолжал бродить по берегу озера, всматриваясь в его глубину, раздвигая сачком буро-зеленые переплетения водорослей. Мольге витата! Ради них он

впервые в жизни решил податься на «шатало». Что ждет его впереди, дома, подумать страшно! И если еще не найти тритонов...

Как часто жизнь бывает несправедливой к людям!

Первого тритона увидел Ива. Какой же это был красавец! Расставив лапы и почти не шевеля широким разноцветным хвостом, тритон парил в зеленоватой воде. Роскошный гребень, идущий вдоль спины, переливался всеми цветами радуги.

Сачок под тритона подводили с предельной осторожностью, чуть дыша. Минасика сразу же отстранили как человека неловкого и физически слабо подготовленного. Тритон лениво пошевеливал хвостищем и, казалось, не обращал на приближающийся сачок никакого внимания.

— Давай! Давай!.. — Минасик от нетерпения приотпывал босой ногой. Бурые брызги летели на Ромку, но тот не замечал такого безобразия.

— Р-р-раз!

Тритон в сачке!

— Аоэ! Попался!

Четыре головы, стучаясь лбами, склонились над мокрой сеткой.

— Может, он ядовитый? — усомнился Ромка.

— Сам ты! Погодите!.. Не жмите его! Надо замерить экземпляр. — Минасик достал из кармана линейку. — Осторожно! Упустите!.. Так... Шестнадцать сантиметров длины. Королевский экземпляр!

Все в этот день складывалось удачно: никто не мешал охотиться за тритонами, не приставал с вопросами вроде:

— А зачем вам эти... ну такие... как их зовут? Что, кушать можно, да?.. Нельзя? А тогда зачем ловите?..

Ловцы тритонов были одни, если не считать старика, что стоял, засучив брюки, в дальнем углу озера по колено в воде. В одной руке старик держал зонтик, в другой газету. Время от времени он прерывал чтение, закрывал свой зонт и, выйдя на берег, снимал присосавшихся к ногам пиявок, складывал их в большую банку из-под варенья.

— На живца ловит, — смеялся Алик.

— Для аптеки, наверное. — Минасик с опаской посмотрел на свои толстые белые ноги. В воде они казались еще толще. — Это же медицинские пиявки, они кровь пьют...

Старик наловил полную банку, долил в нее воды и, обувшись, неторопливо поплелся вверх по тропе.

Несмотря на всю необычность промысла, особого интереса к себе он не вызывал. Подумаешь, какие-то пивки, когда здесь научное открытие сделано! Обнаружено обитание малоазиатского тритона в озере...

— А как называется это озеро? — спросил Ива.

— Не знаю, — ответил Алик.

— Надо будет на обратном пути спросить в деревне.

Но, как оказалось, озеро названия не имело. Вернее, оно имело очень много названий. Каждый в деревне называл его по-своему. Один старик уверял, что самое правильное название — Сорочье озеро.

— Почему Сорочье, дедушка?

— Кто знает, швилебо? Наверное, там сорока когда-нибудь утонула.

Были и другие варианты: Лесное, Кизиловая падь и даже Нестори́на лужа.

— Я же говорил — лужа! — обрадовался Ромка.

— Вот надо же! Найден вид тритона, не встречавшийся ранее в этих местах, но как угораздило его выбрать себе для жительства озеро, у которого нет приличного названия! Как теперь писать статью в «Юный натуралист»?

— А если Безымянное? — предложил Алик.

— Верно, Безымянное. Отличная мысль! Вроде бы и есть название, и в то же время нет его. В примечании же можно будет указать, что местные жители называют это озеро еще и Лесным и Сорочьим.

— И Несториной лужей, — напомнил Ромка...

Самое интересное открытие в этот день было сделано несколько позже. И сделал его на этот раз, как ни странно, Ромка.

— Ва! — крикнул он. — Солнце уже садится. Скоро темно будет.

Это было удивительное открытие! Минасика, например, оно оглушило сильнее, чем всех других. Он даже уронил сачок.

Выходит, вторая смена в школе давно уже кончилась, а до города еще идти и идти. Хотя теперь и вниз, под гору, но все равно очень далеко. Значит, скрыть «шатало» ему никаким образом не удастся.

— Сколько нам еще осталось до дому? — спросил Минасик упавшим голосом.

— Посмотри на свою карту, — посоветовал Ромка. Ромке что! Ему все трын-трава. Матери он не боится, бабки тоже, отец с работы придет поздно ночью, а утром, пока проснется, Ромка уже успеет удрать. Усграиваются же люди!..

Смотреть на карту Минасик не стал. И так все ясно. Они находятся возле заброшенного кладбища. Значит, идти еще часа два, не меньше.

Покрытые сухим лишайником могильные плиты в лучах заходящего солнца казались золотыми.

— «Здесь лежит дворянин»... — прочел Ромка. — Не поймешь, какое слово написано дальше... уезда... какого-то уезда, отставной поручик Чонкаев... 1851 год... Смотри, когда крепостное право отменили, он умер. От разрыва сердца, наверное.

В другое время Минасик не упустил бы возможности лишний раз уличить Ромку в невежестве. Но сейчас, когда солнце, точно издеваясь над ним, стремительно скатывалось к горизонту, Минасику было совершенно безразлично, на сколько лет ошибся Ромка: на десять, на двадцать или даже на сто. При чем здесь десять лет, когда он сам, не задумываясь, отдал бы пятнадцать всего лишь за маленькую услугу: пусть солнце вернется на то место, где оно было, когда, скажем, Ромка поймал первого тритона. Вернись оно, и можно будет успеть домой к концу последнего урока.

Но солнце, как известно, всегда соглашается выполнить только один-единственный приказ человека: встать утром точно в положенный ему час. В ответ на все остальные просьбы оно лишь улыбается. И, как сейчас показалось Минасику, насмешливо.

— Здесь лежит... — Ромка продолжал изучать надгробные плиты.

— Какое мне дело, кто лежит! — взорвался вдруг Минасик. — Вы-то почему сидите?! Вечер уже, темнеет, а они сидят! Вы что, вы ночевать здесь вздумали, да? С поручиком Чонкаевым?

И, не дождавшись ответа, Минасик почти бегом устремился вниз по тропе, подняв над головой сачок, словно знамя...

Обратный путь никому не принес никакого удовольствия. Минасик летел вперед, отставать от него не хотелось; так и мчались под гору, расплескивая из ведра воду.

В ведре находилось двадцать три тритона. Почти

всех их поймал Ромка. Он вошел в азарт и никому не хотел уступать сачок.

— У! Что ты за человек? Я же лучше ловить могу, я уже научился. Смотри: р-раз! И там! Ма-ла-дец!..

Солнце еще не успело сесть, а темнота уже навалилась, тяжелая и непроглядная. В горах почти не бывает сумерек, ночь наступает сразу. Где-то, невообразимо высоко, помигивают звезды, света от них никакого, одна красота. Красота — это, конечно, хорошо, но свет куда нужнее, потому что тропа все время исчезала из-под ног, и Минасик уже дважды сваливался в какие-то ямы.

В конце концов они выбрались на гребень последней горы, и у них под ногами сразу, словно по команде, вспыхнул тысячами огней город.

— Ура! — хотел было крикнуть Ива и не крикнул. Уж больно хорош был разлив огней, зачем же кричать? Постой тихонько, посмотри, каков он, твой город, сколько горит в нем окон, сколько улиц бежит вслед за вереницей фонарей.

Даже Минасик остановился, замороженный видом громадной черной чаши, в которой грудой самоцветов переливались, вспыхивали, мигали, двигались огни...

Все, что произошло дальше, когда они вступили на Подгорную улицу, совершенно не соответствовало их тщательно разработанному плану.

Предполагалось незаметно проникнуть в старую кухню, взять портфели, спрятать походное оборудование и только тогда разойтись.

А что получилось? У подъезда их дома стояла чуть ли не толпа: Минасикины родители, обе его бабушки, вызванные, видимо, по телефону вместе с тетей Маргаритой, затем родители Ивы, все Ромкино семейство, за исключением отца, который еще не вернулся с работы, куча сочувствующих соседей. Тут же крутились Гера с Уналом и без конца задирающий их Ромкин пес.

Проберись незаметно через такой заслон попробуй! Ромка, тот сразу же исчез. Вместе со своим псом и тритонами. Только что были рядом, и нет их.

— Чтоб ты совсем пропал! — кричали вслед Ромке то мать, то Джулька. — Вот погоди, вернется с работы папочка, он покажет тебе, как на «шатало» убежать! Откуда ты только взялся на нашу бедную голову, из-за тебя от соседей стыдно!

Родители Минасика, с бабушками и тетей Маргари-

той, вели себя совсем по-другому: они ощупывали его, словно пересчитывали руки-ноги, все ли на месте, ничего ли не сломано, не откушено, не потеряно. И при этом причитали хором:

— Минасик! Слава богу, Минасик! Мы думали, ты утонул, Минасик!..

— Зачем же было так, Шурец? — тихо спросил летчик. — Ты ведь старший. Здесь эта... В общем, черт знает что она наплела...

Все ясно — мадам Флигель! Как только хватились Минасика, она тут же сообщила, что видела его утром, что тот шел ловить рыбу вместе с хулиганами, один из которых был вооружен до зубов.

И сразу началась паника. Племянники Мак-Валуа, по настоятельной просьбе Минасикиных родителей, бросились искать его на реке. Сами родители, обзвонив все больницы и морги, навели справки о поступивших в этот день утопленниках.

— Да разве сразу найдут? — подливала масла в огонь мадам Флигель. — Когда утонул мой двоюродный дядя, его целых четыре дня искали.

— О-о-о! — метались Минасикины родичи. — О-о! Уже совсем темно, а его все нет! Пропал наш мальчик! О-о, попросите профессора, пусть позвонит в милицию от своего имени.

— Да перестаньте вы! — сердился летчик. — Минас не один, с ним трое товарищей — это ж сила! Ничего не случится, перестаньте!

— Смотря какой товарищ, — добавлял Никс, но так, чтобы летчик не слышал. — Если испорченный мальциска, у которого certe сто на уме, то...

— О-о-о!..

Да, ничего не скажешь, встреча была горячей.

На следующий день выяснилось, что все тритоны исчезли. Не в полном смысле этого слова, но все-таки. Попросту говоря, Ромка отнес их в зоопарк.

— Три рубля за штуку дали, — сообщил он гордо. — Сказали: еще принесешь — возьмем.

— И ты?! — Минасик чуть было не задохнулся от негодования.

— Молчи, утопленник! — отмахнулся от него Ромка. — Что я мог сделать? Джулька визг подняла знаешь какой? «Лягушки!» — кричит; отец хотел на помойку все вылить, я едва убежал с ними. А теперь хоть деньги есть, будете в кино за мой счет ходить...

Эту фразу Ива услышал на улице. Прямо над ним висел мокрый от недавнего дождя колокол репродуктора.

— Работают все радиостанции Советского Союза...

Рядом с Ивой стояли незнакомые люди. Смотрели с испугом на репродуктор. Какая-то старушка в черной накидке начала мелко и быстро креститься. Рабочий в кепке с заломленным козырьком сказал сквозь зубы:

— Война, значит? Ну что ж, им же хуже будет...

Страху Ива не испытывал. Совсем другое чувство заполнило его до краев. Он не смог бы объяснить, что это было за чувство. В нем смешалось все: и удивление, и ожидание чего-то совершенно невероятного, что может произойти буквально через минуту, и незнакомая какая-то тревога, и одновременно восторг от того, что началось особое, героическое время, о котором он до сих пор знал только из книг да кинокартин.

Несутся в атаку наши танки, горит земля, пятятся фигурки врагов. Вот они уже бегут, а за танками лавина красных всадников. Они летят, шашки наголо, сквозь рваные всполохи разрывов, сквозь дым и пламя. И победно заглушает гром сражения ликующее «ура». И музыка, музыка! Еще секунда, мелькнет слово «Конец», и кто-то из самых нетерпеливых, пригнувшись, побежит через зал к выходу.

Это кино. В нем все исчезает, как только зажигается свет. Остается белый прямоугольник экрана, бесполовая давка у дверей и ощущение почти что разочарования — все кончилось, исчезло: и атаки, и команды беззаветно храбрых командиров, и бульдожьих морды врагов в стальных касках с рожками. Вместо этого будет знакомая улица, продавец воздушной кукурузы на углу, двор, три старые акации да еще тонконогие ученицы дочери мадам Флигель с громадными черными папками для нот. Они бегут по лестнице флигеля, высовывают на ходу язык, дразнятся.

— А вот я вас гранатой, козы!..

Воздушная кукуруза, или, как ее называют в городе, бады-буды, похожа на старинную ручную гранату. Сладкий розовый шар, слепленный из поджаренных кукурузных зерен.

«Козы» визжат, в испуге отмахиваются своими пап-

ками, как будто и вправду сейчас разорвется граната. А с балкона флигеля уже несется:

— Вы поглядите на этого хулигана! Он как с цепи сорванный! Мама! Где наш чайник с кипятком?..

«Козы» давно убежали, во дворе никого нет, бады-буды больше не кажется сладкой. Надо идти домой учить уроки...

И вдруг все сразу изменилось в жизни. Так неожиданно и резко.

Война... Война... Война...

Она где-то далеко на западе, у самой границы. Там уже фронт, бессонное небо над горящими деревнями, грохот и дым, чья-то смерть. Как трудно это представить себе здесь, в тихое летнее утро, в городе, где все по-прежнему безмятежно, несмотря на то, что в судьбу этого города, а значит, и в судьбу Ивы вместе с твердыми словами «Работают все радиостанции Советского Союза...» вошло нечто пугающе незнакомое. Ива вслушивался — слова звучали торжественно и властно, они заставляли людей стоять прямо и напряженно, как стоят солдаты в боевом строю. Ива тоже стоял так, вытянув руки по швам, подняв голову к репродуктору, слушая взволнованный перестук сердца:

— Война... Война... Война...

Летчик не пропускал ни одной сводки Совинформбюро. В его комнате на стене висела большая карта с воткнутыми в нее флажками: черные — это оставленные нами города; белые — города, которые бомбила немецкая авиация.

Старьевщик Никагосов забросил свой мешок, перестал ходить с ним по дворам. Целыми днями теперь сидел он в своем подвале, латал что-то, перекраивал, а Михель набивал подметки на старые штиблеты и сапоги.

— Скоро в магазинах ничего не будет, — говорил Никагосов. — Война, что сделаешь? Выходит, это барахло стоит чинить, красить, люди еще поносят, правильно?

— Прафильно, — соглашался Михель. — А нам с топой пудут тениги.

— Слушай, сосед, а если немцы сюда придут, они тебя небось начальником над нами сделают, а? — Он смеялся раскатистым своим смехом с кашлем по полам, хлопал Михеля по худой спине. — Так что готовься в начальники, старый черт!

— Ты турак, — Михель невозмутимо продолжал на-
ващивать дратву. — За такой глупый слова я буду
готовить тля тебя один польшой палка...

Ромкин отец не был больше директором ресторана
«Олимпик», потому что ресторан ликвидировали, а
вместо него открыли столовую для летчиков. Теперь
Ромкин отец ходил в военном кителе и в фуражке за-
щитного цвета, правда, без петлиц и звездочки.

— Ему звание должны дать, — хвастался Ромка. —
Капитана, не меньше. И фуражка другая будет, как
у летчиков.

Но пока что Ромкин папаша ходил без звания и
по-прежнему, возвращаясь вечерами домой, нес в ру-
ке скрипучую корзину, плотно закрытую крышкой.

В школу с войной тоже пришли изменения: многие
учителя были призваны в армию, и математику теперь
преподавал какой-то странноватый дядя с козлиной бо-
родкой. Решая на доске задачи, он без конца ошибал-
ся, стирал написанное ладонью, писал заново.

Отличников у него не было. Неуспевающих тоже.

— На «отлично» только я сам знаю, — говорил он. —
На «хорошо» знают отличники. А на «посредственно» —
все остальные ученики.

А раз так, то отныне Ромке было обеспечено твер-
дое «посредственно», и жизнь его стала просто заме-
чательной.

Вот если б еще не война. Каждый ее день прино-
сил взрослым все новые тревоги и беды. Пропали без
вести племянники Мак-Валуа. Оба и сразу. Под Керчью.

— Но как же так? Как же так? — Она обращалась
с этим вопросом ко всем и к каждому, словно кто-то
мог ответить ей на него. — Всего месяц назад мы про-
водили их! Так же не бывает, правда так не может
быть, чтобы сразу и оба?..

Погиб под Смоленском боевой товарищ летчика, с
которым тот вместе летал еще над желтой рекой Хал-
хин-Гол.

— Валька! — кричал ему по ночам летчик. — Валь-
ка! Слева заходит! Держись, Валька! Я иду! Иду...

— Пап! Ты что, пап?..

— А? Кто?.. Это ты, Шурец?.. — Ухватившись за
ремень, летчик подтягивался, садился на кровати, на-
шаривал в темноте папиросы. — Худо мне, брат...
Но ты спи, спи. Снится мне, понимаешь. Ребята наши
снятся...

— Тц-тц, — сокрушенно цыкал языком Ромкин отец. — Как плохо жить стали — все по карточкам, все по нормам. Вот Михеля выселять придут, он же немец, на дорогу даже продукты собрать не сможем. Тц-тц-тц...

Старик Туманов кивал головой, поддакивал. Остальные молчали, как будто это не Ромкин отец цыкал, а скрипела корзина, которую он каждый вечер ташил к себе на четвертый этаж.

Но Михеля Глобке никто не пришел выселять. Ему было под восемьдесят и у него была больная жена. Говорят, профессор ходил куда-то, хлопотал за них.

Не купи дом, купи соседа...

ГОСПИТАЛЬ НА УГЛУ ПОДГОРНОЙ

На углу Подгорной, наискосок от Ивиного дома, открыли эвакуогоспиталь. Это был не просто госпиталь, каких в городе появилось уже немало, а морской госпиталь.

Главным его врачом назначили известного в городе хирурга Ордынского. Ива впервые увидел этого человека прошлой зимой, когда ходил с мамой в больницу вырезать гланды. Только тогда будущий военврач второго ранга носил не короткую черную шинель и фуражку с крабом, а обычный мешковатый костюм и ничем не примечательную фетровую шляпу.

Несколько раз Ордынский приходил к профессору.

Лет сорок назад они учились вместе в Германии. Будущий профессор по необходимости: за участие в студенческих «беспорядках» он был исключен из Московского университета без права поступления в высшие учебные заведения Российской империи, ну а Ордынский скорее всего просто из прихоти.

— Мне тут нравится, — говаривал он. — В первую очередь потому, что Германия сравнительно небольшая страна. Россия же наша громадна, безмерна, вот ее и лучше, как все большое, разглядывать издали...

Появлению морского госпиталя на углу Подгорной улицы предшествовали два немаловажных события. Одно из них было совсем неожиданным — к дочери мадам Флигель приехала племянница.

— Боже мой! — причитали хозяйки флигеля. — Девочка эвакуировалась из самой оккупации! Ее поезд три раза бомбили! Несчастный ребенок!..

Племянницы могут быть разные. Например, похожие на «коз» — с черными папками «Мюзик», с бантиками в косах. Или на Джульку — Ромкину сестрицу. Но эта племянница оказалась иной.

Во-первых, глаза у нее были не такие, как у всех других девочек, а несравненно лучше. И косы тоже. И ходила она как-то по-особенному. А уж смеялась! Ну кто еще мог так смеяться? «Козы», что ли? Те хихикали. А Джулька, напротив, хохотала басом, словно из бочки: го-го-го.

А у этой смех просто необыкновенный. Ива никогда не слышал такого. И что самое странное — Минасик тоже не слышал. И он был также уверен, что подобные косы, глаза и смех совершенно неповторимы.

Все эти рассуждения были прерваны коротким заявлением, которое сделал Ромка:

— За этой девочкой я буду гоняться. Я первый сказал.

Возразить ему было нечем, он и вправду сказал первым. Иве и Минасику в голову не пришло оговорить себе право «гоняться» за Рэмой.

Внучку мадам Флигель звали Рэмой. Даже имя у нее оказалось необычным. Ни одну девочку во всей школе не звали так. Сколько угодно было Тань, Наташ, Тамарок; Джульетт и тех имелось две, если считать Ромкину сестру. А вот Рэма, Рэма была единственной...

Уже на третий день после ее приезда Ромка, которому тоже, видите ли, очень понравилось это имя, начертил его мелом на кирпичной стене бывшей кухни.

Рэма + Рома

Чему равнялась сумма этих двух слагаемых, оставалось пока неизвестным, но о сути его можно было догадаться.

— Ишь ты, — сказал Алик. — Какой он быстрый!

— А правда имя у нее очень чудесное?

— Имя? — переспросил Алик. — Чего ж в нем чудесного? Имя как имя. Вы разве не знаете, что оно означает?

— Нет. А ты что, знаешь?

— Конечно. Революция-электрификация-механизация-автоматизация.

— Ладно тебе!

— Что значит «ладно»? Она сама мне сказала

— Сказала? Ты с ней знаком?

— Да. Вчера рано утром, когда я делал зарядку, она подошла и сказала: «Здравствуйте, вы тут живете?» — «Тут», — говорю. «А школа здесь близко?» — «Близко», — говорю. «Меня Рэмой зовут. Нас в Крыму немцы захватили, но потом был десант, и меня успели вывезти сюда».

— И долго вы так говорили?

— Долго.

— И она сама сказала тебе, что она эта самая... автоматизация? — переспросил Минасик.

— Революция-электрификация...

— Знаем, слышали, — Ива сердито глянул на Алика. — Все равно имя очень чудесное. Правильно, что ее называли так.

Алик не возражал, только предложил переименовать Ромку. Вынув из кармана кусок мела, он пририсовал букве «Р» еще один кружочек слева. И получилось:

Рэма + Фома.

— А кто это Фома? — удивился Минасик.

— Можешь считать Фомой себя. Можешь Ивку... А может, это я, кто его знает?..

Как выяснилось, Алик узнал не только имя племянницы мадам Флигель, но и то, что она, оказывается, почти на два года старше Ивы и Минасика, а следовательно, и Ромки. Она уже в девятом классе.

— Такая маленькая, — оторопело сказал Минасик, — и уже в девятом...

— Так что не выйдет тебе, Ромка, за ней «гоняться», — мстительно заметил Ива. — На тебя девятиклассница и не посмотрит даже.

— Ва, что ты знаешь? Моя мама на пять лет старше, чем отец, а он же за ней гонялся, когда молодой был.

Ну что тут возразишь? Тем более Ромке. Он, как всегда, неуязвим.

— Ладно, — Ива пожал плечами. — Время покажет.

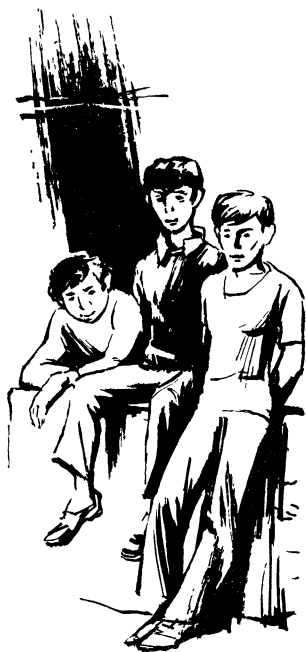
Эту фразу обычно повторял его папа, когда ему нечего было сказать...

Второе событие, сыгравшее немалую роль в жизни ребят с Подгорной улицы, началось с того, что во двор с тремя акациями вошел под барабанный бой довольно необычный отряд. Необычным было не то, что под барабанный бой; ну лупят трое невольно в барабаны, не сбарабанились еще, видно, палочки у них так и спотыкаются, ничего в этом выдающегося нет. Станным было

другое — во главе небольшого отряда стоял знакомый всем человек — учитель географии Кубик. Кубик — потому что звали его Вадимом Вадимовичем Вадиминым. Во всем остальном никакого отношения к кубу он не имел, был, напротив, высокий и худощавый, с вьющимся чубом черных блестящих волос. В десятых классах Вадим Вадимыч преподавал еще и астрономию. Учителем он был всего первый год, выглядел очень молодо, и его самого иной раз принимали за десятиклассника.

Барабаны наконец смолкли; Вадим Вадимыч выступил на шаг вперед и громко, чтобы все слышали, сказал:

— По решению городского комитета комсомола организована Юнармия. Вступить в нее может каждый школьник, начиная с седьмого класса. Юнармейцы будут нести караульную службу, патрулировать свой район, следя за соблюдением правил светомаскировки, изучать боевое оружие, воинские уставы, выполнять различные поручения гарнизонного командования. Юнармия формируется по принципу воинского соединения и состоит из полков, батальонов, рот и взводов. Желающие могут записываться, указав фамилию, имя, номер школы и смену, в которой они занимаются. — И добавил, повернувшись к своим





спутникам: — Приступайте к записи, товарищ комроты.

Комроты был рыжий и с веснушками. Он важно раскрыл большую конторскую книгу, вынул из кармана авторучку, стряхнул ее. Один из барабанщиков подставил ему свой барабан.

На рукавах у юнармейцев были красные сатиновые повязки, на которых по трафарету выписаны бронзой буквы «ЮА», а ниже, тоже бронзой — поперечные полосочки. У командира роты их было три, а у Вадима Вадимыча — две, но зато широкие.

Позади барабанщиков стояли трое юнармейцев с винтовками. Винтовки самые настоящие, с примкнутыми штыками. Только почему-то приклады и ложки не коричневого, как обычно, а черного цвета. От этого винтовки выглядели еще солиднее.

— Винтовки всем давать будут? — крикнул с террасы четвертого этажа Ромка.

— Винтовки выдаются юнармейцам, идущим в караул, а также патрулям, — ответил ему Вадим Вадимыч.

— Тогда я записываюсь в патрули! Аоэ!

— Мама! — тут же вмешалась Джулька. — Иди скорее сюда! Ромке винтовку дают, он всех перестреляет, потом отвечать будем.

Ромка хотел дать ей тумака, но она ловко отскочила и, тыча в него пальцем, затараторила:

— Ненормальный, ненормальный, ненормальный!

— Поймаю, плохо будет, — пригрозил сестрице Ромка и выскользнул в коридор. Боясь столкнуться с матерью, побежал не по лестнице, что вела в подъезд, а по открытой винтовой, объединявшей все четыре террасы. Пользоваться этой лестницей строго запрещалось, так как она вся проржавела, часть ступеней вывалилась, часть держалась на честном слове, перила ходили ходуном — не лестница, а металлолом какой-то. Ромка скакал по ней, нарочно громыхая ступенями, чтобы не было слышно, как кричит его мать:

— Я тебе покажу винтовку! Погоди, придет отец, он тебя научит! Чего вы там, — это уже относилось к Вадиму Вадимычу, — таким хулиганам винтовки раздаете? Он без винтовки скоро всю семью доведет до кладбища.

— Правильно, правильно! — включилась мадам Флигель. — Это безобразие! Если вы сейчас же не пере-

станете кому попало раздавать ружья, мы обратимся в милицию! Мы напишем в газету!

Вадим Вадимыч подал знак барабанщикам, те сыпнули дробью, мадам Флигель что-то еще продолжала говорить, беззвучно разевая рот, как в немом кино, а Ромка застыл на лестнице, где-то на уровне второго этажа — он узнал учителя географии. Дальше спускаться смысла не имело. Какой учитель даст тебе в руки настоящую винтовку? Все это для приманки, лишь бы записался, а потом заставят учить что-нибудь или исправлять отметки. Пусть хоть с десятью барабанами сюда придут, все равно никто не поверит в эти разговоры о винтовках и патрулях.

Когда барабанщики умолкли, Вадим Вадимыч сказал:

— Мы никому не раздаем винтовок и записываем в Юнармию не кого попало, а только школьников из числа успевающих по всем предметам.

«Ва! — подумал Ромка. — Какой я умный, оказывается! Конечно, винтовки так, для разговора. Кубик уже сейчас успеваемость вспомнил, а когда запишешься, что будет?..»

Первыми записались Ива с Минасиком, потом еще двое ребят с нижнего двора.

— А девочкам можно?

Все повернулись на голос. Это была Рэма. Никто и не заметил, как она подошла.

— Конечно, — сказал Вадим Вадимыч. — В Юнармии есть санбатальоны. Они будут оказывать помощь госпиталям. Санбат нашего полка возьмет шефство над морским госпиталем, что рядом с вами, на Подгорной.

Все записавшиеся должны были на завтра явиться в штаб полка для распределения по ротам.

— Ты чего ж, Алик? — спросил Ива. — Почему не записался?

— Я в аэроклуб хожу. Посерьезнее Юнармии будет. Мы летом уже полеты с инструктором начнем.

Это было фантастично! Настоящие самолеты, инструкторы в кожаных шлемах с большими очками, перчатками с крагами, учебные полеты! И Алик говорил об всем, словно это так, обычные вещи. А в Юнармии настоящими были только винтовки.

— Да не настоящие они вовсе, — усмехнулся Алик.

— Нет, настоящие, я же видел!

— Они учебные, стрелять из них нельзя — патрон-

ники просверлены, бойки отбиты. Потому и выкрашены в черный цвет, чтобы не спутать с боевыми.

Алик, конечно, знает. Он, перед тем как говорить, всегда спросит у отца. Значит, учебные, деревяшка с железашкой. Это вам не аэроклуб. Иве стало обидно.

— А разве в аэроклуб принимают шестнадцатилетних?

— Меня же взяли...

Конечно, взяли! А вот не был бы он сыном такого летчика, никто и разговаривать не стал бы.

К стыду своему, Ива еще раз подумал о том, какой незначительный у него отец. Инженер-технолог, даже непонятно, что это такое. Ну работает на заводе, на заводе любой может...

— Ты покажешь мне, где музыкальная школа? Я у вас в городе еще ничего не знаю.

Это Рэма! Конечно, он покажет, где музыкальная школа! А разве она не с тетей своей станет заниматься музыкой? Ах да! Во дворе музыкальной школы располагается штаб полка Юнармии, Ива совсем забыл об этом. Вообще-то можно вместе пойти туда с утра. Почему бы им не пойти вместе?..

Прощаясь, Рэма спросила, кого во дворе зовут Фомой.

— Фомой? — удивился Ива. — У нас нет такого!

— Странно, — в свою очередь, удивилась Рэма. — Я была уверена, что есть Фома.

В тот же день на перемене к Иве подошел Ромка. Мрачный и решительный.

— Ты куда ходил с ней?

— С кем?

— Сам знаешь с кем! Я же видел: вы ходили-ходили, говорили-говорили. Если любишь с девчонками ходить, пожалуйста, ходи с Джулькой, я разрешаю.

— А с Рэмой не разрешаешь?

— Нет! Кто первый сказал: за ней я гоняюсь? Скажешь, ты, да?

— Ну и гоняйся, а я просто хожу и разговариваю.

— Плохо будет!

— Не грозись, не испугаешь! Тоже мне, кочи * на-шелся!

— Ты кто такой? Слушай, ты кто такой?!

С этой классической фразы в школе начинались все

* Силач (груз.).

драки, большие и малые. Ромка лез грудью, вызывая к окружающим:

— Держите меня! Я его покалечить могу, клянусь мамой, потом вам отвечать придется!

Но до драки так и не дошло. Неожиданно для всех в коридоре появился Вадим Вадимыч, на этот раз без повязки с буквами «ЮА», а просто с классным журналом в руках.

— Ну-ну, — сказал он, точно ему было очень интересно поглядеть на драку. — Петушинный бой? Кто с кем? А-а, наш помкомвзвода с несостоявшимся новобранцем. В чем причина конфликта?

— Он нарывается, — мрачно сказал Ромка.

Кубик не потащил никого в учительскую, не пригласил классного руководителя: поговорил и пошел себе дальше по коридору, помахивая журналом. Драться после этого расхотелось. И даже на Минасикину фразу: «Вообще так нельзя: я первый! Никто не подходит! Плохо будет!» — Ромка ничего не ответил, только оглядел его с головы до ног и, напевая: «Жирный, как барашка, любит манный кашка...», ушел в класс.

На следующее утро он появился во дворе музыкальной школы, разыскал дежурного по штабу полка.

— Давай записывай! — сказал он. — Дашь повязку с двумя полосками, я вам еще десять человек приведу.

С двумя полосками ему не дали. С одной тоже. Ромка пробовал настаивать, но ничего из этого не получилось. Так и остался он рядовым юнармейцем...

Неделя прошла в ученье. Сделав с вечера уроки, Ива с Минасиком спешили на плац — так назывался большой, похожий на пустырь двор музыкальной школы. Занятия проводил военрук — тощий, сердитый, в защитном френче с отложным воротником, в пилотке с кантами; из-под пилотки торчали во все стороны крутые завитки седых волос. За двадцать секунд он мог собрать и разобрать затвор трехлинейки и возмущался, когда юнармейцы не укладывались даже в две минуты.

— У меня пружинка лишняя осталась, — робко сообщал Минасик.

— У тебя лишняя, у тебя не хватает, — сердился военрук. — Вот здесь не хватает, — он крутил темным от ружейного масла пальцем возле своего виска. — Смотри сюда, смотри внимательно, ну! — И, как фокусник, в одно мгновение отправлял «лишнюю» пружинку туда, где ей следовало находиться.

Потом начинались строевые занятия.

— Стройся!.. Равняйся!.. На первый-второй рассчитайсь!..

— Р-ряды сдвой! Ась-два!.. Нале-хоп!.. На пле-чу!.. Шаго-м арш!..

Барабанщики уже успели «сбарабаниться», дробь у них сыпалась лихо, идти под нее было одно удовольствие. Хуже получалось с винтовкой. Она все время елозила и то ударяла в ухо, то норовила вообще соскользнуть с плеча.

— Па-чему штыки пьяные?! Рота-а, стой!.. К но-хе! Ась-два!..

Больше всех доставалось Минасику. Ему и барабаны не помогали; он без конца сбивался и шел не в ногу. Пытаясь исправить дело на ходу, Минасик подпрыгивал петушком, отчего винтовка сразу же покидала его плечо.

— У-у, барашка! — возмущался Ромка. — Весь наш двор позорит!..

Минасик даже подумывал о том, как бы ему уйти из Юнармии. Раз не получается ничего, то лучше уж другим не мешать. Он решил посоветоваться с Ивой как с первым своим другом. С мамой Минасик уже советовался. И с папой тоже. Они сразу же, конечно, испугались, сказали категорически:

— Мы попросим, чтоб тебя отпустили. Ты у нас болезненный, от физкультуры освобожден, зачем тебе маршировать с винтовкой да еще со штыком?..

«В общем, надо поговорить с Ивой, — подумал Минасик, — и тогда уж решать окончательно...»

Говорили они на террасе, сначала тихонько, потом погромче и не заметили, как к ним подъехал на своем кресле летчик.

— Эх ты! — сказал он Минасику. — Разве можно от трудного дела бежать в кусты? Армейская служба тяжелая, к ней порой годами привыкают, а ты и недели не выдержал. Стыдно, товарищ мужчина!

— Но у меня же ничего не выходит! — Еще немного, и Минасик бы заплакал. Но перед ним были не папа с мамой и не тетя Маргарита, а боевой летчик в кресле с велосипедными колесами, бывший истребитель с орденом Красной Звезды на отвороте зеленого френча. — У меня и в ногу не получается, и когда «Рота, стой!», я обязательно лишний шаг делаю. И винтовка эта...

— А если придется идти в настоящие солдаты? — спросил вдруг летчик. — На войну если идти придется?

Минасик попробовал улыбнуться.

— На войну мы не успеем, — сказал он. — Кончится война.

Летчик не ответил. Сидел задумавшись, ухватившись руками за шины колес. Верно, виделась ему его карта с черными флажками на тонких булавках. Булавки впились все в новые и новые кружочки, в большие и совсем маленькие, зловещая вереница флажков клином уходила в глубь страны.

— Значит, мне оставаться? — не выдержал паузы Минасик.

— Решай сам, — ответил летчик. — Надо учиться жить без подсказок. Ну а если что не ладится с военной наукой, ты не стесняйся, приходи, я помогу тебе.

На следующее утро Минасик переносил всякие язвительные замечания в сторону вроде:

— Вся рота не в ногу идет, один он в ногу, ма-ла-дец!

Минасик старался в ногу.

Левой! Левой!.. И не смотреть на пятки идущего впереди! И не ломать шеренгу! И не упустить с плеча тяжелую винтовку, и чтоб штык не плясал!

— Ножку выше! Руби!.. Правое плечо вперед, шагом...

Так... Где правое? Ясно. Значит, поворачивать будем налево; не сразу и разберешься. Беда вообще — как начинаешь шаг «рубить», винтовка тут же, словно только и ждала этого, принимается прыгать, набивать синяки на плече.

И все же Минасик, закусив губу, «рубил», держал равнение в затылок, старался постичь тот замечательный ритм движения в строю, когда все начинает получаться само по себе и не надо подпрыгивать на ходу, меняя ногу, косить глазом на плечо идущего рядом.

— Левой!.. Левой!.. Запе-вай!..

В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь, когда растает снег.

Ива пел громко вместе со всеми и представлял себе, как тают высокие снежные сугробы, бегут веселыми ручьями по бурой прошлогодней траве. Вместе со сле-

жавшимся снегом, холодом, зимой ушла и война. И возвращается он, бывалый фронтовик, как и обещал, весной. И ждет его на пороге. Эх!..

Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета,
Ты не спишь до рассвета...

Хорошая была песня. Только не нравилась Иве эта самая Лизавета. Что за имя такое, неужели другого придумать не смогли? Сколько красивых имен на свете. Рэма, например...

И потом в городе, где они живут, почти не бывает снега. Посыплет немного и тут же растает, превратится в слякоть шоколадного цвета. Поэтому при таком климате обещать вернуться, «когда растает снег», все равно что сказать: после дождичка в четверг.

Но это мелочи. Песня все равно хорошая; тающие сугробы снега можно без труда представить себе, а имя заменить другим, пусть даже и не в рифму получится.

Немецкие самолеты-разведчики уже несколько раз появлялись над городом. Оставляя за собой длинные белые хвосты, они расчерчивали небо, словно классную доску, на треугольники и квадраты.

— Съемку делают, — говорил Алик.

А раз он говорил, значит, так и есть — делают съемку; Алик не станет говорить то, чего не знает. Это Ромка мог орать на весь двор:

— Газы пускают! Аоз! Немецкие самолеты газ пустили!

Мадам Флигель чуть не умирала со страху.

С окрестных гор били зенитные батареи. Круглые облачка разрывов вспухали, казалось, совсем рядом с самолетами, а те все равно продолжали чертить небо длинными белыми полосами.

— Высоко держатся! — Алик, прищурясь, смотрел в небо; руки в косых карманах кожаной куртки, шлем сдвинут на затылок. Он был очень похож в эти минуты на своего отца. — Истребителями их пугануть надо...

Горячие осколки зенитных снарядов падали на крыши и мостовую. Прохожие прятались в подъезды, подворотни и даже после отбоя воздушной тревоги не сразу решались выйти на улицу.

НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО

Город был велик. В нем жили тысячи людей, незнакомых друг другу. У каждого из них были свои дела, свои заботы, радости и горести, ожидания и надежды.

Каждый город, большой ли, маленький, похож чем-то на человека. У него свое лицо, свой характер, свои привычки, своя биография. И свои, присущие только ему, слабости.

Так вот слабостью города, в котором жили Ива и его друзья, была любовь к новостям. И умение распространять эти новости с удивительной быстротой. Они катились по городу, точно комья сырого февральского снега, обрастая по дороге совершенно фантастическими подробностями. Люди подхватывали их, удивлялись или пугались, смотря по тому, что это были за новости, дополняли собственными рассуждениями, предположениями, догадками и, подтолкнув традиционной фразой: «Неужели вы еще не знаете — весь город уже говорит об этом!» — пускали новости в дальнейший путь.

Надо сказать, что в основе любой из них всегда лежало действительное событие. Все дело в том, сколько горячих голов успевало поразмыслить над ним, пока весть об этом событии докатывалась до очередного слушателя.

— Слышали новость? Как не слышали? В Дидихеви этой ночью паром сорвался. Сто человек, говорят, на нем было! Понесло по реке к городу, ну — все! — о первый же мост разобьет, никто не спасется. Сто человек, ну!.. Ничего, слава богу, обошлось. Под всеми мостами прошел, пожарная команда веревки ему бросала, поймать хотели, но разве поймаешь? Наша же Итквари, она как сумашедшая бежит, хуже ешака, которому хвост подпалили... Ничего, за городом на мелкое место попали, остановился паром. Кое-как до берега добрались, рысаки там были, лодкой перевезли... Неужели не слышали? Весь город говорит...

Паром и вправду сорвался в ту ненастную ночь с тросов. Кроме уснувшего паромщика, находились на нем два подвыпивших его дружка да еще ничейный пес с обрывком веревки на шее.

Что же касается пожарной команды, то, прибыв к первому городскому мосту, она зацепила баграми удирающий по реке паром и подтащила его к берегу. Проснувшийся паромщик долго потом ругался с пожарны-

ми — он считал, что это из-за них снесло при ударе о бычок моста деревянные перила и будку с кассой.

Так что к каждой новости, даже к той, о которой уже говорил весь город, надо было относиться с известной долей сомнения. Но Ива не знал об этом.

— Ва! — кричал ему в самое ухо Ромка. — Неужели ты не слышал?! Мы же в госпитале работать будем! Всей Юнармии форму дадут! И literные карточки. Винтовки теперь настоящие будут, не то что наши джабаханы!..

В действительности все было совсем не так. Просто главный врач госпиталя Ордынский попросил Вадима Вадимовича выделить нескольких юнармейцев для дежурства возле телефонов.

— Желательно тех, что живут поблизости, в соседних домах, — сказал Ордынский и добавил: — В старые времена в больших конторах были так называемые телефонные мальчики. Этакая дополнительная двуногая связь. К сожалению, был вынужден испросить разрешение начальника госпиталя на возрождение подобного анахронизма. А что поделаешь — всего восемь телефонов на такую махину. Черт знает что!.. — Он всегда был чем-то недоволен.

...Все ближе подходила к городу война. Объявлен комендантский час, появились ночные пропуска, чаще стали воздушные тревоги. А тут носи учебную винтовку. Видимость одна, бутафория; с ней только маршировать...

И вот наконец-то настоящее дело! Прямо из школы, забросив домой портфели, Ива и Минасик спешили в госпиталь дежурить у телефонов.

— Алло! Госпиталь 14628 слушает. Начальник второго отделения майор Скворцов на операции. Что передать?..

Получалось здорово. Только вот Ромке не нравилось.

— Не, — говорил он. — Это что такое? Столько фамилий запомнить надо! Беги сюда, беги туда; пока бежишь, забудешь, что сказали передать. Испорченный телефон получается. Я лучше в агитбригаду пойду, кавказские песни буду петь. Юмористические...

Через город шли войска. Чаще ночью, но иногда и днем. Бесконечные колонны пехотинцев в мокрых от по-

та гимнастерках, в пыльных ботинках, с винтовками, закинутыми за оба плеча. Шли пэтээровцы с длинными, словно водопроводные трубы, ружьями, или минометчики, громыхали по мостовой кованными колесами походные кухни.

Люди выходили из домов, стояли вдоль тротуаров, вглядываясь в идущих мимо красноармейцев, — надеялись увидеть знакомое лицо. Но знакомых, как правило, не оказывалось, видимо, издалека шли части, не местные все ребята.

— Слушай, откуда идете? — спрашивал кто-нибудь, но его тут же одергивали:

— Э! Что, не понимаешь — военная тайна, разве он тебе скажет?..

Как-то однажды Рэма подбежала к идущей колонне, протянула бойцу букетик цветов. Тот взял, улыбнулся ей пересохшими губами, сказал отрывисто:

— Водички бы вынесла. С утра не пили...

Ну, конечно, воды! Такая жара стоит. Подгорная улица пришла в движение. Все бросились за ведрами, кружками, кувшинами. У водопроводной колонки сразу же выстроилась очередь.

С полным ведром, держа на весу большую фаянсовую кружку, Рэма бежала вдоль колонны, надеясь догнать того бойца с ее букетиком.

— Ладно, сестричка! — крикнули ей. — Напой нас, а его другие напоят!

Рэма торопливо черпала кружкой.

— Пейте, мы еще принесем...

Бойцы пили жадно на ходу, расплескивая воду; протягивали котелки:

— Плесни-ка на запас!

— Подтяни-и-сь! — летела над строем команда. — Не отставать!.. Шире шаг!..

Война шла Подгорной улицей. Суровая, запыленная, усталая война с пересохшими от жары губами.

* * *

Все реже и реже стали появляться во дворе с тремя акациями разносчики. Разве что забредет продавец зелени или, стуча копытцами, протрусит по двору ослик с плетеными корзинами на спине. В корзинах яблоки, мацони, кукурузная мука, бургули *.

* Особым способом дробленная пшеница (груз.).

Узнав цену, хозяйки охают и хором принимаются ругать разносчика, а тот, размахивая руками, оправдывается:

— Ва! А вы что думали? Сейчас деньги другую цену знают. Война, что, не слышала, да?

Один лишь ослик сохраняет полное спокойствие, стоит, поводит ушами, как будто слушает, и нет ему никакого дела до того, сумеет ли его хозяин убедить разбушевавшихся покупателей.

Изредка заходил во двор стекольщик.

— С-секла ставлять!..

Но стекла теперь были заклеены широкими бумажными полосками и если и бились, то не до конца, просто ползли по ним трещины в разные стороны, и никто не обращал на это особого внимания.

Покричит стекольщик свое «Секла ставлять!», напьется воды из колонки и пойдет себе дальше.

И лишь женщина в черном платье по-прежнему приходила во двор с сумрачным скрипачом и пела, глядя на верхние этажи дома. Только теперь им не бросали уже завернутую в бумажки мелочь. Кому она нужна — мелочь. Выносили кто горстку фасоли, кто кусок кукурузного хлеба или пару вареных картофелин.

— Хорошая музыка, — слегка пошатываясь, говорил Никагосов. — Кто понимает, все так скажут. Не то что эти две ведьмы на рояле своем: бам-бах-бух! — Он кивал в сторону флигеля. — Э, дорогая! Спасибо, что красиво поешь. Возьми от меня в подарок, как от поэта, с чистым сердцем даю. Да здравствуют артисты!..

— У нее еще довольно сохранившееся, вполне профессиональное контральто, — волновалась бывшая актриса Мак-Валуа. — А она поет на улице зимой, так ведь вконец можно загубить голос!

Женщина в черном платье пела теперь не старые, всеми забытые романсы, а песни о войне.

— В тоске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег...

— Вполне возможно, что у нее сын где-то... как и племянники мои милые... — вздыхала Мак-Валуа.

Мак-Валуа руководила агитбригадой в Ивином юнармейском полку. Репетировала скетчи, учила декламировать стихи и исполнять куплеты.

— Нет, радость моя, нет! Надо держаться раскованнее, легче, — втолковывала она. — Непринужденность и еще раз непринужденность! Но только не развяз-

ность. Вот, Рома, ты держишься несколько развязно. Ну что за жесты! Ах, Рома, Рома! Это так несценично! Ни на секунду нельзя забывать — ты на публике. Публика перед тобой. Публика! Посмотри, как делает Рэма...

Рэма делала, конечно, здорово. Во-первых, она не распевала дурацкие песенки, как делал это Ромка, а исполняла настоящие песни из новых боевых киносборников. И аккомпанировала себе на аккордеоне. Аккордеон был небольшой, но замечательный: белые клавиши, все вокруг выложено перламутром, ремень из красной кожи на суконной подкладке и буквы золотом: «Рондо». Это ей тетка подарила.

— Для такого ребенка разве что жалко? — говорила та соседям. — Единственная племянница, сплошной талант в девочке, из нее же народная артистка выйдет, вот увидите...

В одно из дежурств Ива долго не мог разыскать Ордынского, которому дважды звонили из сануправления фронта.

Наконец он нашел его в приемном покое. Ордынский, нетерпеливо похлопывая по ладони свернутой в трубку историей болезни, слушал, что докладывает ему начальник отделения.

— Понимаете, Варлам Александрович, этот артист драпанул с долёчки. Доставлен к нам комендатурой. И не желает ни с кем разговаривать, требует только главного врача, безобразие какое-то!

— Фамилия! — резко бросил Ордынский, и только тут Ива увидел стоящего в стороне рослого моряка.

— Старшина второй статьи Иван Каноныкин! Ранение обеих голеней, — он подтянул вверх потрепанные клеши; под ними были гипсовые повязки, потемневшие, в желтых разводах. — Состояние отличное, товарищ военврач второго ранга, зря меня сюда.

— Помолчите! — оборвал его Ордынский. Он поднес к окну черные полупрозрачные рентгеновские снимки, глянул их на свет. — Когда вам их делали?

— Месяца полтора назад, товарищ военврач. Как только в госпиталь попал после медсанбата.

— А когда заделали «окна» в гипсе?

— Как только заросло все. Мясо на моряке быстро нарастает, товарищ военврач. Вот кость — это дело долгое, она...

— Вы замолчите?

— Есть замолчать!

Ордынский все рассматривал снимки. Белые полоски костей, раздробленные осколками, находили одна на другую. Ива никогда не видел рентгеновских снимков. Давно, еще в четвертом классе, его просвечивали. Но там ничего не было видно, он просто стоял в темноте за холодной стеклянной доской и то дышал, то поднимал руки и поворачивался.

— Да, — сказал Ордынский, — все ясно, кроме одного: как вам только, Каноныкин, при таком ранении не оттяпали обе ноги? Повезло вам, повезло.

— Я полагаю, Варлам Александрович, — начал было начальник отделения, — что контрольный снимок дал бы нам возможность посмотреть, как идет срастание, каково состояние костной мозоли...

— Будет вам! — отмахнулся Ордынский. — Если дел мало, сыщу дополнительные. Через месяц снимем гипс и откомандируем этого бегуна в действующую. Все!

— Может, сговоримся на пару недель пораньше, товарищ военврач? Немец вон как прет.

— Помолчите, Каноныкин!

— Есть помолчать!

— Тебе что? — спросил Ордынский, заметив Иву.

— Звонили из сануправления, товарищ военврач второго ранга! Приказано разыскать вас. Номер телефона я записал. — Ива протянул клочок бумаги. — Разрешите идти?

Ордынский не ответил. Взяв бумажку, быстро вышел из палаты. За ним, пожимая плечами и обиженно пыхтя, заспешил начальник отделения...

За считанные дни Каноныкин перезнакомился со всеми в госпитале. И с юнармейцами тоже.

— Слушай, тезка, — сказал он как-то Иве, — а где дружок-то твой? Чернявый такой, с кучеряшками.

— Ромка?

— Точно, Ромка.

— Его из Юнармии отчислили. Временно, пока плохие отметки не исправит.

— А много у него отметок этих плохих?

— Четыре.

— Эх ты! Долго ждать придется. Он мне одно дело провернуть взялся. Глядишь, сделал уже, а хода ему в госпиталь теперь нет, ситуация, елки-палки.

— Какое дело?

— Секрет, тезка. Но тебе скажу. Робу гражданскую раздобыть надо, чтобы в город мотаться. А то вот сидим тут, морпехота, как кочета в пустом курятнике. Скучно, так ведь?

— Наверное, — согласился Ива.

— Но в подштанниках-то на свидание не пойдешь. — В палате рассмеялись. — Срам один получится, тезка, точно?

— Точно.

— Так вот, взялся твой дружок, который с плохими отметками, помочь, и нет его. Наладь связь, за нами не пропадет, морпехота трепаться не любит.

— Хорошо. Я скажу ему сегодня же.

— Только, тезка, без ля-ля, ладно? Ша и точка! Сам понимаешь — дисциплина; прознает начальство, заметет это дело и поставит нас всех на мертвый прикол. И будет еще скучнее, хоть мы люди и веселые...

В тот же вечер Ива нашел Ромку и передал ему все, о чем говорил Каноныкин. Ромка сразу же начал отпираться:

— Ты что говоришь?! Какой моряк?! Что я ему обещал? Отвяжись от меня!

Но Ива не отвязывался, и Ромка вынужден был сознаться:

— Ну обещал. А тебе какое дело?

— Обещал, значит, сделать надо.

— Ты кто такой, что мне приказываешь?

Разговор получился бестолковый. Ромка то отнекивался, то старался переменить тему, то даже пытался убежать. В общем, Ива понял, что Ромка хочет сам выполнить ответственное поручение моряка и обойтись в этом деле без помощников.

— Человек понадеялся на тебя, а ты...

— Что я?! Я все сделал, — Ромка сплюнул, посмотрел на Иву исподлобья. — Ты с Минасиком сто лет делал бы. А я раз-два, и готово. Две тысячи надо.

— Две тысячи?!

— Ва! А ты что думал — два рубля? Пиджак будет, брюки будут коверкотовые, плащ, рубашка с галстуком и даже кепка. Ботинки у него свои есть. Между прочим, очень приличные вещи я достал и по дешевке.

— Где ты их раздобыл?

— Где, где... Твое какое дело?.. У Никагосова. У него там, в подвале, как комиссионный магазин. Раньше

только покупал, сейчас только продает. Правда, дорого не просит...

Оставшаяся часть поручения была выполнена за какой-нибудь час. Передавая деньги, Каноныкин сказал Иве:

— Послушай, тезка, сюда барахлишко тащить не надо. Это дело засекут в два счета и сделают конфискацию. В такой робе, — он потряс серый госпитальный халат, — выйти за ворота — раз плюнуть. Только вот где сменку одеть?

Тут Иву осенила гениальная мысль. Старая кухня! Чего же лучше? Там и одежду держать можно, кто туда сунется? Но как Каноныкин по стенке вскарабкается из нижнего двора?

— Чудак! — рассмеялся Каноныкин. — Да я тебе куда хошь залезу. Чтоб моряк да не залез! К сапожкам своим гипсовым я уже попривык. Третий месяц в этой обуви хожу. — Он распахнул халат, поглядел на ноги, постукал ими друг о дружку.

Ива тоже посмотрел на шершавые потемневшие гипсовые повязки. Края их разлохматились, светлыми латками выделялись места бывших «окон». Вокруг них повязки были серовато-коричневыми от йода и запекшейся крови.

— Что, красивые сапожки? — усмехнулся Каноныкин. — Хорошо, что так обошлось, а то перебирал бы сейчас культяхами, а война без меня бы шла... Так ты говоришь, залезть на кухню можно так, что никто и не заметит?

— Да! Нас давно погнали бы, если б увидели, что лазим туда.

— Ну тогда порядочек! Значит, погуляем. А то здесь, тезка, такая скукотища, помрешь от нее, и точка. И на фронт не пускают, хотя дела там тревожные. Прет немец. Невозможно как прет!..

Купленная у Никагосова «сменка» пришлась Каноныкину впору. Он стоял посреди заваленной хламом старой кухни и сетовал на то, что нет зеркала.

— Считаю, три года себя в гражданском не видел, — говорил он. — Как на флот пошел, так и не брал пиджака в руки. Ну что, братишки, фартовый видок, а?

Минасик, Ива и Ромка оглядели Каноныкина со всех сторон и заверили, что вид у него вполне фартовый.

— Вы вот что: кают-компанию свою в порядок привели бы, — сказал Каноныкин. — Мебелишку ломаную

в угол свалите, мешать не будет, на середину стол вот этот выдвиньте, он пока еще дышит, стулья, которые не на трех ногах. Паутинку обдерите, и будет морской порядочек...

Одежду повесили в старый, полуразвалившийся гардероб, дверцы его связали проволокой. Назад по стенке Каноныкин соскользнул ловчее всех, пожал руки своим новым друзьям и еще раз предупредил их:

— Только ша, корешки, без ля-ля, чтоб не расстраивать лишний раз товарища главврача...

Однажды вечером, когда Ива дежурил у телефона, Ордынский вышел из своего кабинета, прикрыл выкрашенную белой краской стеклянную дверь и, глянув на Иву, спросил:

— Когда ж ты уроки готовишь?

— Сразу после школы, товарищ военврач второго ранга!

— Небось, одни колы таскаешь?

— Никак нет. За неуспеваемость из Юнармии отчисляют.

— Кто отчисляет?

— Комполка Вадимин. Он наш учитель.

— Знаю, знаю такого... Отчисляет, говоришь?

— Так точно!

— А выправка у тебя, однако, молодецкая. Это что ж, комполка так вас вымуштровал?

— У нас дважды в неделю строевая подготовка.

— Хм... Ну заходи ко мне, поговорим, Ива, телефонный мальчик... — И, неожиданно рассмеявшись, спросил: — А почему тебя называли Иваном? Не знаешь? В чью-то честь, наверное?.. Назвали бы лучше Глебом. Красивое имя, не правда ли?..

ПАТРУЛЬ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

Всякий раз, когда мадам Флигель видела свою внучку в обществе Минасика, Ивы и особенно Ромки, она приходила в смятение.

— Не знайся, муленька, с этими хулиганами, с этой аварой*! Нам хорошо известно, что это за компания; мы же отвечаем за тебя перед твоей мамочкой, перед папой Гришей.

* Бродяги (груз.).

— Сейчас так опасно! — вторила ей дочь. — В городе сплошные грабежи...

Слухи о грабежах тревожили многих на Подгорной улице. Но больше пугали рассказы о том, что по ночам с немецких самолетов выбрасывают парашютистов, одетых в гражданское платье и владеющих русским языком. От этих диверсантов можно было ожидать бед похуже, чем от грабителей.

— Мне говорили знающие люди, — докладывал соседям Никс, — сто диверсанты пытались отравить источники водоснабжения города. Лицо я буду теперь делать химический анализ воды.

— Хорошо у меня сын почти кандидат наук, — говорил всем старик Туманов, — он анализы умеет производить. Но как другие будут устраиваться? Вдруг вода уже отравлена, у нас все ведь может быть.

— Я воду не пью, — заверял его Никагосов, — я вино пью. Мне диверсант в бутылку не плюнет, пусть попробует. Вы Никагосова не знаете. Вот умрет Никагосов, тогда поймете, что я был за человек!

— Секспир, — усмехался Никс.

— Ты на себя посмотри лучше! Над тобой весь дом смеется!..

Такие перебранки сразу же обрывались, как только на террасе показывался летчик в своем кресле-коляске. Не то чтобы его боялись, а просто как-то совестно было болтать при таком человеке всякую ерунду.

В тот памятный вечер агитбригада юнармейского полка давала свой первый концерт в морском госпитале.

Мак-Валуа ужасно волновалась, а тут еще Ромка, показав на Каноныкина, взял да и ляпнул ей:

— Он, между прочим, в морской пехоте был в Керчи. Может, даже ваших племянников знает.

Мак-Валуа бросилась к Каноныкину с расспросами, но тот сразу как-то потемнел лицом, сморщился, точно от боли:

— Не могу, мамаша. Извините меня, не могу я вспоминать, бессонница меня потом берет: ребята как живые приходят. Не могу!..

Ива видел, как Каноныкин вышел во двор, посидел на скамейке в госпитальном скверике, потом, бросив под ноги недокуренную папиросу, нырнул в кусты в том самом месте, где в высоком кирпичном заборе была проде-

лана лазейка. Сразу ее ни за что не заметишь, но если вытащить несколько кирпичей, то безо всякого труда можно выбраться в безлюдный переулок, по нему спуститься до нижнего двора, а там уже к старой кухне ход известный — по стволу глицинии.

Иве с Минасиком тоже не удалось побывать на концерте — в этот вечер они заступали патрулями.

— Подменил бы кто нас... — начал было Минасик, но Ива, хотя ему тоже до смерти хотелось остаться, строго отрезал:

— Не положено без уважительной причины!

То, что им обоим давно не терпелось послушать, как Рэма будет петь «на публике», к разряду уважительных причин не относилось.

— Пошли! — сказал Ива.

— Пошли, — вздохнул Минасик.

В отгороженном простыней коридорном тупике Мак-Валуа в последний раз наставляла своих питомцев. Ромка стоял в костюме кинто — в широких шароварах из черного сатина, подпоясанных матерчатым кушаком, — и корчил рожи. Под носом у него были нарисованы лихо закрученные усики.

— Все лицо в помаде-краске, сама как мандарин. — Ромка напевал, прищелкивая пальцами и коверкая слова. — Это сами настоящий парфумерный магазин!.. Как спою — все со смеху помрут, вот увидите.

— Рома! — умоляла его Мак-Валуа. — Ни в коем случае не пережимай! Публика это сразу же заметит...

Ива подошел к Рэме, тронул лежащий на ее коленях аккордеон.

— Ты будешь петь про снег?.. Ну в общем: я вернусь, когда растает снег.

— Обязательно. Это очень хорошая песня.

— Да, хорошая... Ну ладно, нам пора. Пошли, Минасик.

— Идем...

Вечер выдался неудобный. Падал мокрый снег и тут же таял. Ветер дергал на крышах полуоборванные листы жести, гроыхал ими. Это был какой-то зловещий театральный гром, от него становилось не по себе.

— Ну и погода, — ежился Минасик.

— Зато нелетная. — Ива, подняв голову, взгляделся в беспросветную черноту неба. — Воздушной тревоги не будет...

Все вокруг тонуло в темноте. Неясные очертания до-

мов неожиданно обрывались, разрезанные черными ущельями переулков. Изредка проезжала машина с синими щелками фар да торопливо стучали шаги нечастых прохожих. Дважды проехал на мотоцикле комендантский патруль. Увидев юнармейцев с винтовками, сидящий в коляске сержант помахал рукой:

— Эй, старшой! Как соблюдается светомаскировка?

— Порядочек! — Ива постарался это слово произнести солидным баском. И как будто получилось.

Мотоцикл с треском умчался, и улица снова опустела.

— Давайте, ребята, разговаривать, — все предлагал третий юнармеец, из новеньких.

— Ну давай.

— Нам винтовки придется в штаб относить? — тут же спросил он.

— Нет. Разрешено утром сдать.

— Мы по домам по очереди будем расходиться?

— Как это по очереди? — удивился Ива. — Нам на Подгорную, а ты себе пойдешь.

— Комендантский час бы не пропустить.

— Не пропустим, у Минасика часы есть...

Нудный попался новичок. На что уж Минасик терпеливый, но и тот не выдержал:

— Ты чего, боишься, что ли?

— Сам ты боишься! — буркнул новичок, и разговор на этом закончился.

Ветер продолжал бесчинствовать. Он с посвистом врывался в темные провалы подворотен, раскачивал уныло поскрипывающие фонари. Казалось, что фонари жалуются на свою беспросветную судьбу — вот, мол, висим себе без толку, ветру на забаву, не разрешают нам гореть, запрещен теперь яркий, веселый свет.

Серые фасады домов с темными прямоугольниками окон были точно нарисованы, не верилось, что за плотными шторами горят лампы, ходят и разговаривают люди, пьют чай с финиками или без них.

Склонившись к самому столу, пишет новую книгу профессор. Рядом стоят микроскоп и штативы с пробирками, стакан с остывшим кофе. В высокой банке на лесенке из лучинок дремлет древесная лягушка. Она не предсказывает больше дождь, потому что на дворе зима и дождь вперемешку с мокрой снежной крупой будет сыпать ежедневно без всякого предсказания...

— Скорей бы уж по домам, — новичок юнармеец

поднял воротник пальто, — все равно никто ничего не нарушает.

И только Ива собрался сказать ему соответствующие слова о бдительности и воинской стойкости, как сквозь шум ветра донесся до них крик:

— Отдай, ну отдай!..

Голос, похоже, Ромкин. Но что ему делать в этот час на улице и почему он кричит таким противным голосом?

— Вперед! — скомандовал Ива, и патруль, придерживая винтовки, побежал по Подгорной.

Шагах в десяти от подъезда их дома маячило несколько фигур. Ива включил фонарик. В его расплывчатом луче мелькнуло перепуганное Ромкино лицо с нарисованными усиками. Он опять захныкал:

— Отдай, Люлик, отдай, ну! Это не мой, клянусь мамой, это ее, я отвечать буду!..

Люлька! Ива повел лучом фонарика. Ну да, он! И все его прихвостни в таких же, как и у их главаря, восьми-клинных кепочках с пуговкой посередине. А рядом, прижавшись спиной к стене дома, стояла Рэма.

— Туши свет! — рявкнул Люлька. — Если жить хочешь! Ну!

В руках у Люльки был аккордеон. Перламутровый, с белыми клавишами, с золотой надписью «Рондо», он выглядел еще красивее в синем луче Ивиного фонарика.

— Туши! И только слово про меня скажете, зарежем!

Ива сразу же вспомнил Ромкины рассказы о Люликином финском ноже, его размерах и о том, что он всегда у Люлика в галифе на резинке.

Минасик, видимо, тоже вспомнил. Третьему юнармейцу вспоминать было нечего, так как он Ромкиных рассказов не слышал. При слове «зарежем» он тут же отступил в темноту и беззвучно исчез, словно его здесь никогда и не было.

И тогда Ива, скинув с плеча винтовку, взял ее наперевес.

— Руки вверх! — сказал он сдавленным голосом.

В луче фонарика тускло блеснул стеклянный глаз. Несколько лет назад отец Люльки, шофер горного лесхоза, напившись пьяным, разбил лесовоз, свалившись с кручи. В кабине был Люлька. С тех пор он без одного глаза и очень гордится этим.

— Слушай, пацан, — стеклянный Люлькин глаз зловеще мерцал в луче фонарика, — твоя железка не стреляет, это мы знаем. Потому туши свой фонарь, беги и молчи. Последний раз говорю. Ну! — И он выругался.

Странное дело — Ива видел только стеклянный глаз и прижавшуюся к стене Рэму. И еще кончик штыка своей винтовки. Ничего больше не было: ни хнычущего Ромки, ни Люлькиных дружков.

Стояла у стенки девочка; она побывала там, где идет война, слышала, как рвутся гранаты, как цокают по стенам пули и победно кричат «ура» идущие в атаку моряки-десантники — люди, которые ничего на свете не боятся.

Рэма одна, совсем одна — Ромка не в счет; какой-то одноглазый Люлька отнимает у нее аккордеон, а ему, Иве, предлагает убежать. И помалкивать.

Что, если послушаться и убежать? Как это сделал уже один из патрулей. Юркнуть в подворотню, и все дела...

Черта с два! Подумаешь — финка на резинке!

Ива еще крепче сжал цевье винтовки. Никуда он не побежит.

— Винтовка не стреляет! — громко, на всю Подгорную крикнул Ива. — Да, не стреляет, ну и что? Зато штык у нее настоящий!

Он шагнул вперед. Штык почти уперся в Люлькину грудь.

— Э! Э! — Тот отступил к стене дома, закрылся аккордеоном. — Убери сейчас же, последний раз предупреждаю!

Два его адъютанта стали незаметно подбираться к Иве сбоку.

— Стой! — тоненько выкрикнул Минасик. Он сделал шаг вперед и четко выполнил команду «На руку!».

Следующей командой должна была быть: «Штыком коли!» Очень серьезная команда, когда перед тобой не плетенный из прутьев щит, а Люлькины прихвостни.

— Стой! Заколю! Клянусь мамой, заколю! — Минасик наугад ткнул штыком в темноту.

Адъютанты попятились — уж очень воинственно орудовал своей винтовкой этот толстый пацан, того и гляди пырнет.

— Слушай! — Люлькин голос уже не был глухим, Люлькин голос шелестел и присвистывал, как лезвие финки, которую точат о камень. — Уходите!

— Отдай аккордеон!

— Счас зарэжу!

— Беги! — отчаянно крикнул Ромка. — У него же финка!

Штык уперся в Люлькину грудь чуть повыше аккордеона. Ива вдруг почувствовал, какая это податливая и непрочная преграда — стоит нажать посильней, и Люлька, охнув, сползет вниз по стене, цепляясь руками за ствол винтовки. Впервые за эти минуты Иве стало страшно.

А Люлька тем временем сунул аккордеон одному из своих дружков и, не спуская с Ивы глаз, полез в карман за финкой.

— Счас зарэжу!..

И кто знает, чем бы кончилось все на темной и безлюдной Подгорной улице, если б не вынырнула из темноты чья-то рослая фигура.

— Вай, вай! — крикнул, схватившись за голову, Люлькин дружок, тот, что держал аккордеон.

Он не упал, а как-то осел на тротуар, уронив аккордеон себе под ноги.

— А ну подними, ты, одноглазый!

Ива сразу же узнал Каноныкина. Ну конечно, это он!

— Подыми, говорю! Это видел?

В луче фонарика матово поблескивал короткий пистолетный ствол.

— Пришью как собаку, гад!

Второй Люлькин дружок бросился бежать, а тот, которого Каноныкин сбил с ног, быстро на четвереньках пополз по тротуару и исчез в темноте.

— Подыми!

— Счас, ну! — огрызнулся Люлька и, нагнувшись, поднял аккордеон.

— Пацанов грабишь, шпана? Чего ж ты меня не ограбил, смотри, на мне какой халатик. И тельняшка совсем новая. — Он стукнул Люльку рукояткой пистолета.

— Не надо! — крикнул Рэма, закрывая лицо ладонями.

— Надо, — уже спокойней сказал Каноныкин. — Не бить — стрелять таких шакалов надо без суда. Отдай, говорю, баян, скажи барышне: «Извиняюсь».

Люлька протянул Рэме аккордеон. Его стеклянный глаз не мерцал больше в луче фонарика.

— А где «извиняюсь»?

— Извиняюсь, — пробормотал Люлька.

— Громче!

— Извиняюсь, да!

— И запомни: эти пацаны — мои кореш. Тронешь их — найду и прикончу. Меня дальше фронта все равно не ушлют, сам понимаешь. А тебе червей до времени кормить придется. Уразумел?

— Угу...

— Ну и порядок. — Каноныкин спрятал пистолет в карман халата. — Я с тобой еще побеседую по душам, салага. Рули отсюда, пока я добрый!

Люлька, отпихнув Ивину винтовку, пошел вниз по Подгорной. Уже издалека, откуда-то от угла Арочной, донеслись приглушенные торопливые фразы:

— Что я мог сделать, Люлик, у него же машинка была... Он как дал мне по башке...

— Я тоже ни при чем, Люлик, пацан тот, толстый, штыком кололся, как психованный...

Видно, провинившиеся адъютанты пытались оправдаться перед своим грозным начальством...

— От лица службы объявляю вам благодарность, — сказал Каноныкин. Это относилось, конечно, только к Иве и к Минасику; Ромка опять был не в счет. — Я все видел, здорово действовали, по-нашему, по-черноморски, до последнего. Но об этом — ша! Лялякать не надо, зачем лишние разговоры, лишняя паника среди мирного населения? Наперед же вечерами ходите скопом и по возможности без ценных предметов. Не всегда я вам вовремя подвернусь, точно?

— Точно!..

— А пистолет можно посмотреть? — спросил Минаsik.

Каноныкин усмехнулся, вынул из кармана пистолет, подбросил его на ладони.

— «Вальтер», — сказал он. — Офицерский. Калибр девять миллиметров. Трофейная штучка, на память о жестоком бое.

Все по очереди подержали в руках тяжелый скользкий «вальтер».

— Иф! — Ромка шмыгнул носом. — Был бы у меня такой, я б Люлика заставил стеклянный глаз скусать...

— Ладно, — сказал Каноныкин, пряча пистолет, — валите домой.

Вынырнув из-за угла, мимо прошла странная маши-

на с закрытым кузовом. Ива никогда не видел такую. Синие щелки фар близоруко всматривались в неровности мостовой. Машина шла медленно, словно боялась споткнуться.

— Забавная какая, правда? — сказал Ива.

— Точно, — согласился Каноныкин, провожая машину тревожным взглядом. — Для кого забавная, а для кого вредная. Пеленгатор это, эфир щупает...

РАЗГОВОРЫ ЗА ПАРТИЕЙ В ШАХМАТЫ

Изредка, возвращаясь с вечернего обхода, Ордынский кивал Иве:

— Пойдем, телефонный мальчик, поговорим о жизни быстротекущей.

Он никогда не предлагал это ни Минасику, ни другим юнармейцам, только Иве.

— Э! Потому что Ивка подлизываться умеет.

Минасик тут же возражал Ромке:

— Не, он не подлизывается, что ты!

— Ты сам подлизываешься!

— К кому я подлизываюсь?! — вскипал Минасик.

— К папе-маме своему! Хо-хо-хо! К Ивке тоже, и учителям тоже. К Рэме, что, скажешь, не подлизываешься? Когда на нее смотришь, у тебя глаза как у барашка становятся, мэ-э-э! Чихать она на твои глаза хотела.

— Ты!.. Ты!..

— Шарты-барты! Не лопни, пожалуйста, а то мадам Флигель подумает: немцы бомбу бросили. И умрет со страху, а ты отвечать будешь...

Но сколько ни доказывал Ромка, что Ива обыкновенный подлиза, дело, конечно, обстояло иначе. Просто нравился он Ордынскому, и все. А вот почему нравился, об этом никто не знал — главврач не любил объяснять свои поступки.

— Ты умеешь играть в шахматы, Ива — телефонный мальчик?

— Да. Меня папа научил.

— Ясно, ясно... Ну садись, посмотрим, как освоил ты шахматную премудрость. — Ордынский расставил на доске фигуры, потом вынул из шкафа медную мельницу, насыпал в нее горсть кофе.

Играл Ордынский хорошо, и Иве никогда не удава-

лось выиграть партию. Но это его не огорчало. Что шахматы, дело не в них. Куда интереснее было то, о чем рассказывал этот необычный человек.

Он сидел в кресле, чуть ссутулясь, и, зажав мельницу коленями, медленно вращал прихотливо изогнутую ручку. Кофейные зерна сухо похрустывали.

— Опять вам мат, телефонный мальчик, — Ордынский усмехнулся. — А в шахматах главное знаешь что? Уметь предугадать все возможные ходы противника. Король, его свита и восемь пешек не так уж и много, а поэтому в общем-то несложно — все они на виду, и каждый движется по строго определенным правилам. А вот в жизни противника не сразу разглядеть удастся. Порой вроде разгадал его, а на поверку выходит, что пешку за короля принял. Вот так-то, дорогой мой юнармеец.

Ордынский часто говорил какими-то загадками, словно не для Ивы предназначались эти странные слова. Но все равно слушать было очень интересно.

— Расставляй заново. — Ордынский снял с плитки старинный медный кофейник с такой же ручкой, как и у мельницы, высыпал в него смолотый кофе, достал из шкафа чашки и твердые английские галеты.

— Британские дары. — Он насмешливо поморщился. — Терпеть не могу англичан. По мне, так лучше с ними воевать, чем с немцами.

— Как? Они же наши союзники!

— Я уже тебе говорил, что в жизни все весьма относительно... Знаешь, — он разлил по чашкам кофе, придвинул Иве галеты, — ты чем-то напоминаешь мне профессора из вашего двора, моего давнишнего знакомца. Только твоя наивность простительна, его же — нет, возраст не тот. Воитель с двустолкой.

Над Ордынским все время витала какая-то тайна, Ива чувствовал это. И, как ему казалось, тайна уходила своим началом в годы далекие и удивительные. Трудно, конечно, надеяться, что даже при всем расположении к Иве Ордынский полностью поднимет над ней завесу. Лишь самый уголочек иногда приподнимался, но даже от этого захватывало дух. Как в тот вечер, когда Ордынский спросил вдруг Иву:

— А что изволит поделывать ее высочество княгиня Цицианова? Она ведь в твоём доме живет, не так ли?

— В моем... — растерянно кивнул Ива,

— Ты бывал у нее когда-либо?

— Один раз как-то.

— Видел на стене большой портрет красивого черноглазого юноши?

— Видел. А кто он?

— Это ее сын. По слухам, его расстреляли местные меньшевики. В начале двадцать первого года. Вот так-то, Ива — телефонный мальчик... В двадцать первом году здесь было сделано много всяких глупостей. Нет ничего страшнее в жизни, чем все временное. Временный успех, временная победа, временная власть. Нет ничего глупее калифов на час!..

Странные это были разговоры. Ива многого не понимал в них, но все равно ждал вечерами, а вдруг опять у Ордынского выдастся свободный час и он пойдет к себе в кабинет пить кофе. И бросит на ходу:

— Прошу ко мне, уважаемый телефонный страж...

Ива уходил из госпиталя, полный разноречивых впечатлений. Ему хотелось во всем соглашаться с Ордынским, потому что ему нравился этот непохожий на других человек. Когда-то он был членом таинственных студенческих корпораций, девиз которых «Честь и цель», он дрался с обидчиками на рапирах, бывал в далеких легендарных краях, покупал там в антикварных лавках медные кофейники и заржавленные пиратские тесаки. Он сильный, решительный, он наверняка ничего не боится. И в этом госпитале словно капитан на большом корабле и в случае чего сойдет с него последним, как и положено настоящему капитану.

Иногда Ива представлял себе Ордынского не в морском кителе, а в белом халате, с марлевой повязкой на лице. Идет операция. Лезвие скальпеля вонзается в живое тело, чтобы помочь ему остаться живым. Больно, очень больно! Ива вздрагивал, словно боль входила в него.

Ордынский ходил по кабинету, заложив руки за спину. В хрупких чашечках стыл кофе, на шахматной доске настороженно стояли друг против друга черные и белые фигуры.

— А за что расстреляли ее сына? — шепотом спросил Ива.

Ордынский резко остановился. Повернул к Иве лицо.

— За что? Да ни за что! Расстреляли, как могут немцы расстрелять тебя, если придут в этот город.

— И вас? — так же шепотом сказал Ива.

— Меня?.. — Ордынский задумался, потом, усмехнувшись, потрепал Иву по голове. — Запомни, мальчик, когда мир трещит и разваливается на куски, нельзя близко подходить к дымящимся пропастям. Пропасть — это от слова «пропасть». А вот сын Цициановой подошел. Наивно и восторженно. И пропал ни за что.

— Он был революционером?

— Как тебе сказать?.. Он лишь потянулся за ними, и это стоило ему жизни...

Каким частым в разговорах людей стало слово «смерть»? Война сделала его обыденным, таким же, как слова «хлеб», «земля», «дождь». Ива не мог с этим смириться. Не мог представить убитым Кубика, себя или Ромку. Или Каноныкина, веселого, по-дружески щедрого и простого. Как же это так — не дожить до конца войны? Почему именно он не доживет? Почему?..

Ива знал, с какой опаской глядят живущие в его доме люди на веселого усатого почтальона. До войны он был желанным гостем в любой квартире. Его хлопали по плечу и угощали вином.

— Молодец, Ардальон, ты лучший работник связи во всем нашем городе!..

Почтальон шевелил усами, подносил к губам стакан и при этом обязательно отпускал шуточку, всякий раз новую, и все смеялись и качали головами, удивляясь, как это один человек может придумать столько замечательных шуток.

— Молодец, Ардальон, тебе надо по радио выступать!..

А теперь его и ждали и боялись одновременно, потому что не знали, о чем расскажет принесенное им письмо: о жизни или о смерти. И почтальон, понимая это, не балагурил больше, не выкрикивал на всю улицу веселым голосом: «Вот пришел Ардальон, самый лучший почтальон!» Теперь, протягивая письмо, он говорил непривычно тихим голосом:

— Не бойся, дорогой, конверт не казенный, значит, все в порядке. Э-э!.. Я что, не понимаю, да? У меня два сына там...

«Там» — это фронт. Оттуда приходили санитарные поезда. Днем и ночью.

К железным воротам госпиталя по Подгорной подъезжали машины с красными крестами на кузовах. Все медсестры, санитарки, врачи и те из раненых, что покрепче, выходили их встречать.

Моряки в бинтах и повязках лежали на носилках неподвижно и молча. Потемневшие лица, полуприкрытые глаза, пальцы рук, вцепившиеся в края носилок.

Ива понимал — это боль. Боль, которая рвется наружу, а ее удерживают из последних сил. Но все же удерживают. Наверное, это легче сделать, когда человек молчит.

Ордынский иногда спускался в госпитальный двор, подходил к лежащим на носилках морякам.

— Откуда?.. Какая часть?.. И много вас таких?..

Высокий и худой, в короткой черной шинели, он был похож на сердитую птицу...

Раненых уносили, кого прямо в операционную, кого в приемный покой. А Ива шел домой мимо длинной очереди, стоящей у магазина, где совсем еще недавно продавался горячий поджаренный лаваш, сдобные булочки, обсыпанные маком халы — бери сколько нужно, всем хватит!

Он шел вдоль очереди и видел, как люди бережно держат в руках разноцветные хлебные карточки. Это тоже жизнь. И для стоящей у магазинных дверей старухи, и для девочки, прячущейся от ветра за ее спиной. На девочке длинное, не по росту пальто; розовые мочки ушей, видно, совсем недавно проколоты под серьги. Серег еще нет, в дырочки продеты черные нитки, завязанные узелками.

Ива шел мимо молчаливой очереди и думал о вещах, которые никогда раньше не занимали его воображение.

Да, все может стать, потому что война. Вместо самолетов-разведчиков над городом появятся бомберы. И черный дым поднимется над старыми, простоявшими столетия домами. И девочка, так и не успевшая поносить своих сережек, упадет на развороченную бомбами мостовую...

От этих трудных раздумий тягостно становилось на душе. Ива пытался отвлечься от них, вспомнить что-нибудь радостное, например, поход на тритонье озеро, суп, сваренный Ромкой, переливающиеся в темной чаше огни вечернего города.

Никогда раньше Ива не обращал особого внимания на висящие по стенам фотографии. Ну висят и пусть себе висят. Что в них интересного? Чаще всего это портреты. Ивин дедушка, которого он никогда не видел; папин брат дядя Петя, приезжавший несколько раз к ним еще до войны и привозивший Иве невкусные жесткие конфеты.

И вот теперь, после разговора с Ордынским, Ива понял, что есть фотографии, на которые следует обращать внимание. Эти фотографии могут рассказать о многом, надо только поинтересоваться, кто запечатлен на них и когда. Вот, например, юноша с едва заметными усиками, с большими черными глазами?

— Так это же сын Кетеван Николаевны, его звали Гигуша, — сказала Рэма, когда Ива завел с ней разговор о фотографии. — Он, знаешь...

— Знаю. Его, говорят, расстреляли меньшевики перед самым приходом сюда Советской власти.

— Откуда ты взял?

— Мне сказал один человек.

— Неправильно сказал. Его арестовали, и он исчез. Вот уже двадцать лет никто не знает, что с ним случилось.

— Куда же он мог деться? Расстреляли, конечно. Это же были политические авантюристы, меньшевики всякие. Калифы на час.

Рэма посмотрела на него удивленно, но ничего не сказала. Они сидели возле слухового окна старой кухни, смотрели, как в тихом дворе двое мальчишек украдкой ломают чахлую сирень.

— Зачем им такая сирень, не распустившаяся еще? — Рэма собрала в горсть валявшиеся на полу кусочки отбитой штукатурки, бросила их вниз, прямо на кусты. Зашуршала листва, мальчишки, испугавшись, перемахнули через забор и побежали по улице, прижимая к груди наворованные букеты.

— Тебе глициния нравится? — спросил Ива.

Рэма посмотрела вверх, на лиловые грозди цветов, висящие у самой крыши соседнего дома.

— Нравится. Она красивая и ничейная. Ее не достать на такой высоте, а значит, глициния цветет для всех сразу. — Рэма еще глянула на цветы. — Пахнет, наверное, хорошо.

— Очень, — ответил Ива, хотя не имел ни малейшего понятия о том, как пахнет глициния. Ее и вправ-

ду никто ни разу не срывал — кому взбредет в голову карабкаться из-за цветов на этакую верхотуру, еще шею свернешь.

Дорогу на крышу старой кухни Рэме показал Ива. Вопреки уговору никому ни под каким видом не рассказывать об этом убежище. Исключение было сделано только для Каноникина.

Ива знал — ребята разозлятся на него. Но не из-за того, что на их конспиративную территорию проникла Рэма. Просто им будет досадно, что не они первые догадались привести ее туда.

— Этот Ивка вечно вперед лезет, мэтичар* он, вот кто! — скажет Ромка.

Мэтичар не мэтичар, а Рэма сидит рядом с ним у слухового окна, и они говорят с ней о фотографии человека, которого вот уже двадцать лет считают расстрелянным. Все, кроме его матери...

Спустя несколько дней после этого разговора Ива помогал профессору разбирать библиотеку.

— Я хочу кое-что отдать в институт, помогите мне, пожалуйста, если у вас есть время.

— Конечно, есть.

— Вот и отлично!

Ива смотрел на профессора. Тот забрался на стремянку к самым верхним полкам книжного стеллажа. В охотничьей куртке, в черной круглой шапочке и мягких домашних туфлях, он сейчас совсем не был похож на того человека в голубой «динамовской» майке, что азартно прыгал у волейбольной сетки и кричал: «Сэтбол! Мяч на игру!», вызывая этим неудовольствие мадам Флигель.

Профессор неторопливо снимал одну книгу за другой, листал их, вынимал пожелтевшие закладки и передавал Иве.

— Эту книжицу, пожалуйста, в сторонку.

Они разбирали библиотеку до вечера, складывали в стопы тяжелые тома и тоненькие брошюры. Иные книги были в массивных переплетах с золотым тиснением, другие, напечатанные на плохой серой бумаге, вышли в свет в первые годы Советской власти. На многих из них стояла фамилия профессора.

* Выходка (груз.).

Это была необычная работа, и она увлекла Иву. Но потом он увидел две фотографии в рамках, стоявшие на большом, заваленном бумагами письменном столе. Одну он узнал сразу — это был сын Цициановой. А вот другая...

Ива не удержался и спросил:

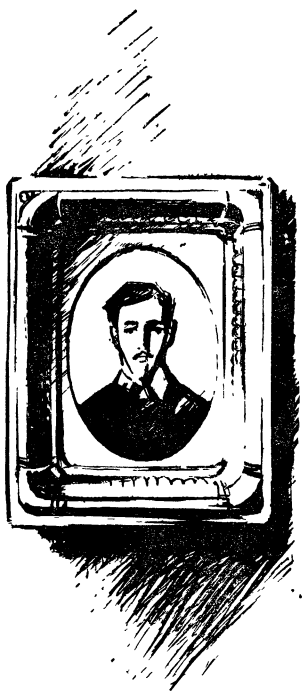
— Кто это?

Профессор поправил очки, взял со стола фотографию.

— Мой сын Дима. Когда ты приехал, он уже был в Москве. Он учится там, вернее, учился в аспирантуре. А потом вместе со всеми ушел в ополчение... Его ранило под Москвой во время нашего зимнего наступления; сейчас он в госпитале... Да-а, ушли в ополчение всей кафедрой во главе с моим старым товарищем, профессором Мстиславским. А я вот здесь, перебираю пыльные книги...

Иве вдруг очень захотелось сказать ему что-то ободряющее, веселое. Мало ли что он здесь! Ну и что же? Он ведь профессор, он учит студентов и пишет книги. А в случае чего, если придется тут, как под Москвой, так он же неплохой альпинист и умеет стрелять. Не из двустволки, конечно, это Ордынский говорил просто для красного словца.

В голове у Ивы все складывалось здорово, но про-





изнести эти слова он все же не решался. К тому же профессор поставил фотографию обратно на стол и, взяв другую, вытер с нее пыль.

— А это сын Кетеван Николаевны. Удивительно чистой души был юноша; я знал его еще совсем мальчиком, гимназистом.

— Вы говорите — «был»?

— Скорее всего да, был. О нем ничего не известно уже много-много лет...

Двадцать лет — это на первый взгляд очень много, целая вечность. И в то же время до чего ж незаметно пролетели эти два десятилетия! Профессор так явственно представил себе прожженную выстрелами тьму февральской ночи, красноармейцев, бегущих по горбатым улицам безмолвного, затаившегося города. Сверху, со стороны Персидской крепости монотонно била пушка, пристреливалась к железнодорожному вокзалу. Из-под его сводов торопливо вытягивались составы, набитые беспорядочно отступающими войсками грузинских меньшевиков. Прикрывавший их отход бронепоезд злобно огрызался, плевал огнем наугад в темноту.

Где-то там, в этой толпе убегающих людей, старый князь Цицианов, член меньшевистского правительства и совета директоров нефтяной компании «Ост-Оль». Он сгинул в ту темную февральскую ночь, пронизанную струями холодного дождя и вспышками винтовочных выстрелов.

«Как быстро пролетели эти два десятилетия, — подумал профессор. — И вновь мы перед лицом тяжелейшего исторического испытания. И дети наши бесстрашно идут в огонь, как шагнул в него когда-то Гигуша Цицианов...»

Книги разобраны, часть сложена отдельно, другие вернулись на полки стеллажа. Ива ушел, а профессор долго еще сидел в потертom кожаном кресле, смотрел на фотографию сына. Старался представить себе, как тот лежит сейчас в белой госпитальной палате. Горит над дверью дежурная лампочка, стонут во сне раненые. Им снятся бои, сгоревшие города, убитые товарищи. А может быть, им снятся боль, которая не покидает их ни днем, ни ночью. Но днем они держатся, не показывают виду, днем они улыбаются и даже шутят:

— Это надо же — ноги месяц как нет, а пальцы все болят, несознательные какие-то...

Днем проще. А вот ночью боль коварно подкрадывается к спящему солдату, сжимает его сердце колючей лапой, и он стонет и мечется по узкой госпитальной койке и, слыша свой стон, пытается проснуться. Но сон цепок и неотвязен, как боль. Солдат отталкивает его от себя, словно навалившихся врагов; еще одно усилие, и он проснется, нащупает на тумбочке кисет с табаком и зажигалку, облегченно вздохнет:

— Вроде утро скоро...

И долго еще будет в предрассветной мгле то ярко разгораться, то меркнуть круглый огонек самокрутки...

* * *

Четыреста граммов хлеба Ива получал как иждивенец. Рабочие получали восемьсот. У летчика была особая карточка. Она называлась «литерной».

Казалось бы, совсем еще недавно прозвучали суровые слова:

— Работают все радиостанции Советского Союза...

До этих слов хлеб был просто хлебом. Его можно было купить повсюду: в булочной на углу Подгорной улицы и в пекарне, что на Верхнем шоссе, где пекли пухлые ковриги греческого хлеба и тонко раскатанный, похожий на холстину иранский лаваш.

Совсем вроде бы недавно был поход на тритонье озеро, и Ромка беззаботно уплетал горячий шоти с сыром, крошил его в надежде подманить каких-то птиц, летавших над тропой. И никому не приходило в голову испуганно крикнуть ему:

— Что делаешь?! Ведь это же хлеб! Хлеб!

— Ну и что? — ответил бы Ромка. — Подумаешь, хлеб. Не золото ведь...

Ива тоже мог бы ответить что-нибудь в этом роде. И Минастик, и Алики, и даже Рэма. Хлеб был просто хлебом. Можно было купить хоть десяток батонов, хоть сто, хоть тысячу, пожалуйста.

А сейчас его отвешивали с точностью до граммов, резали осторожно острым тонким ножом, чтобы не было крошек. Он был тяжелым, черным, плохо выпеченным, но люди несли его, прижав к груди, и был он им дороже золота.

Разноцветные карточки, расчерченные на квадратики, с числами месяца в каждом. Один цвет — «рабочая» карточка, другой — «детская», третий — «иждивенче-

ская», как у Ивы и Минасика. Для них каждый маленький квадратик — это фунт хлеба, норма одного дня. Хочешь, съешь сразу, хочешь, растяни, дело твое, добавок не полагается.

Конечно, добавки появлялись всякий раз, но это означало, что чья-то дневная норма добровольно уменьшена. Мамина или папина.

«Кончится же когда-нибудь война, — думал Ива. — Не будет больше карточек, покупай себе хлеба сколько хочешь. Можно батоны, можно горячие хрустящие шоты, можно греческий лаваш, пожалуйста, бери. Но никогда не станем мы крошить его и бросать на тропу прямо в пыль. Не сможем, я думаю... А кто-то и раньше не мог...»

— В Керчи мы с мамой просидели в подвале дома трое суток, — рассказывала Рэма, — целых трое суток! И вдруг слышим, стучит кто-то в дверь, барабанит прямо. «Эй! Откройте, если живы, свои это!» Смотрим: краснофлотец в бушлате, в одной руке автомат, а в другой хлеба полбуханки. «Ешьте, граждане, небось совсем тут оголодали!..»

Мы с мамой едим и плачем...

Впервые Рэма рассказала о себе. Хоть немножко, а рассказала. О той жизни, что была там, за линией фронта.

Рэма говорила спокойно, немного грустно, пожалуй. Она перекинула толстую пушистую косу на грудь, расплетала и заплетала кончики вьющихся волос.

Трудно было представить себе, что эта девочка слышала, как рвутся гранаты и цокают пули по каменным стенам домов. И как кричат «ура» штурмующие город моряки-десантники. Кто знает, может, это Каноныкин тогда рванул дверь подвала, протянул ей краюху хлеба. Или один из племянников Мак-Валуа. Кто знает...

— Почему же с тобой не приехала сюда твоя мама? — спросил Ива.

— Мама осталась во фронтовом театре. Она же актриса...

Каноныкина перевели в команду выздоравливающих. Трижды он подавал начальнику госпиталя рапорты с просьбой выписать его и отправить на фронт. Но всякий раз Ордынский, которому передавали эти ра-

порты, прямо на людях посылал Каноныкина ко всем чертям.

— В гипсовых сапожках отбудете? — насмешливо спрашивал он.

— Так снять это дело давно пора, товарищ военврач!

— Помолчите, Каноныкин! Вы что, медик? Знаете, когда снимают гипсы, когда накладывают? Фронту полукалски не нужны! Так что заберите свой рапорт и не приставайте больше к начальнику госпиталя со всякой ерундой.

— Швабры тыловые! — жаловался Каноныкин товарищам по палате. — Гад буду, сам сниму эту обувку! — Он с размаху ударял по гипсу доньшком пустой кружки и тут же морщился.

— Что, отдает, Ваня?

— Есть еще малость, дергает.

— А ты говоришь — снимать. Врачи, они свое дело туго знают.

— Да иди ты со своими врачами! Сказал, сниму, значит, сниму...

Как и все взрослые, Каноныкин тоже был не до конца понятен Иве. Никак не угадать, что может понравиться ему, а что, напротив, вызвать досаду и раздражение.

Казалось бы, ну что такого в самом обычном вопросе:

— Почему вы ничего не рассказываете нам о том, где воевали? Все рассказывают...

— Болтают, а не рассказывают! — Каноныкин ужасно рассердился. — Бланду травят, а вы и уши развесили! Значит, не висело над ними небо с овчинку, ежели вечера воспоминаний устраивают! Знаю таких: чуть какой корреспондент из газеты прошуршит, они тут же рвут когти к нему фотографироваться да боевые эпизоды фантазировать. Пижоны это, а не моряки! Чего рассказывать-то, когда и так по ночам снится, душу бередит, понимаешь...

Но сердился Каноныкин редко, чаще бывал приветлив и дружески расположен.

— Вчера дядя Коля, — принялся рассказывать Ромка, — приходит к нашему Михелю и говорит: «Подметки на сапоги подбить сколько возьмешь, если товар твой будет?» А Михель отвечает: «Я с рабочий шелофек теньги не хочу, таром сделаю». Ма-ла-дец, правда?

— Он что, немец? — заинтересовался Каноныкин.

— Михель, что ли? Немец, конечно. Старый только.

— Глаз с него не спускайте! — Каноныкин сказал это строго. — Мало ли что старик! Такой запросто и шпиона вражеского укроет, и информацию ему соберет. А вы что думали? Сколько таких случаев уже было.

Когда о Михеле так говорила мадам Флигель, всерьез этого никто не принимал. Но Каноныкин зря ведь не скажет, он-то уж знает, что к чему.

— Раз вы боевые юнармейцы, значит, должны быть начеку. Если у вас под носом, во дворе вашем, вражеского гада накроют — конфуз вам всем великий выйдет. — Каноныкин неожиданно рассмеялся, хлопнул Ромку по плечу. — Как тогда у тебя ночью, помнишь, с аккордеоном-то конфуз получился?

Ромка тоже попробовал рассмеяться, сделать вид, что ему очень весело вспомнить о том, как он канючил, упрашивал Люльку не отнимать аккордеон.

— Сейчас Люлик на улице боится около нас пройти, — давась от смеха, сообщил Ромка. — Только увидит — второй глаз закрывает.

— Ишь ты! — покачал головой Каноныкин. — Мне он тоже встречался, беседу я с ним проводил. Пацан вроде меня — без отца, без матери рос, потому и скрывнулся. Этот фактор надо учитывать, ребята. Меня вот детдом на ноги поставил, уму-разуму выучил, а потом флот. Ну а Люлька ваш через плохие руки пошел, вот такая история... — Он помолчал.

ПРОЩАНИЕ С КУБИКОМ

— Полк! Смирно!.. Равнение на середину!

На пыльном, выбитом ногами дворе музыкальной школы широким каре стояли юнармейские роты. У первых взводов винтовки к ноге, все остальные просто так, руки по швам. Барабанщики замерли на правых флангах. Было очень тихо, только ветер шелестел молодыми листьями одинокой корявой акации, стоявшей возле ворот. Из открытых окон школы не доносились рассыпчатые гаммы, не взвизгивали скрипки, не вздыхали баяны.

— Ну что ж, будем прощаться, ребята, — сказал Вадим Вадимыч.

Он стоял посредине каре, совсем непохожий на се-

бя — коротко подстриженный, в военной форме с пехотными петлицами.

Возле Вадима Вадимыча военрук и еще какой-то сутулый молодой человек с мясистым носом, в очках с толстыми стеклами.

— Надеюсь, что вы по-прежнему будете отлично нести юнармейскую службу, — продолжал Вадим Вадимыч. — Ну а меня призывают на другую. — Он улыбнулся. — Направляют на фронтовые курсы младших лейтенантов. По окончании их командиром полка мне, конечно, не быть, а уж взвод, я думаю, доверят.

— Желаем вырасти до командира полка! — громко сказал военрук и поправил пилотку.

— Спасибо, постараюсь. Ну а пока что на первых порах оправдаю данное вами прозвище, — он притронулся пальцами к петлицам, — получу кубик.

В строю хихикнули.

— Была команда «Смирно!» — грозно крикнул военрук. — Что там за шевеление туда-сюда, шушуканье разное?!

— Ладно, вольно! — Кубик махнул рукой. — Вместо меня командиром полка назначен другой член райкома комсомола. Зовут его Яков Михайлович.

Сутулый блеснул очками, неловко поднес ладонь к козырьку кепки.

— Здравствуйте, товарищи юнармейцы!

— Здрась!.. дрась!.. рась!.. — нескладно пронеслось по ротам, и все слышали, как военрук сказал вполголоса новому командиру полка:

— Надо было сперва дать команду «Смирно!».

— Извините, не знал, — ответил ему очкастый.

Ива стоял в первой шеренге, смотрел на Кубика и с грустью думал:

«Вот уезжает, а вместо него останется какой-то четырехглазый, который и команды-то подать толком не может. Какая это будет Юнармия? Конечно, военрук останется, его на фронт не возьмут, он старый. Но военрук — это что, только и умеет затворы винтовочные разбирать-собирать да кричать еще...»

Иве пришла вдруг в голову страшная мысль о том, что Кубика могут убить. Он даже представил себе, как тот бежит впереди своего взвода, высоко подняв над головой наган. Атака, атака! Вздываются черными папахами разрывы фугасов, клубится под ногами пыль и дым, а голос Кубика покрывает грохот боя:

— Вперед, юнармейцы!

Ива тоже бежит вместе со всеми, прижимая к бедру приклад винтовки. Настоящей, не учебной, лучше самозарядной, с широким лезвием штыка.

Вперед, сквозь раскаленный шквал пулеметных очередей и колющие провололочные спирали. Вперед!

Рядом с Ивой в распахнутом бушлате, в тельняшке, с бескозыркой, надвинутой на брови, бежит матрос. В его руке не наган, как у Кубика, а красивый пистолет с коротким стволом, трофейный «вальтер». Это же Каноныкин, ну конечно, Каноныкин, кто ж еще?

— Полундра, ребята! — кричит он. — Комвзвода убило!

И тут Ива видит, как падает Кубик. Лицом вперед, раскинув руки, продолжая сжимать горячую рукоятку нагана.

Постой, командир! Не умирай, не надо! Ведь это все только привиделось!..

Ива зажмурил глаза, встряхнул головой. И снова увидел выбитый ногами двор, кудрявый бурьян у кирпичного забора, Ромкиного пса, терпеливо ожидающего возле ворот своего хозяина.

— Надеюсь, ребята, что мы встретимся и я еще расскажу вам о движении небесных тел и вообще обо всем том, что полагается узнать вам из курса астрономии...

Гроыхнули барабаны, из окон музыкальной школы высунулись девочки с бантиками и без бантиков. Ромкин пес испуганно отступил за ворота, а полк, разворачиваясь поротно и рубя шаг, в последний раз прошел мимо Кубика. Тот стоял, прижав руку к пилотке, ладный и высокий, с озорной, совсем не учительской улыбкой. А рядом с ним сутулился молодой человек в очках. И тоже держал сложенную лодочкой ладонь у козырька своей клетчатой кепки.

...Вечером Ива с Минасиком отправились на вокзал провожать Вадима Вадимыча. В последний момент к ним присоединился Ромка.

Провожających было много. Среди них Ива увидел нескольких школьных учителей, седовласого военрука в неизменной своей пилотке с кантами, нового комполка и, что было всего удивительней, Рэму. Она пришла одна, с букетиком цветов. Вообще-то первые цветы уже появились, ими торговали у ворот базара и возле кинотеатров, но в руках Рэмы были явно комнатные цветы. Какие-то необычные, с толстыми бархатистыми лепестками.

«На балконе своем нарвала, — подумал Ива. — Узнает мадам Флигель, эх и шума будет!..»

— Спасибо, что пришли, — сказал Вадим Вадимыч. — О, какой красивый букет! Можно, я его оставлю маме? А то в теплушке такие нежные цветы сразу же зачахнут от махорочного дыма.

— Можно, — ответила Рэма. — Ведь это все равно что вам.

Вадим Вадимыч протянул цветы высокой женщине с гладко зачесанными, черными, как и у него, волосами.

— Вот моя мама.

— Очень приятно, — сказал Ромка и протянул ей руку. — Ромэо.

— А Джульетта у тебя есть? — улыбнулась мать Кубика.

— Конечно, есть! Сестра моя, Джулька. Вот они знают, — он кивнул на Иву и Минасика.

Вдоль воинского состава бегали солдаты с котелками, громко перекликались.

— Старшина Турчененко! К начальнику эшелона!..

— Киракосов! Где Киракосов?..

— Петька-а! Кипятку не забудь!..

И среди всего этого гама, где-то в глубине теплушек тихо пела невидимая гармонь:

В тоске и тревоге
Не стой на пороге...

Ива вслушивался в хорошо знакомые слова и смотрел на Рэму. Ему казалось, что это он, а не Кубик, уезжает сегодня с воинским эшелоном. Уезжает в неизвестность, навстречу боям, опасностям, может, даже смерти. И это ему она принесла цветы, похищенные у мадам Флигель.

Я вернусь, когда растает снег...

Но вот наконец, перекрывая все крики, раздалось напевное:

— По вагон-а-ам!

Вадим Вадимыч рывком прижал к себе мать. Иве показалось, что они стояли так долго, мучительно долго, и Кубик все оглядывался, не трогается ли его эшелон.

— Ты только пиши, Вадик, каждый день пиши, слышишь?

— Конечно, мамочка, обязательно...

— По вагон-а-ам!

— Мне пора, мамочка.

— Нет! Нет!..

Эшелон вздрогнул от ее крика, смущенно зазвякал буферными тарелками. Перезвон прокатился от паровоза и до самого последнего вагона, из открытых дверей которого выглядывал повар в белом колпаке, с поварешкой, висящей на поясе.

«Почему нет оркестра? — думал Ива. — Когда оркестр, тогда ведь легче на сердце. Он гремит, и не слышно, как плачут люди...»

— До свидания, мама!..

«Когда оркестр, то кажется, что все обязательно окончится благополучно, все останутся живы, все встретятся, как в кино. Ах, почему же нет оркестра?!»

— Желаем вырасти до командира полка! — кричал военрук. Он бежал рядом с вагоном, держась за железную скобу. — Очень желаем, пусть так будет!

— Ва-адик!..

Отпустив скобу, военрук долго еще махал пилоткой, ветер трепал его седые и без того взъерошенные волосы.

Теплушки плыли мимо, полные улыбающихся лиц, поднятых рук, коротко остриженных голов.

«Смерть немецким оккупантам! — написано мелом на красной обшивке вагонов. — Наше дело правое, мы победим!»

— До свидания, мама-а!..

Минасик плакал, размазывая кулаком слезы по толстым щекам. Он даже не отворачивался, не прятал лица. Стоял и плакал, как маленький, а Ромка толкал его в бок и говорил:

— Что ты делаешь? Если мужчины начнут плакать, женщины совсем расстроятся. Хватит, стыдно, ну!

Рэма смотрела на них, хмурилась, и пальцы ее быстро сплетали и расплетали кончик пушистой косы...

ПИСЬМО ИЗ ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА

Двор с тремя акациями и их ровесник — опоясанный террасами дом и флигель, заставленный цветочными горшками, все казалось неизменным. Все продолжали жить своей привычной жизнью. Так же ссорилась с соседями мадам Флигель, так же играли гаммы голенастые ученицы с черными папками для нот, так же стучал в подвале Михель, прибывая к старым сапогам новые под-

метки из распоротых автомобильных покрышек. А Никагосов, вычерчивая пальцем в воздухе замысловатые фигуры и слегка покачиваясь, говорил ему:

— Это старье мне раньше отдавали за копейку. Э, возьми, старый вещь, только унеси. Зачем она нам? А теперь мы постираем его, залатаем, и люди говорят: «Продай нам, хорошие деньги тебе дадим».

Михель ничего не мог ответить — он сжимал сухими бледными губами сапожные гвоздики и только согласно кивал коротко остриженной седой головой.

— Что ты киваешь мне? Неправильно живем! — Никагосов вздыхал и сокрушенно разводил руками. — А что мы можем делать, старые люди? Воевать нас не возьмут; даже солдатам бургули* варить не примут, скажут: куда ты лезешь, старый вещь, сиди в своем подвале, без тебя немцам намажем красным перцем.

Михель выплевывал в ладонь гвоздики.

— Ты турак, — говорил он сердито. — Ты много пиль вина и потому палтаешь глупость.

— Э, Михо! Поэт должен пить вино, тогда в его сердце приходит огонь.

— Оконь! На твой оконь я свой кофе не сварю. Хо-хо-хо!

— Эх, Михель! Ты мою душу не понимаешь!

Но Михель снова зажимал в губах острые гвоздики и молча принимался стучать по подметке.

Все вроде бы идет по-прежнему во дворе с тремя старыми акациями. Вроде бы так...

По утрам старик Туманов кричит вслед сыну:

— Никсик, ты не забыл на столе свои чертежи?

— Нет, все-certезы со мной, успокойся.

— А завтрак, завтрак взял?

— Ну а как же? Сто з я, без завтрака буду, сто ли?

Шурша суконными шлепанцами, Туманов ходит по террасе и доверительно сообщает соседям:

— Никсик как почти кандидат наук разрабатывает оборонную тему особой важности. Нам скоро установят телефон, чтобы можно было звонить прямо в Москву. Вы знаете, ему тоже дали литерные карточки и талоны в закрытую столовую: он очень ценный специалист. Ему бы еще жениться...

И только когда на террасе показывался летчик, Туманов переставал расхваливать Никса и уходил на кух-

* Пшеничная каша (груз.).

ню мыть под краном оставшиеся со вчерашнего дня грязные тарелки.

В комнате летчика пахнет крепким табаком. Летчик теперь больше один — Алик после школы спешит в аэроклуб и домой возвращается поздно вечером, усталый и голодный. Он стаскивает с головы запыленный кожаный шлем, говорит улыбаясь:

— Инструктор обещал к концу месяца разрешить первый прыжок. Высота — тысяча метров. Здорово?

— Здорово, — соглашается летчик. — Кушать хочешь, прыгун?

— Еще как!

— Разогревай. Сегодня у нас обед отменный, с тарелкой срубаешь.

— Сам кухарил?

— Куда мне так. Кетеван Николаевна опять подключилась. Я, говорит, вам сварю такое харчо, какое любил мой сын Гигуша.

— Она старуха ничего. Сколько лет прошло уже, а все вспоминает сына, все говорит о нем.

— Балда ты! — сердится летчик. — Да разве можно забыть сына?

— Но муж-то ее, князь этот самый, удрал же за границу и не вспоминает небось, хоть и отец.

— Для человека, который отрекся от Родины, недолго отречься и от всего остального, без чего не представляют себе жизнь настоящие люди...

Летчик долго набивает табаком папиросные гильзы и курит, курит. Терпкий дым плывет к потолку, облаками стелется по карте с белыми и черными флажками. Все неумолимее их цепочка, все ближе она к темно-коричневой гряде гор, перешагнуть через которую флажкам не суждено. Но об этом еще никому не известно...

Когда летчику становилось совсем уж немого, он открывал ящик письменного стола, доставал деревянную коробочку и, открыв ее, долго смотрел на красное, как кровь, знамя и золотые буквы на нем: «Гвардия».

Этот значок прислали ему однопольчане. Вместе с письмом.

«Нашему полку за бои под Москвой присвоено звание гвардейского. На днях вот вручили боевое гвардейское знамя и нагрудные значки. Ты по-прежнему с нами, Паша. По-прежнему поднимаем в небо боевую машину капитана Пинчука. Сейчас доверили это очень хорошему парню, твоему тезке, младшему лейтенанту Павлу Во-

робьеву, Воробышку, как мы называем его. Задиристый воробышек двух стервятников уже носом в землю ткнул. Вообще в полку все больше молодежь. Из тех, кто летал в финскую, осталось всего трое: ты, Валька Самойлов да я. Остальных нет, Паша. Через тяжеленные бои прошел полк, особенно в зиму сорок первого.

Третью по счету машину называем мы твоим истребителем. Войну она кончит в Берлине, даем тебе в этом крепкое слово. Хочется мне, Паша, чтоб Воробышек долетел бы на ней до победы, очень хочется...

Посылаем тебе торжественно, перед строем, заочно врученный капитану Пинчуку нагрудный значок гвардейца. Носи его с гордостью!..»

Летчик не носил значка. Хранил его в коробочке.

Однажды этот значок увидела Цицианова.

— Поздравляю вас, Павел Александрович. Теперь вы гвардейский офицер. Это такая высокая честь!

— Спасибо, Кетеван Николаевна...

— Мой брат тоже был гвардейским офицером. Поручиком... Он погиб еще в русско-японскую войну под Мукденом. Совсем молодым... Как неумолимо быстро летит время, Павел Александрович! Изменяет все вокруг, делает прекрасным или, напротив, уродливым. Мы не всегда замечаем это, бежим вместе с временем, стараясь не оглядываться...

А вот Иве порой казалось, что жизнь во дворе с тремя акациями течет так же, как и год назад. Волейбола только по воскресеньям нет да ламп вечерами на террасах не зажигают — светомаскировка. И было ему не совсем понятно, когда взрослые говорили:

— Как удивительно изменилось все в нашем доме!..

— Да, да, — вздыхала в ответ бывшая актриса Мак-Валуа. — Все стало другим, неузнаваемым...

Она ходила теперь в пальто, перешитом из шинели, и в сапогах. Сапоги слегка велики ей.

— Я хранила их как память о муже. Теперь вот ношу... Знаете, недавно моряки подарили мне тельняшку. Это было так мило, так волнующе трогательно! Вообще моя работа в агитбригаде, выезды с концертами в воинские части, госпитали, реакция публики, как это все вдохновляет! Я заново переживаю свою молодость...

После отъезда Вадима Вадимыча Ива уже не с такой охотой спешил на утрамбованный двор музыкальной

школы. Новый командир полка без конца проводил длиннющие занятия по военной истории, что очень уж напоминало школьные уроки. Вся разница заключалась в том, что сидели юнармейцы не за партами, а прямо на земле, в тени кирпичного забора. Комполка занятия проводил нудно, то и дело заглядывая в какую-то тетрадку, поднося ее к самым очкам. Дважды он организовывал военные игры. Юнармейцы маршировали под оркестр до самого конца Верхнего шоссе, потом разбивались на две равные группы — на «красных» и «синих». Начиналось нечто вроде «казаков и разбойников» — игры, которой обычно после пятого класса уже никто не увлекается.

Арбитром в этой свалке бывал сам комполка. Он обматывал рукав своего пальто полосатым кашне и бросался в самую гущу сражавшихся.

— Ты убит! — кричал он, хлопая по плечу каждого, кто попадался ему под руку. — Ты тоже убит!.. И ты!.. С поля, в сторонку!

Потные, взъерошенные бойцы отходили в сторону, садились на траву и смотрели, как мечется из стороны в сторону их новый комполка, как размахивает рукой, обвязанной кашне с бахромой.

— Это он привязал к рукаву шарфик, чтоб его самого по башке не стукнули, — заявлял догадливый Ромка. — Тоже еще: убит, убит. Сам ты убит, забурда!..

Вообще-то большинство «убитых» сразу же оживало, стоило им лишь исчезнуть из поля зрения близорукого арбитра. Поэтому результат военных игр, равно как и их путаные правила, мало интересовали юнармейцев.

Во всем полку не было ни одного, кому бы нравились эти суматошные баталии. Кроме Ромки. Тот получал от них двойное удовольствие: во-первых, можно было сколько угодно орать благим матом, а во-вторых, безнаказанно потешаться над командиром полка, которого он сразу и безоговорочно причислил к разряду «учителей-мучителей».

— Аоэ! — надрывался Ромка, распахивая всех и потрясая деревянным автоматом — учебные винтовки брать на военные игры запрещалось. — Давай вперед! Я синий-красный, человек опасный! Фюрер, за мной! Куси их!

— Ты убит, ты уже убит! — пытался унять его комполка.

— Откуда убит? Кто сказал? Видите — бегаю, значит, живой пока. Аоэ!

— Не нарушай порядок! В сторону, с поля!

Но Ромка тут же исчезал, чтобы через секунду появиться в другом месте. Продолжая орать свое «Аоэ!», он носился как угорелый наперегонки с псом, хохотал, свистел, и вся эта кутерьма, крики, собачий лай полностью разрушали ту атмосферу «серьезного мероприятия», которую усиленно старался создать новый комполка.

— В следующий раз, — предупредил он Ромку, — я не допущу тебя до полевых занятий — так он называл свой вариант «казаков и разбойников», — тем более с собакой.

Но в следующий раз на сборный пункт пришло всего человек двадцать, не больше. Военрук насмешливо поглядывал, как смущенный комполка, нервно протирая очки кончиком полосатого кашне, объяснял что-то дирижеру оркестра. Тот нетерпеливо похлопал себя по штанине лакированной палочкой и сказал:

— А нам что играть, что не играть, все одно — деньги вперед уплачены.

Оркестранты взвалили на плечи геликоны, спрятали в футляры кларнеты и валторны. Оркестр удалился молча, без музыки. Впереди шел барабанщик, выпятив барабан, точно огромный живот. Военная игра не состоялась.

— Вы хорошее дело портите, — тихо сказал командиру полка военрук. — Если не умеете, зачем взялись?

— То есть как не умею?! — вспыхнул комполка. — К вашему сведению, я педагог по образованию!

— Э! При чем образование? Они себя солдатами хотят почувствовать, мужчинами, а вы им что? Скажи на палочке с деревянным ружьем и думай, что ты джигит, да? Лучше на трамвайной «колбасе» джигитовать, там интересней получится.

— Но дети...

— Какие дети, дорогой? Четырнадцать лет — разве дети! Сейчас война, все взрослые, вот в чем дело.

— И все равно, — не сдавался очкастый комполка, — игровые элементы необходимы при воспитании мужества, об этом нам говорит опыт таких...

— Слушайте, вы очень много, я вижу, учились, и все на чужом опыте. А я учился мало, зато свой опыт имею — только в этой школе уже десять лет военруком...

Мужество! Они когда в лахти играют и то больше мужества надо, чем для ваших этих, ну... «военных» побегушек. Извините, пожалуйста, не обижайтесь — что думал, то сказал.

— Чем критиковать да поучать, взялись бы сами! — огрызнулся уязвленный комполка. — С вашим многолетним опытом... игры в лахти... — Он иронически усмехнулся.

— При чем лахти?.. Я бы взялся, конечно, да только время мое ушло, старый я уже человек. Затвор разобрать, «раз-два, левой!» — это я могу научить не хуже, чем другой военрук, клянусь детьми... А вот Юнармия, понимаете, комсомольское это дело. Какой с меня теперь комсомолец? — Он снял пилотку, тронул пальцами завитки седых волос. — Комсомол и седина, э! Что вы говорите?.. Я Вадимину помогал, но это совсем другое дело. А как вам помочь, не знаю, ну! Ничего не получается. Потому я про лахти вспомнил, когда вы о мужестве сказали. Так что обижаться не стоит...

Ляхти была любимой Ромкиной игрой. Как только подсыхал после зимней слякоти школьный двор, Ромка первый бросал клич:

— Аоэ! Кто лахти хочет, иди, канаться будем! Набираю команду!..

«Канались» по классической системе, утвердившейся в городе, наверное, еще в средние века. Двое, обнявшись, вразвалочку подходили к жокакам будущих команд и вопрошали:

— Кого хочешь: яблоко или грушу?

— Давай грушу! — отвечал Ромка после секундного раздумья, и тот, кто был «грушей», становился у него за спиной.

— Кого хочешь: автомобиль или ешака?

Подобные этому вопросы задавали обычно только оригиналы. Большинство же «каналось» с помощью привычных, незатейливых яблок-груш и других садовых или огородных даров.

Случались и конфликты, если кто-нибудь, тайком подмигивая, пытался раскрыть свой фруктовый псевдоним. Делалось это обычно по предварительному сговору, и чаще других подобные уловки использовал Ромка, ставший подобрать себе команду посильнее, без Минасика, например.

Но вот когда после долгих споров, криков и взаимных обвинений в жульничестве команды бывали нако-

нец, скомплектованы, Ромка снимал поясной ремень, зажимал в ладони пряжку и, бросив другой конец пояса Иве, приказывал:

— Аба! Чертим круг!

Ремень натягивался струной. Ива, приседая, бежал по кругу, чиркал по асфальту куском мела.

Игра начиналась. Это была несложная и, видимо, очень древняя игра. Смысл ее заключался в том, что надо умудриться ударами ремня выбить за пределы круга пояса противника. Они лежали кожаными радиусами, похожие на вытянувшихся змей; головы-пряжки прижаты к очерченной мелом окружности. И над каждым из них, замерев в ожидании атаки, стоял бдительный страж.

Защищать ремни разрешалось только ногами. Можно дать подножку зарвавшемуся нападающему и вывести его этим из игры или пленить, силком затащив в круг.

Но нападающие тоже не зевали, лупили ремнями натомашь, не стеснясь, только успевай подпрыгивай. Не успеешь — попадет по ногам; прыгнешь слишком высоко, и тут же шлепнут по ремню, выбьют его за круг и потом этим же ремнем начнут орудовать против тебя.

В схватках за ремни Ромка бывал неутомим и бесстрашен. В любом случае: защищал ли разложенные по кругу пояса или возглавлял команду атакующих.

Особенно трудно бывало добыть первый пояс, не наравшись при этом на подножку и не попав в плен. Ромка то подползал к границе круга по-пластунски, то с диким криком бросался на его защитников, подскакивая, чтоб не подсекли ногу, отбиваясь от хватавших со всех сторон рук. В какой-то момент, изловчившись, он все же утаскивал один из ремней и, размахивая им над головой, словно саблей, устремлялся в новую атаку.

— Аоэ!..

Когда наступал Ромкин черед оборонять круг, то он не менее самоотверженно подставлял под удары свои ноги, заслоняя ими лежащий на земле ремень. И никогда при этом не прикрывался снятым с плеч пальто или пиджаком, хотя по правилам игры в лахти это и не возбранялось.

— Я сколько хочешь могу терпеть! — хвастливо заявлял Ромка. — Подумаешь! Меня отец иногда ремнем не по ногам бьет, и ничего, терплю. Это пускай Минасик закрывается, он у нас очень нежный и болезненный...

Так что, возможно, и прав был военрук, столь щепоч-

тительно сравнивший военные игры нового комполка с немудреным лахти.

Как знать, не пришла ли к концу с отъездом Кубика служба в Юнармии? Если не считать, конечно, дежурства у госпитальных телефонов...

ГРОЗДЬ ЛИЛОВЫХ ЦВЕТОВ

Героем дня был Алик. Он совершил свой первый прыжок, и об этом знали во дворе все.

— Молодец, не ожидал! — сказал ему Никагосов. — Я бы, например, не рискнул, а вдруг парашют порвется?

— Он не может порваться, — вмешался Ива. — Парашюты делаются из специального шелка. И потом стропы...

— Что такое стропы, я не знаю, — упорствовал Никагосов. — Я знаю, что такое рвется. Берешь вещь, как будто совсем новая, хочешь, из шелка, хочешь, из маркизета, какая разница? Немножко потянул — трр-р — пошла-поехала, никто ее уже не купит — дахеулиа *.

Ива хотел было сказать, что парашюты у старьевщиков не покупают, но раздумал, потому что Никагосова все равно не переубедишь, парашютистом он не станет. И вообще было не до споров; важнее узнать у Алика, какой вес может выдержать стропа. Одна или две, связанные вместе.

— А зачем тебе? — спросил Алик.

— Ну так, надо. Если на одной стропе повиснуть, меня она выдержит? Во мне сорок восемь кило, — Ива специально взвешивался в госпитале на белых медицинских весах, стоящих в коридоре.

— Одна, может, и не выдержит, а две так точно.

— Алик, ты можешь достать две парашютные стропы? Не навсегда, на вечер только.

— Да зачем они тебе?

— Ну надо...

— Могу. Но раз не говоришь, зачем, то не достану. Пришлось рассказывать.

Алик выслушал, недовольно поморщил нос.

— Выдумки все это...

Но потом, оглядев Иву, точно видел его впервые, добавил:

* Порванная (*груз.*).

— Ладно, завтра вечером, может быть... Но только со мной вместе.

Лаз на чердак оброс липкими паутинными бородами. Иве казалось, что по крайней мере лет сто никто не забирался в этот кирпичный колодец, по стенке которого тянулась бесконечная ржавая стремянка. Да и кому нужен этот лаз, когда снаружи для пожарных давным-давно пристроили специальную лестницу, а кроме них, никому на чердаке и делать нечего.

Но подниматься по наружной лестнице Иве с Аликом никак нельзя — тут же заметят, поднимут крик, велют спуститься. Потом обязательно примутся расспрашивать: зачем полезли да почему, в общем, все сорвется. Вот и пришлось ползти по затканной пауками стремянке.

Алик с мотком старых парашютных строп лез первым, Ива за ним. В лазе было темно, и дважды уже Ивины пальцы попадали под Аликины подметки. Но Ива терпел — в конце концов ведь не Алику, а ему нужно это путешествие на крышу соседнего дома.

Они выбрались наружу через люк. Глухую стену здания венчал невысокий парапет. Внизу был двор, кроны акаций, черепичная крыша флигеля и чуть поодаль крыша старой кухни. Прямо напротив в сгущающихся сумерках, едва проглядывая сквозь листву, белели террасы дома. Было видно, как Ромкина мать сидит на низенькой скамеечке и ошипывает курицу, а Джулька, прижавшись рядом, толчет что-то в ступке.

Блям, блям, блям — звякал медный пестик.

— Сациви * небось затеяли, — сказал Алик. — Твоя мама умеет готовить сациви?

— Нет.

— А моя умела. — Он вздохнул. — Очень вкусная штука...

Впервые Алик заговорил с Ивой о своей матери. Ива не понял, почему это вдруг и к тому же здесь, на крыше.

— Она у нас знаешь какая веселая была? И все умела. — Алик распутал стропы, обвязал ими дымоходную трубу, проверил, надежен ли узел. — Если бы не она, не полез бы я с тобой на крышу.

Вот это уж было совершенно непонятным. Ива даже руками развел, до того удивила его Аликина фраза.

* Особо приготовленный соус к курице или рыбе

А тот, словно и не замечая Ивиного изумления, снова изо всех сил потянул за стропы, повис на них.

— Слона удержит...

— Но почему... — начал было Ива.

— Потому, Ивка, что, когда меня еще на свете не было, отец добыл гроздь глицинии для мамы. Она сказала во дворе ребятам: у кого хватит смелости сорвать цветок? Никс, тот палки принялся швырять, хотел сбить ветку, мадам Флигель окошко расколотил. Тогда отец, связав несколько поясов, спустился с этого вот парапета метра на полтора и сорвал гроздь. А Никс кричал ему снизу: «Сумасеций человек!»

— Твоя мама жила в этом доме?

— Она родилась здесь.

— И папа тоже?

— Нет. Он родился далеко на Волге. Потом уже приехал сюда. В том доме, где сейчас морской госпиталь, тогда было военное училище. Отец окончил его в двадцать пятом году, весной. А я родился осенью...

«Почему люди не сразу рассказывают о себе все? — думал Ива. — Ведь это так важно, знать побольше друг о друге. И об Аликиной маме тоже...»

Почему люди умирают молодыми?

Почему Никс всегда был таким вот, как и сейчас?

Почему Алик не побоялся рассказать обо всем отцу и тот разрешил ему взять старые парашютные стропы? Вот Ивин папа ни за что не разрешил бы!

Почему один понимает, как важно сорвать гроздь глицинии, а другой нет?..

А полез бы за ней Ивин папа? Конечно! Обязательно, хоть он и не кончал военного училища и ему тоже было бы страшновато, как страшно сейчас Иве.

Когда окончательно стемнело, Алик сказал:

— Я полезу первым. Потом ты.

— Зачем же тебе лезть? — удивился Ива.

— Мне тоже нужна глициния... Отцу подарю. — Он снял ботинки, продел ногу в завязанную петлей стропу и перешагнул через парапет. — Травы помаленьку.

Шершавые стропы врезались в ладони и в плечо. Ива старался удержать их, но это было не так просто. Они тянули его за собой, прижимали к парапету, пытались вырваться из рук.

— Стоп! — донеслось снизу. И через секунду: — Выбирай!

Это было еще труднее. В какой-то момент Ива по-

чувствовал, что все — сейчас пальцы сами разожмутся, и Алик повиснет между небом и землей. Это в том случае, если не развалится труба, за которую привязали стропы; а если развалится, то он вообще полетит вниз.

— Тащи!..

У Ивы от страха пот выступил на лбу, и ладони тоже стали влажными. Он уперся коленками в парапет и из последних сил потянул стропы. Показалась Аликина голова. Еще одно усилие, и тот закинул на парапет ногу.

— Возьми, — сказал он, — чтоб не помялись...

Алик сорвал три грозди. Чуть влажные цветы пахли удивительно нежно; то был необычный, ни с чем не сравнимый запах. А может, Иве только казалось и глицинии пахли просто мокрыми от недавнего дождя листьями?

— Мне две довольно. — Алик положил цветы в кепку. — Одну я для тебя сорвал.

— Нет! — Ива даже отступил на шаг. — Я должен сам, как ты не понимаешь?!

— Ну давай сам. Я так, на всякий случай сорвал.

Алик расправил стропы, обвязал ими Иву, для страховки прихватил на груди еще одним ремнем. Это был широкий ремень из желтой кожи, с медной резной звездой на пряжке. Его, конечно, носил летчик, может быть, даже в те времена, когда был еще курсантом военного училища и спускался по скользкой кирпичной стене, чтобы сорвать лиловую гроздь глицинии для девушки с пепельными косами.

Впрочем, Ива не знал, были ли косы у Аликиной мамы. Вот у Рэмы они есть, это точно, пепельные.

— Снимай ботинки. Ногами будешь упираться в стенку, а руки на стропях, вот таким макаром. — Алик показал, как держаться за стропы. — Понял?

— Да... — Ива перешагнул через парапет, почувствовал сквозь тонкие носки холод стены, ее неровную, разграфленную швами поверхность.

Внизу была темная пропасть. Четыре этажа с подвалом — это не меньше пятнадцати метров! Предательский холодок пробирался все выше и выше. Особенно холодно было почему-то в животе — так бывает, когда взлетаешь на качелях. Чтобы хоть чем-то заглушить это неприятное чувство, Ива крикнул Алику:

— Трави помаленьку!

— Тише ты там, услышат ведь.

Стропы поползли вниз, вместе с ними скользнул по стене Ива. Нога его уперлась во что-то твердое.

«Ствол глицинии, — подумал он, — значит, где-то рядом должны быть цветы...»

Но как выпустить из рук стропу? Ива несколько раз пытался заставить себя разжать пальцы и не мог.

Сверху раздался сердитый Аликин шепот:

— Уснул ты там, что ли?

— Сейчас, сейчас!..

Ива уцепился ногами за узловатый ствол, прижался всем телом к мокрой листве. Тонкие гибкие стебли ползли по стене, укутывали ее густой темно-зеленой шубой. Все было в один цвет, не поймешь, где прячутся лиловые грозди.

«Они же пахнут, — подумал Ива. — Пахнут совсем по-другому, не так, как листья!..»

Он глубоко втянул в себя воздух и почувствовал возле самого лица едва уловимый аромат. Вот же цветы, совсем рядом! Стоит лишь протянуть руку, и сорвешь их. Ива разжал пальцы, отпустил стропу, осторожно переломил хрупкий черенок грозди и зажал его в зубах.

Еще одну, и достаточно. Теперь можно снова ухватить стропу и перестать судорожно цеплять ногами ствол глицинии.

Противный холодок исчез, он уже не пронизывал Ивин живот. Носки были насквозь мокрые, но это не имело никакого значения. Ива уверенно нащупывал пальцами неровности кладки и, перебирая руками стропы, быстро выбирался наверх. Зажатые в зубах грозди глицинии щекотали ему подбородок.

— Долго же ты! — проворчал Алик, помогая Иве перелезть через парапет.

— Темно, не видно, где цветы.

— А руки у тебя зачем?

— Так я руками...

Вниз они спускались снова через лаз — пожарная лестница шла по торцу здания рядом с окнами, большинство из которых было открыто.

— В нашем доме тоже такая же чертовина есть, — сказал Алик, кепкой вытирая с лица налипшую паутину. — Прямо от Никагосова вверх, до крыши. Через вашу квартиру должна проходить.

— Да, в чуланчике есть какая-то дверца, но она закрыта. Я не знал, что это в чердачный лаз.

— Куда же еще?...

Остаток вечера Ива провел во дворе. Он не пошел на

дежурство в госпиталь и не сел за уроки. Стараясь не привлекать ничего внимания, он ждал.

Репетиция агитбригады кончалась обычно в полдесятого. В девять мама позвала его ужинать, но он ответил, что сыт, это была явная неправда.

Если очень долго ждешь, то обязательно проглядишь того, кого ждал. Так и получилось — Ива заметил Рэму, когда она уже поднималась по лестнице флигеля.

— Постой! — крикнул он, подбегая.

Рэма остановилась.

— Вот, — Ива протянул ей глицинию, — это тебе.

— Где ты взял? — Она поднесла цветы к лицу.

Ива молчал.

— Смотри, они и вправду пахнут лучше других цветов... Спасибо! Сегодня все так здорово — письмо пришло от мамы, она в Сталинграде. И вот ничейные цветы.

— Они не ничейные вовсе! Я для тебя их сорвал.

— Сорвал?! Ивка, ты... лазил туда?!

Ива молчал.

Гладкая кирпичная стена уходила в темноту. Флигель привалился к ней боком. Высоко над его крышей прятался в листве витой ствол глицинии; сотни тоненьких гибких стеблей расходились от него во все стороны, цеплялись усиками за кладку, свешивали вниз лиловые грозди ничейных цветов.

— Ивка, да ты просто сумасшедший человек!..

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ

Каноныкина Ива встречал чаще всего в госпитале. Реже в нижнем дворе, когда тот пробирался на старую кухню после своих вылазок в город.

— Мировое место вы придумали, — хвалил он ребят. — Полная маскировочка, лезешь себе, и ни один глаз тебя не засечет за теми кустами да елками-палками.

«Елками-палками» Каноныкин называл тую. Высокие ее кусты росли густо, зеленая плотная хвоя и вправду хорошо скрывала любого, кто лез по стволу глицинии к слуховому окну бывшей кухни биржевого маклера Сананиди.

В старом, разохшемся гардеробе Каноныкин оставлял одежду, купленную в свое время Ромкой у Никагосова, переседевался в госпитальный халат, и непосвящен-

ным оставалось только теряться в догадках, как это он умудряется разгуливать по городу полуодетым, в тапочках на босу ногу и не привлекать к себе внимания комендатуры.

— Не имей сто рублей, а имей сто друзей, — смеялся Каноныкин.

И Ромка, если оказывался рядом, то не упускал случая дополнить:

— С каждого по десятке — уже тысяча получится.

— Ха-ха-ха, дает пацан!..

Во дворе с тремя акациями Каноныкин никогда не показывался и ни с кем не был знаком. Поэтому Ива очень удивился, когда увидел его вечером входящим в подъезд их дома.

— Здорово, тезка! — обрадовался Каноныкин. — Это хорошо, что ты мне попался. Я ведь тебя как раз-то и хотел отыскать, да только квартиру не знаю, спрашивать бы пришлось. Понимаешь, кореш, дело есть важное, поможешь?

— Еще бы, с удовольствием!

— Дело-то ерундовое, — Каноныкин вынул из кармана сложенный треугольником листок бумаги. — Главврачу вручишь завтра поутру, как только он приедет.

— Хорошо, я подкараулю его. Мне в школу во вторую смену.

— Во-во, подкарауль. Я, понимаешь, в самоволку опять подаюсь, попрощаться с одной там надо. — Каноныкин весело подмигнул Иве. — Прошу вот главврача, пусть в последний разок прикроет меня от начальника команды. Швабра тыловая, чуть что — рапорты строчит, неприятность напоследок может мне выйти.

— А разве сейчас главврача уже нет в госпитале?

— Нету. Я ждал-прождал его. На совещание как уехал после обеда, и с концами. Только, тезка, слышь, задание боевое, не подведи — прямо в семь утра, пока начкоманды меня не хватился, ферштейшь?

— Ферштейю, — улыбнулся Ива.

— Тогда порядок! Только не лялякать — ша! — и точка. Военсекрет! — Каноныкин глянул на часы. — Полдесятого уже... Хороши часики? — Он оттянул рукав, циферблат часов светился в темноте. — Трофейные. Буду отбывать на фронт, тебе подарю.

— Мне?! Что вы!

— А чего? На память о дружбе. Может, и не придется нам свидеться больше. Война, она, знаешь, серъ-

езная штука... Ну бывай пока! Смотри, не проспай завтра.

Ива не проспал. Он поставил будильник, но проснулся за пятнадцать минут до звонка. В открытое окно доносился гул голосов. Спросонок Ива ничего не мог понять — кто-то кричал, причитала женщина, свистел милиционер.

— Что там, мама?

Мать не ответила. Она стояла в дверях, держась за косяк, точно видела что-то очень страшное.

Ива вскочил с кровати, бросился к дверям, но мать удержала его:

— Не ходи, не ходи туда, Ивочка!

— Почему?

— Там... Там Никагосова убили.

— Никагосова?! Кто его мог убить?

— Кажется, Михель.

Михель стоял меж двух милиционеров. Один из них держал руку на расстегнутой кобуре нагана, другой кричал на толпившихся вокруг людей:

— Отойдите, да! Что такое, что такое! Мешаете, ну!..

Михель стоял спокойно, в лучах солнца серебрились его коротко остриженные седые волосы.

Пригласили понятых. Никс все время лез вперед, чтоб взяли его. Но молчаливый милицкий капитан козырнул профессору:

— Не посчитайте за труд, случай очень серьезный.

— Я готов, — кивнул профессор.

Пришла машина с решеткой на маленьком, окованном железом окошке. Милиционеры посадили Михеля.

— Я всегда говорила, что он шпион! — крикнула с балкона мадам Флигель. — К ним в подвал вечно шлелись какие-то типы.

— Вы что-нибудь видели? — тут же повернулся к ней капитан милиции.

— А то я не видела! Я за ними за обоими наблюдала. Здесь нечистое дело, товарищ начальник милиции. Он же немец!

— Старая тура! — бросил ей Михель и отвернулся.

Машина уехала. Капитан и понятые спустились в подвал. Никагосов лежал посреди комнаты на куче тряпья. Все было перевернуто вверх дном, разбросано в беспорядке, сорванный со стены дырявый палас валялся, закрывая лицо убитого.

— Кто сообщил вам о случившемся? — спросил капитана профессор.

— Сам Глобке. Пришел в милицию и доложил: зарезали Никагосова, вот нож. А нож его. Сапожный, острый, как бритва.

— Преступники, видать, искали что-то, — сказал второй понятой — управдом.

— Преступники? — переспросил капитан. — Вряд ли с Глобке был еще кто-то. — Он поднял с пола пустые винные бутылки, осторожно завернул их в старую скатерку. — Прирезать пьяного старика — дело нехитрое. А вот искал что-то, это вы правы. Деньги искал. Глобке сам сообщил: у Никагосова большие деньги спрятаны.

Усатый лейтенант устроился за столом, сдвинул в сторону тарелку с остатками еды, приготовился писать протокол. Понятые сидели у двери, а капитан ходил по полутемной комнате, то и дело перешагивая через Никагосова, и диктовал лейтенанту:

— «28 мая 1942 года в доме № 9 по улице Подгорной...» Написал?

— Сейчас...

— Нельзя ли, — сказал профессор, — положить покойного на тахту.

— Извините, — капитан развел руками. — Никак нельзя, пока не закончим осмотр места происшествия.

— Ну что ж, раз не полагается...

Народу набилось полный двор, люди заглядывали в окна подвала, пытались спуститься вниз, но их не пускал милиционер.

— Куда лезешь, ва! Что за человек — как маленький, честное слово.

— Что случилось? Что случилось? — любопытствовали прохожие.

— Старьевщика сосед зарезал. Немец. Говорят, они шпионы были, деньги поделить не смогли.

— Тц-тц-тц! Если шпионы, милиция здесь что хочет? Какое се дело шпионов ловить?

— Сткуда мы знаем? Не говорят ничего.

— Тц-тц-тц...

Капитан продолжал ходить по комнате и диктовать протокол. Но через убитого больше не перешагивал.

— «На месте происшествия явные следы поспешного поиска, мебель и личные вещи разбросаны, дверь, ведущая...» Стой! — Капитан остановился, поднял руку. — Куда ведет эта маленькая дверь? В чулан?

— Там вроде чулана, — согласился управдом. — Никагосов всякую хара-хуру свою складывал. Но вообще это чердачный лаз когда-то был.

— Лаз? Что ж вы молчали?

— Вы не спрашивали, я не говорил.

— Куда по нему можно подняться? — Капитан вытащил из чулана разворошенные мешки со старьем, посветил фонариком.

Лейтенант бросил протокол, все подошли к дверям лаза.

— Куда подняться? — переспросил управдом. — Далеко не подниметесь, стремянка поломана, но до второго этажа можно. В квартиру Русановых попадете.

— Кто это Русанов?

— Инженер. На заводе работает. Все говорят, что их завод секретный.

— Это к делу не относится. — Капитан передал фонарик усатому лейтенанту и полез по стремянке.

Через полминуты он открыл дощатую дверцу в соседней с Ивиной комнате и громко спросил:

— Здесь есть кто-нибудь?

— Есть! — испуганно отозвалась Ивина мама. — Как вы сюда попали?

Капитан не ответил, осмотрел комнату. Она была совсем маленькой. В ней умещался только письменный стол, диванчик и комод.

— Где ваш муж, гражданка Русанова?

Иве очень не понравилось это «гражданка Русанова». И вообще капитан был какой-то враждебный, нахмуренный, даже «здравствуйте» не сказал.

— Мой муж на работе. Он обычно остается в ночную смену.

— Сегодня ночью никакой шум вас не беспокоил?

— Нет. Мы спали в соседней комнате.

— Что из ценных вещей у вас находится здесь? —

Капитан показал на комод.

— Ничего. Там белье.

— В письменном столе?

— Тоже ничего. Бумаги мужа.

— Вы закрываете ящики на ключ?

— Обычно да...

— Почему они тогда открыты?

Капитан быстрым движением стал выдвигать ящики один за другим. Сначала в комод, потом выдвинул ящики письменного стола. Они оказались пустыми.

— Замки поломаны, — сказал он.

— Вчера они были целы, — Ивина мама растерянно трогала стопки белья. — Я складывала чистые простыни.

— Их сломали сегодня ночью. Какие бумаги могли быть в столе вашего мужа?

— Разные... Я не знаю.

— У вас есть телефон?

— Да, пожалуйста, в соседней комнате.

Капитан набрал номер. Сказал, прикрывая трубку ладонью:

— Докладывает заместитель начальника восемнадцатого отделения милиции Зархия. Соедините меня с полковником Леонидовым.

Он ждал молча, рассматривая носки своих потрепанных сапог. Со двора по-прежнему долетал встревоженный монотонный гул. Выделялся только квакающий голос мадам Флигель:

— Где же, я спрашиваю вас, подевалась бдительность? Сколько раз мы предупреждали всех, так нет! И старьевщик с ним был заодно, это же факт...

Ива невольно вспомнил слова, сказанные как-то Канониным:

«Сам этот Михель ваш, конечно, и не диверсант никакой, а вот в контакт войти может запросто. Укроет врага, информацию ему добудет, связь наладит... В случае чего великий конфуз выйдет, кореши-юнармейцы, — в вашем собственном дворе под вашими глазами и такое «чепе»!..»

Выходит, словно в воду глядел Каноникин. Ива поежился, представив себе, как кто-то сегодня ночью вскрывал ящики стола в соседней комнате, держа наготове нож: тот самый нож, которым был зарезан Никагосов.

Но Никагосова убил Михель. Выходит, это он пробрался к ним через лаз? Ничего не понятно...

— Алло! — неожиданно сказал капитан. — Товарищ полковник? Здесь происшествие у нас, ограбление с убийством. Но одновременно похищены бумаги у инженера Русанова с завода номер двадцать один. Обнаружен взлом... Ясно! Жду ваших работников. Есть!..

Дальнейшие события разворачивались так стремительно, что Ива, захваченный ими, совсем забыл про боевое задание Каноникина, про сложенный треугольником листок.

Через час приехал вызванный по телефону Ивин папа. Он зачем-то несколько раз выдвинул и вновь задвинул пустые ящики письменного стола, потом сказал:

— Никаких секретных бумаг и записей, тем более чертежей, дома я, конечно, не держал. Здесь были личные письма, дневник... — Он виновато замолчал. — Понимаю, я не имел права вести дневник. Для опытного разведчика любой полунамеком уже ценная информация. Да, да... Ужасно неприятно! Но кто мог предположить, что мной могут столь пристально интересоваться? Ах, как неприятно!..

Прошел еще час, и, к всеобщему удивлению, Михеля привезли обратно. По-прежнему невозмутимо он прошел через двор. Милиционеры не шагали теперь рядом с ним и не держали рук на расстегнутых кобурах. Они шли позади, следом за какими-то военными в гимнастерках с полевыми петлицами.

Все спустились в подвал, вошли в комнату Никагосова, и Михель сказал:

— Если б я убивал шеловета, чтоб воровать его теньги, я теньги воровал бы. Я снаю, где он тержит их. Сосед товерял мне, потому что я шестный человек и его труг.

— Так где же спрятаны деньги?

— Фот здесь...

Он подошел к стене, с которой был сорван палас. Из-под отбитой местами штукатурки проглядывала кирпичная кладка. Подцепив ногтем один из кирпичей, Михель слегка сдвинул его.

— Финимайте!

Кирпичи вынули. В неглубокой нише стояла высокая жестяная банка из-под монпансье, прикрытая фанерным кружком. В ней, перевязанные шпагатом, лежали пачки ассигнаций...

* * *

Посмотрев на часы, Ива ужаснулся — двенадцатый час. Боевое задание Каноныкина до сих пор не выполнено, и теперь из-за Ивиной забывчивости у человека будут неприятности.

— Ива, в школу опаздываешь, — сказала мама.

До школы ли тут? Надо срочно бежать в госпиталь. Но, как назло, мама собралась с карточками в магазин, а магазин как раз возле самой школы.

— Ива, я жду тебя, опаздываешь ведь

— Сейчас, сейчас!..

Записка Каноныкина, спрятанная в карман куртки, просто жгла огнем: «Что же делать?..»

Ива совсем уже отчаялся, но вдруг увидел Минасика. С забинтованным горлом, в пальто, тот стоял посреди двора на самом солнце, мокрый как мышь.

— Прошла ангина? — крикнул ему Ива.

— Почти, — прошипел в ответ Минасик. — Сегодня во двор разрешили выйти.

Перемахнув через перила террасы, Ива подбежал к Минасику, сунул ему в руку сложенный треугольником листок.

— Передай главврачу! Лично! Аллюр три креста!

— Мне бабушка не...

— Это задание, понимаешь? Человека подведем. Каноныкина. Уже, наверное, подвели!

Минасик никак не мог сообразить, почему это он вдруг подвел Каноныкина, которого не видел больше недели. Но таинственность поручения, нахмуренное Ивино лицо и тон, которым было сказано: «Это задание, понимаешь?» — делали невозможными дальнейшие отнекивания и ссылки на бабушкины запреты. Минасик сдался.

— Главврачу? — просипел он.

— Только ему!.. Военсекрет! Каноныкин просил, чтобы утром, а сейчас уже...

— Ива, сколько же тебя ждать? — снова раздался недовольный мамин голос.

Минасик потоптался еще немного во дворе, украдкой расстегнул верхние пуговицы пальто. Потом бочком, чтоб не увидела из окна бабушка, скользнул в подворотню и выбежал на улицу.

Он честно обошел весь госпиталь в надежде столкнуться с Ордынским, но того нигде не было. Дважды Минасику делали замечания:

— Сюда не заходят без халата! Порядок пора знать, а еще юнармеец.

Старшина из команды выздоравливающих, подозрительно оглядев Минасика, спросил:

— Каноныкина небось ищешь? Сачкует ваш Каноныкин со вчерашнего вечера. Эх и дадут же ему фитиля!

— Я не Каноныкина, я главврача ищу.

— Чего здесь главврачу делать? Он в кабинете своем.

Постучаться в кабинет Ордынского Минасик не риск-

нул. Кто его знает, в каком он настроении? Тем более записку нужно было передать утром, а сейчас уже дело, поди, к часу идет.

У телефона никто не дежурил. Минасик снял пальто, аккуратно сложил его и сел у столика. Если появится главврач, тогда он, конечно, подойдет к нему и отдаст записку. А стучать не будет, стучать боязно.

У Ордынского не было никаких секретарш, под кабинет он выбрал себе комнату на отлете, в тунике. И когда забирался туда, то тревожить его никому не разрешалось.

Минасик знал это правило и все же время от времени, вспомнив сердитое Ивино лицо, вставал со стула, подходил к стеклянной, выкрашенной белым двери. Даже поднимал руку, чтобы постучаться. Но за дверью было так тихо и как-то строго, что рука сама собой опускалась, и Минасик возвращался на свое место к телефону.

Когда часы пробили два с четвертью, в конце коридора показались какие-то люди в военных гимнастерках, поверх которых были наброшены халаты. Четверо подошли к кабинету главврача, тронули дверную ручку, потом постучали. А пятый сразу же направился к Минасику.

— Здравствуй, — сказал он. — Ты кого здесь ждешь?

Из-под воротника белого халата выглядывала одна из петлиц, на ней поблескивали четыре рубиновые шпалы. Минасик вскочил, вытянулся по стойке «смирно» и зашептал:

— Жду главного врача госпиталя, товарищ полковник!

— Чего это ты шепотом?

— Ангина, товарищ полковник!

— И давно ждешь главврача?

— С двенадцати ноль-ноль!

Четверо спутников полковника продолжали настойчиво стучать в дверь кабинета, но при этом стояли сбоку, у косяков, точно хотели испугать Ордынского, когда тот откроет им.

Полковник отвел Минасика в сторону, к окну, поправил ему повязку на горле.

— Что ж тебя, больного и сипатого, заставило так долго ждать главврача?

Минасик не знал, как ему отвечать, военсекрет ведь.

— Ты где живешь-то, молчун?
— На Подгорной, девять, товарищ полковник.
— А-а... Интересно! Так что же ты принес главврачу? И от кого?
— От Ивы.
— От Ивы? — Полковник повернулся к своим спутникам. — Вскрывайте, ребята, он там.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В НОЧЬ НА 28 МАЯ

Когда Джулька прибежала из школы и доложила матери, что Ромки на занятиях не было, та начала сопоставлять факты:

— Вчера вечером он украл курицу вместе с кастрюлькой. Это он украл, я знаю.

— Он, он! — тряхнула кудряшками Джулька. — И орехи толченые с киндзой тоже он спер. Я толкла, толкла их...

— Хватит, ну! Он испугался, что я скажу отцу и отец его как следует побьет. Потому пошел ночевать к тете Вардо. Но почему он в школу не пришел?

— Потому что «шталист», не знаешь, да?..

Джулька отправилась к тетке Вардо за беглым братцем, но та только руками развела.

— Я два дня уже моего любимца не видела. Что вы с ним там сделали? Зачем опять его обидели? Вай-мэ, вай-мэ!..

Прошел час, и весь двор на Подгорной облетела весть: пропал Ромка.

Снова приехала милиция. В третий раз за этот день. Первый раз утром, потом когда Михель пытался отколотить палкой мадэм Флигель за то, что называла его шпионом, и в третий раз сейчас.

— Вы вчера днем его видели? — допытывался у Ромкиной матери капитан Зархия. — Или ближе к вечеру?

— Вай, не знаю! Убили моего мальчика! Горе мне! Джулька стояла рядом и плакала басом.

Всех очень напугал Ромкин пес. Он приполз в подворотню откуда-то с улицы, голова его была рассечена, сквозь запекушую уже кровь проглядывала белая полоска кости.

Капитан Зархия присел на корточки, осторожно раздвинул слипшуюся шерсть, подул на рану. Пес заскулил, лизнул ему руку.

— Ничего, череп целый остался. Может, еще и выживет. — Капитан поднялся. — Дайте собаке воды. Чем быстрее она придет в себя, тем быстрее мы найдем ее хозяйина.

Ива убежал с последних уроков. Разве тут до геометрии? Куда-то провалился Минастик с запиской Каноникина, а теперь эта история с Ромкой и его псом.

— Ты хоть что-нибудь знаешь? — спросил Иву капитан.

— Нет. Ромка вчера говорил, что устроит нам всем сюрприз.

— У вас сегодня весь день сюрпризы! — обозлился капитан. — Что за дом такой, соседей вам не стыдно?

Он хмуро оглядел всех, нетерпеливо подергал старенькую портупею с медной пряжкой.

— Так кто же последним видел парня? — спросил капитан еще раз.

— Вы знаете, я режиссирую юнармейскую агитбригаду, так вот вчера вечером у нас была репетиция, и Рома, как это часто случается с ним...

— Не пришел, — закончила Мак-Валуа.

— Тц... — капитан покачал головой. — Я же спрашиваю: кто видел? А кто не видел, меня не интересует.

— Извините, — Мак-Валуа обиженно поджала губы, — я не поняла вас...

Ива хотел было побежать в госпиталь, но капитан сказал ему строгим голосом:

— Стой здесь! А то тебя еще искать придется. Ты, Ива?

— Да, Ива.

— Тогда стой рядом со мной и никуда не отходи. Госпиталь сам к тебе придет, уже звонили...

Как госпиталь может ходить куда-то? То ли капитан очень устал сегодня от всех этих происшествий, то ли от него пахнет вином. Ива даже втянул носом воздух. Но от капитана пахло кожей, как от всех военных людей, и еще папиросой, которую он не вынимал изо рта, — докурит одну и прикуривает следующую.

«Все это началось вечером, — думал Ива. — Вчера вечером. И с Никагосовым и с Ромкой... Что же произошло вчера вечером? Что?..»

А вечером 28 мая 1942 года произошло следующее. Часов в восемь Ромка положил кастрюлю с вареной курицей в хозяйственную сумку, привязал к ручкам

длинную бечевку и спустил с четвертого этажа пряменько в нижний двор.

— Ты что в окно вылез? — спросила Джулька.

— Воздухом дышу, нельзя, да?

Он разжал пальцы, бечевка скользнула вниз, туда, где в сиреневых зарослях стояла уже кастрюля.

Джулька открыла соседнее окно, высунулась в него, но ничего подозрительного не обнаружила.

— Иф, иф! — Ромка потянул носом. — Как хорошо свежий воздух пахнет! Наверное, опять мамыны духи брала?

— Заткнись! — огрызнулась Джулька.

— Ивке хочешь понравиться, да? Шиш тебе! На черта ему твои кучеряшки?

Джулька покраснела.

— Дурак! — сказала она. — Это у тебя кучеряшки, а у меня нормальные волосы. Между прочим, лучше, чем у вашей Рэмы-мэмы.

— Охо-хо-хо! — расхохотался Ромка. — «Лучше»!.. У нее косы. Поняла — ко-сы! А у тебя что? Бэ-э-э, кочори*, как у барашка.

Такого издевательства Джулька вынести не смогла. Она вскочила с места, бросилась к брату и, ткнув его пальцем в нос, выпалила:

— Ненормальный! Ненормальный! Ненормальный!..

На этом конфликт был исчерпан.

Ромка с независимым видом походил по квартире, так, чтобы все убедились: в руках у него ничего нет.

— Что сегодня на ужин? — спросил он.

— Будет сациви. Но не скоро, когда папочка придет.

— Тогда я пока погуляю.

Ромка надел мичманку, подаренную ему моряками после концерта в госпитале. Она была изрядно потрепана, но зато с настоящим, шитым золотом крабом. Кроме того, Алик вырезал специально для нее вставку из тонкого стального листа, отчего верх фуражки туго натянулся и приобрел форму идеального круга.

— Мама, он чего-то задумал, — сказала проницательная Джулька.

Но Ромка уже спускался по лестнице. Во дворе никого не было, если не считать Ивы.

— Привет! — крикнул ему Ромка и добавил: — Завтра, между прочим, я хороший сюрприз всем сделаю.

* Закрученные крутыми кольцами волосы (груз.).

Свистнув своему псу, он перелез через кирпичную стенку и спустился в нижний двор. Уже оттуда раздался Ромкин голос:

— Фюрер! Ко мне!

Пес послушно затрусил к подворотне: он отлично знал, где следует искать хозяина.

Ромка перетащил кастрюлю с курицей в старую кухню; дело было наполовину сделано. Оставалось разбавить куриным бульоном толченые с киндзой орехи, добавить соли, перцу, пряностей и залить этим соусом поджаренные куски курицы.

Стряпать Ромка умел и любил. Вся его затея к тому и сводилась: приготовить тайком на старой кухне полную кастрюлю сациви, добыть на базаре вина, зелени, свежего лаваша и пригласить Каноныкина с ребятами.

— Прощальная закуска, — скажет им Ромка. — Прошу дорогих гостей к столу!

Можно расположиться тут же, в нижнем дворе, под сиренью, можно потащить все припасы к Персидской крепости, какая разница. Главное, чтоб была душевная компания и чтоб потом, на фронте, Каноныкин, рассказывая своим друзьям из морской пехоты о здешнем житье-бытье, говорил бы:

— Были у меня кореши, когда я в госпитале валялся. Два парня ничего себе, но один, чернявенький, лучше всех! Шикарные проводы мне устроил. Между прочим, его Ромео звали...

Так, мечтая об успехе, который принесет ему задуманный сюрприз, Ромка колдовал над соусом. В кухне было полутемно, керосиновая коптилка без стекла едва мерцала. Поджарить курицу можно было на полуразрушенной плите, благо труба у нее общая с соседним домом, так что в темноте никто и не углядит тонкую струйку дыма.

Использував вместо топора кусок валявшейся у плиты автомобильной рессоры, Ромка разломал несколько ящиков и колченогий стул. Он уже собирался разжечь плиту, когда услышал, что по стволу глицинии кто-то взбирается.

«Пропал сюрприз!» — подумал Ромка и, схватив кастрюлю, юркнул с ней в старый гардероб со сломанными дверцами. Потом, спохватившись, высунулся и задул коптилку.

В гардеробе стало темным-темно; в нем пахло пылью, мышами и разохшимся деревом. Невидимый

жучок точил его, уныло поскрипывая:

— Три-трик... три-трик...

На чердаке прошелестели осторожные шаги.

«Ивка чего-то хочет», — решил Ромка и, присев на корточки, устроился поудобнее.

Наверху включили фонарик, белый кружок света скользнул по захламленному полу кухни.

«Нет, это Минасика фонарик. И чего приперся, барашка? У него же ангина...»

— Спускайся вниз, я посвечу.

«Вай, Каноныкин с кем-то пришел! Наверное, опять в город удрать хочет...»

Сквозь щель в гардеробе Ромка увидел высокую худую фигуру в военной гимнастерке, в пилотке, с небольшим чемоданом в руках. Потом появился Каноныкин. Он то включал, то выключал фонарик, словно искал что-то. Подойдя к плите, споткнулся о Ромкины дровишки и тихо выругался.

— Время, — сказал тот, другой. Почему-то женским голосом.

— Сейчас, здесь где-то коптилка...

Каноныкин чиркнул спичкой, длинный язык пламени с черным хвостиком взлетел над фитилем.

— Свет снаружи не заметят?

— Все законопачено.





— Я готова.

«Женщина какая-то. Молодец, Каноныкин, веселый человек!..»

Ромка старался разглядеть женщину, но она сидела к нему спиной, склонившись над раскрытым чемоданчиком. А Каноныкин, тот был виден. Он расположился прямо на полу и маленькой блестящей пилкой распиливал свои гипсовые сапоги. Вот один отлетел в сторону, второй. Каноныкин с наслаждением потер ладонями икры ног. Ромка отлично видел — на них не было никаких следов от ран, никаких шрамов, даже царапин. Ничего не было!

Поднявшись с пола, Каноныкин придвинул поближе коптилку, вынув из планшетки удостоверение личности, принялся заполнять его. Потом достал красноармейскую книжку.

— Кривому подойдет какая-нибудь восточная фамилия, — сказал он. — Например, Алимджанов... Сергей Османович. Неплохо, а?

Женщина не ответила, все возилась со своим чемоданчиком.

— Завтра вы располагаете временем только до полудня. Ни на минуту больше, слышите? Вот адреса. На первом дождетесь старика и сразу же уйдете с ним по второму адресу: — Каноныкин протянул ей бумажку. — Запомните все, Роза, и сожгите здесь же...

Ромка видел, как эта самая Роза одной рукой приложила к уху наушники, а другой принялась выбивать еле слышную стрекочущую дробь.

«Вай, радио передает! — ужаснулся Ромка. — Зачем я сюда залез, дурак, зачем я не захотел дома кушать сациви?!»

— Все? — спросил Каноныкин. — Рацию сюда, за плиту. Заложите сверху кирпичами и заметьте место... Я уйду сегодня же ночью с Кривым. Он знает дороги к перевалам. Болтался когда-то в тех краях со своим отцом, шофером.

«Шофером?! Это они про Люлика! Он же правда кривой!..» Ромка неловко повернулся в своем убежище, скрипнула перекошенная дверь.

— Что там? — резко повернулась женщина.

— Скрипит разошедшееся старье, — успокоил ее Каноныкин. — Здесь никого не бывает, кроме моих друзей-юнармейцев. — Он рассмеялся незнакомым Ромке смехом. — Вам пора.

— Wie spät ist es? * — спросила вдруг женщина и приложила к уху часы.

— Es ist dreiviertel elf. Abtreten, Rosi. Aufbald! **

Эти фразы, сказанные по-немецки, так поразили Ромку, что он едва не вскрикнул. То, что под гипсом у Каноныкина здоровые ноги, то, что в чемодане спрятана рация, а Кривой, оказывается, Люлька — все было не так страшно, как эти отрывистые немецкие слова, значения которых Ромка не знал, и от этого они показались ему еще страшнее.

Заныли коленки, Ромка прислонился плечом к дверце гардероба, и та не просто закрипела, а заверещала, будто ей отдавили все ее старые трухлявые сучки.

И сразу в дверцу ударил острый и блестящий, как Люлькина финка, луч фонаря. Ромка закрыл лицо согнутым локтем и услышал знакомую каноныкинскую скороговорочку. Со своей Розы он говорил совсем другим голосом. Ромке показалось, что в старой кухне вдруг снова появился тот, настоящий, Каноныкин, и все сейчас станет на свои места, и ничего страшного не случится.

— Здорово, кореш! Ты чего залез в этот гроб со скрипом?

Каноныкин улыбался. Он потушил фонарь, горела одна лишь коптилка.

— Удрал от папашы с мамашей?

— Нет, я хотел сюрприз... — начал было Ромка, но сзади что-то обрушилось на него, коптилка вспыхнула ослепительно ярко, а потом сразу наступили тьма и тишина.

— Надеюсь, он был один? — сказала Розы и отбросила в сторону обломок автомобильной рессоры.

— Сейчас проверим.

Снова вспыхнул фонарь. Луч его медленно поплыл по сваленной в кучу ломаной мебели, ящикам и прочемухламу. На секунду задержался на кастрюле с недоделанными сациви.

— Здесь курица, — удивленно сказала Розы.

— Очень кстати. Я не успел запастись едой...

Луч фонаря заскользил дальше, осветил лежащего на полу Ромку.

* Который час? (нем.).

** Без четверти одиннадцать. Идите, Розы, до встречи! (нем.)

Около часа ночи в нижнем дворе раздался тихий свист. Потом по стволу глицинии скользнула тень и исчезла в слуховом окне старой кухни.

— Почему опоздал?

Люлька вздрогнул от этого короткого и резкого, как удар, вопроса.

— Я?.. Вот, — он протянул сверток. — Я большое дело сделал, хозяин.

— Какое дело?

— В столе у инженера Русанова взял, — Люлька самодовольно ухмыльнулся. — Тихо все, аккуратно. Здесь чертежи, наверное, хозяин. Тебе пригодятся...

— Если б ты не знал дорогу к перевалам, я пристрелил бы тебя сейчас как собаку. — Теперь голос звучал ровно, Каноныкин четко выговаривал каждый слог.

— За что, хозяин?!

— За то, что ты идиот! Когда ты там был?

— Десять минут, как ушел.

— Тебя никто...

— Все тихо, аккуратно! — поспешил перебить его Люлька. — Я ход знал от старьевщика. Чертежи, хозяин! Русанов же на заводе работает. Секретный завод!

— «Чертежи»! — Каноныкин рванул из Люлькиных рук сверток, не разворачивая, сунул его в плиту, чиркнул спичкой. — Идиот! Еще раз сделаешь что-нибудь сам...

— Я понял, хозяин! Я думал, нужно будет.

— Думаю я, Кривой, понял? Только я!

— Конечно, понял, хозяин! Очень извиняюсь.

— Хватит! Переодевайся. — Он бросил на пол узел с одеждой. — В кармане красноармейская книжка. Запомни: ты Алимджанов Сергей Османович, 1923 года рождения, рядовой. Не перепутай — это будет тебе стоять башки.

— А ночной пропуск?

— Все есть. И давай побыстрее!.. Сапоги снимай.

— Зачем?

— Кретин! Где ты видел рядовых в шевровых сапожках, а? И вообще, Кривой, то, что я говорю, я говорю один раз. Ты понял?

— Понял, ну...

Сев на пол, Люлька стащил с себя сапоги, с сожалением посмотрел на них. Потом вынул финку и принялся кромсать голенища. Оторвав подметки, тоже разрезал их на куски.

— Что ты делаешь? — удивленно спросил Каноныкин.

— Не хочу капитану Зархия оставлять. Зачем ему в таких красивых сапогах ходить? Пусть в казенных развалюхах шлепает!

— Кто этот капитан Зархия?

— Один мой хороший дэмакац * из райотдела милиции.

— Ладно! Быстрее, Кривой, некогда возиться тут...

Они выбрались в нижний двор. У калитки лежал Ромкин пес. Увидев их, он глухо, с угрозой зарычал.

— Заткнись, Фюрер! — цыкнул на него Люлька. — Куш!

— Прибей этого пса! — зло сказал Каноныкин.

— Чего с собакой связываться? — пробормотал Люлька. — Она не подпускает. Ну ее к черту, укусит еще.

Каноныкин сделал резкое движение, пес рывком метнулся в его сторону, но тут же завизжал и, перевернувшись в воздухе, покатился в кусты.

— Э, молодец, хозяин! — сказал Люлька и услужливо протянул Каноныкину платок. Тот оттер рукоятку пистолета и, спрятав его, кивнул головой:

— Пошли...

ЧТО ПРОИЗОШЛО УТРОМ 29 МАЯ

В десять минут восьмого Ордынский вошел в кабинет и запер за собой дверь. Вид у него был усталый. Он поздно лег вчера и никак не мог уснуть. Лезли в голову дурацкие мысли, ерунда всякая, одолевали какие-то тревожные предчувствия. Он всегда считал себя человеком с отлично тренированной нервной системой, и вдруг такое наваждение, с чего бы это?..

Ордынский открыл шкаф, выдвинул из него высокий ящик, снял потайную крышку. Под ней лежал авиационный «Телефункен».

* Побратим, близкий друг (груз.).

Включив приемник, Ордынский настроился на нужную волну. Шла передача на английском языке.

«49-й горнострелковый корпус под командованием генерала горных войск Конрада сосредоточивается в районах Невинномысска и Черкаска с целью развертывания в ближайшие два месяца наступления через Клухор по Кубанской долине к перевалам Хотю-Тау и Нахар, а по долине реки Теберды — к Клухорскому и Домбай-Ульгенскому перевалам. Одновременно по долинам рек Марух, Большой Зеленчук и Лаба горнострелковые дивизии генерала Конрада выйдут к Марухскому и Наурскому перевалам и на группу перевалов Сансаро и Псеашха. Таким образом, вполне реальной становится возможность в ближайшее время потери русскими всего Закавказья, черноморских портов и Бакинских нефтяных промыслов.

Корпусу особого назначения, находящемуся в настоящее время в резерве группы армии «А», открывается путь для операции на Ближнем Востоке, цель которой — соединение с войсками генерала Роммеля, действующими в Египте...»

Ордынский выключил приемник, задвинул ящик обратно.

Генерал Конрад движется на Кавказ. Когда-то в чине обер-лейтенанта он уже побывал здесь. Все возвращается на круги своя...

«Надо выпить кофе. Что за нелепое у меня состояние! — Он вынул кофейник. — Веду себя как институтка...»

Заварив кофе покрепче, Ордынский расставил на столе шахматы, сделал несколько ходов. Он привык к одиночеству. Собственно говоря, последние двадцать лет он был один. Это не тяготило его, даже вот научился играть сам с собой в шахматы.

Ни друзей, ни привязанностей. Только цель. Вначале она казалась бесконечно далекой, а теперь рукой до нее подать, стоит у самого порога. Здравствуйте, господин обер-лейтенант! То есть, простите, ваше превосходительство, генерал Конрад. Сколько лет, сколько зим, как принято говорить в России. *Wie ist Ihr befinden?..* *

Сегодня ночью Ордынский без конца вспоминал. Какое это ненужное и опасное занятие — думать о первом, что приходит на память, не спросясь причем.

* Как вы себя чувствуете? (нем.).

Вспоминал жену, сына. В девятнадцатом при отступлении деникинской армии они остались в промерзшем вагоне посреди степи. Зачем вспоминать об этом? Ведь ничего не изменить, ничего не поправить. Зачем же тогда вспоминать?..

Сыну было четырнадцать. Этот Ива — телефонный мальчик — чем-то неуловимо напоминает его. Манерой задавать бесконечные вопросы?.. Жадно искать в жизни романтическое?.. Возможно...

И все-таки зачем вспоминать мальчика, который пропал без вести так много лет назад? Зачем вспоминать безвозвратно потерянное?

Как это сказал во время их последней встречи князь Цицианов? Ах да...

«Мы никогда не найдем себя в своих сыновьях. Они уходят от нас, чтобы никогда уже не вернуться!.. Сколько разочарований, дорогой Варлам, принес мне мой Гига!..»

«Где он сейчас?» — спросил его Ордынский.

«Ах, не напоминайте мне о нем, не бередите рану!.. В тридцать третьем году он уехал из Германии. Сначала в Стокгольм, оттуда в Париж. Продолжал практиковать как врач, потом занялся журналистикой, связался с левыми изданиями и докатился до сотрудничества с коммунистами!.. Не знаю, как я пережил это, брат мой Варлам, не знаю... Уж лучше б тогда, в двадцать первом году, его действительно расстреляли бы, чем вынести такой позор».

Разочарование... Три четверти жизни состоит из разочарований!

Ордынский сделал несколько ходов, снял с доски ферзя. Еще два хода.

— Вам опять мат, Ива — телефонный мальчик!

А сына вот звали Глебом, Глеб Варламович, да... Зачем об этом вспоминать?

Ушел, чтоб не вернуться...

В тридцать четвертом году Ордынский был судовым врачом на танкере «Советский Аджаристан». После сильного шторма судну пришлось сделать остановку в Гамбурге — что-то случилось с гребным винтом.

Там Ордынский встретил Цицианова. Счастливая случайность? Может быть. Через него удалось повидать кое-кого из старых товарищей по Мюнхену. Они специально приехали для этого в Гамбург. В пиджачках и

кепи, хотя без труда угадывалось, что мундиры были сняты ими перед самым отъездом.

— Что я должен делать?! — спросил он их.

— Ждать, — таков был ответ. — И продвигаться по службе. Чем выше, тем лучше.

— Где мне будет приказано это делать?

Они назвали город.

В тридцать шестом он снова встретился с Цициановым. Теперь уже в Триесте. И на сей раз это не было случайностью.

— Вам пора сходить на берег, Варлам, — сказал Цицианов. — Переезжайте в тот город и приложите все усилия, чтобы добиться значительного положения и должного реноме.

Они сидели в маленькой пустой кофейне. Носатый хозяин дремал за стойкой.

— Теперь уже скоро, Варлам. Наши немецкие друзья готовы к самым решительным действиям. — Цицианов сделал паузу, покрутил пальцами пустую кофейную чашечку, усмехнулся. — Кстати, в том самом городе, где вы бросите якорь, живет моя супруга, прелестная княгиня Кетеван. Надеюсь, вы не станете, друг мой, передать ей от меня поклон...

Тогда Ордынский не до конца поверил Цицианову. Что значит — скоро? Пять, семь, десять лет? Он устал ждать, бездействовать, тайно ненавидеть все, что окружало его.

Но весной сорокового года к нему впервые постучался рослый молодой человек. У него были широкие сильные плечи, короткий тупой нос и прямые белокурые волосы.

— Моя фамилия Каноныкин. Здравствуйте, доктор...

Он работал в одесском порту.

— Как в случае чего вы объясните свой приезд сюда?

— Не беспокойтесь, доктор, у меня путевка. В ваши места принято приезжать на время отпусков. Советским трудящимся, разумеется. А я грузчик.

— Что мне будет предложено делать? — перебил его Ордынский.

— Ждать, — ответил тот. — И ничего пока не предпринимать без нашего ведома...

Их первый разговор длился не более получаса.

Вторично они встретились через год. На этот раз в Одессе.

— Люди, — сказал тогда Каноныкин. — Нужны люди, которые будут преданно служить рейху. Нужна густая, искусно сплетенная сеть. И вы — старый верный друг Германии — один из тех, кому ее плести. Там, у вас в городе, представляющем для нас большой интерес...

Ну что ж... Он плел эту сеть. Терпеливо и старательно. Люди, которых находил Ордынский, становились ее ячейками. Каждая несла свою, независимую от другой службу. И результат этой тайной, неведомой никому службы, собираясь в центре сети, улетал в эфир короткими строчками шифрограмм.

Теперь, когда близилась развязка, такой сетью можно было запутать многое. Она как неожиданный десант, появившийся в тылу.

Да, трудная была работа, опасная. Многого она стоит. Слава богу, все подходит к концу. Генерал Конрад стоит у ворот Кавказа. Орудия его танков смотрят в сторону перевалов.

«Как жаль, что мне уже пятьдесят девять...»

Ордынский подошел к окну. Во дворе госпиталя из санитарных машин выгружали раненых. Значит, сегодня весь день не будет покоя. А он полночи промаялся без сна.

«Да, пятьдесят девять, обидно. Жизнь фактически прошла мимо...»

За исключением последних двух лет он только и делал, что ждал. Для человека действия нет более отвратительного занятия.

В январе, сразу после Нового года, появилась радистка.

Первое время прятал радистку и рацию у себя дома, ничего другого не оставалось. Потом, сменив ей документы, пристроил медстатистиком в один из госпиталей; это для него особого труда не составило. Сложнее было добыть надежные документы.

Следом появился Каноныкин, и все пошло как по маслу. До самого последнего времени они действовали весьма успешно. И вот где-то порвалась очень искусно сплетенная цепочка, и теперь контрразведка неумолимо и последовательно движется по ней, перебирая звено за звеном. Значит, срочно придется исчезнуть.

В дверь постучали. Ордынский повернул ключ.

— Войдите.

— Разрешите обратиться, товарищ военврач второго ранга?

— Обращайтесь.

Он терпеть не мог этого настырного лейтенанта — начальника команды выздоравливающих. И внутренне опасался его дотошности.

— Начгоспиталя отсутствует, поэтому докладываю вам, что старшина второй статьи Каноныкин опять находится в самовольной отлучке, в госпитале не ночевал.

— Где он сейчас?

— Неизвестно. На вечерней поверке не был, значит, отсутствует уже... — лейтенант вынул из кармана большие серебряные часы, щелкнул крышкой, — не менее двенадцати часов.

— Безобразие! — Ордынский хлопнул по столу ладонью. — Вы распустили команду, лейтенант!

— Никак нет! Случаи нарушения только с Каноныкиным. Вчера днем, например, не явился для снятия гипса.

— Кто распорядился снимать гипс?

— Военврач Колесников.

— Черт знает что! Немедленно представьте рапорт по форме. Я под трибунал упеку этого Каноныкина!

— Слушаюсь! Разрешите идти?

— Да.

Лейтенант козырнул, повернувшись кругом, щелкнул каблуком.

Ордынский снова закрыл дверь. Что же произошло здесь вчера?.. С самого обеда ему пришлось проторчать на совещании в сануправлении штаба фронта. До позднего вечера. А тут этот самый Колесников затеял снимать гипс. Какое дурацкое совпадение!..

Значит, Вальтер ушел. На сутки раньше обговоренного срока. Но адрес, адрес! Куда идти завтра утром? Где будет ждать Роза?.. Все это должен был решить Каноныкин.

Впервые Ордынского охватило чувство страха. Его не было ни разу, хотя все это время опасность стояла рядом, за спиной.

Почему сунулся Колесников? Случайно ли это? Может, уже знали, что у Вальтера под гипсом? И сейчас за ним тянется хвост, его незаметно ведут, чтобы обнаружить остальных?

И еще: когда уходить, если все сдвинулось на сутки? Сегодня? Но где в таком случае адрес?..

Он шагал по кабинету из угла в угол, пытался подавить в себе растерянность.

«В конце концов, Каноныкин опытный и хладнокровный разведчик, — убеждал себя Ордынский. — Он все предусмотрит, не побежит в панике куда глаза глядят. Еще час-два, и все прояснится. Надо взять себя в руки!..»

Начальник команды принес рапорт.

— Положите на стол. Как только явится Каноныкин, немедленно ко мне его.

— Слушаюсь!

В том, что Вальтер не явится, Ордынский ни минуты не сомневался. Появиться в госпитале для него равносильно провалу. Сейчас главное — выиграть время. До прихода начальника госпиталя можно молчать, но потом придется поставить в известность не только его, но и многих других. В том числе и комендатуру. Начнется розыск...

Оставшись один, Ордынский открыл шкаф, достал приемник, завернул его в газету и спрятал в портфель. Он не признавал полевых сумок, только портфели.

Постепенно возвращалось спокойствие. Звонил телефон — Ордынский давал распоряжения, одних распекал, с другими милостиво шутил. Но где-то в глубине его, неотступная и тревожная, продолжала биться мысль:

«Адрес... Адрес. Когда же адрес и как мне его передадут?..»

Он все время заставлял себя отвлечься. Даже расставил снова на доске шахматы и сделал несколько ходов.

«Жаль, нет Ивы — телефонного мальчика, моего любопытствующего партнера...»

Ордынский представил себе круглое мальчишеское лицо. Каким оно будет, когда станет явным то, что сегодня еще тайна?

«Что же поделаешь — жизнь состоит главным образом из разочарований...»

Неожиданно для себя он заметил, что вновь ходит по кабинету. Быстрыми, нервными шагами, из одного угла в другой.

«Что же это со мной, черт возьми! — Он резко остановился, сжал кисти сложенных за спиной рук. — Неуже-

ли страх?.. Какая мерзость! Бесконтрольный страх, классическое начало поражения. Нет уж!..»

Страх можно победить по-разному. Ордынский знал несколько проверенных способов, но лучшим из них он считал ненависть. Устоявшуюся, непримиримую, возведенную в культ. Он умел вызывать ее из глубин своего сознания, зримо восстанавливая первопричины, породившие эту ненависть, представляя себе все в подробностях, этап за этапом, и ни для каких других чувств, кроме ненависти, места в его душе уже не оставалось. Она царила в ней одна.

В тысячу первый раз видел он седую от поземки степь, замерший на путях железнодорожный состав и конников в бурках.

Красные перерезали путь, отбиться не удалось, и горстка оставшихся в живых офицеров идет под конвоем к темнеющей вдали деревушке. И он, Ордынский, среди них...

— А вы молодцом, господин доктор, — сказал ему тогда идущий рядом усатый ротмистр. — Никогда не предполагал, что Гиппократовы жрецы столь великолепно режут из маузера. Вы словно цыплят прихлопнули тех двух, что первыми сунулись к вагону. Bravo, доктор!

— У меня в поезде остались больная жена и сын, — Ордынский посмотрел на ротмистра. — Вы понимаете, что их ждет?

— То же, что и нас, доктор. Отнеситесь к этому философски...

— Послушайте, ротмистр, когда мы подойдем к тому вон мостику через овраг, я прыгну под откос влево. Вы прыгайте вправо. А остальные врассыпную. Темнеет, есть шанс уйти по балкам.

Он сказал это по-французски, достаточно громко, чтоб слышали идущие сзади офицеры.

— Bravo, доктор! — пробормотал ротмистр. — Попробуем, хотя шанс ничтожно мал...

Ордынскому удалось уйти. Что стало с остальными, он так и не узнал.

Своих он тоже больше никогда не видел.

Сам Ордынский блуждал по бескрайним дорогам гражданской войны, до последнего ее дня. С белоказаками, с антоновцами, с «зелеными», с кем угодно — он был согласен на любых союзников по ненависти...

В конце двадцатого, когда все было кончено, Ордын-

ский пробрался в Закавказье, где еще удерживались грузинские меньшевики, самые бездарные из всех его союзников. Впрочем, он с ними и не вступал в союз, понимая всю его бессмысленность.

— Я не терплю бессмысленных действий! — говорил он князю Цицианову. — Бессмыслица унижительна...

К тому времени Ордынский твердо решил, что останется, не уйдет за рубеж с этой толпой перепуганных до смерти авантюристов.

— Да вас шлепнут в первый же день, дорогой Варлам! — пугал его Цицианов.

— За что же это, позвольте спросить?

— А за то, за что они шлепают нашего брата, милостивый государь.

— Так то вашего брата, — посмеивался Ордынский. Ему нравилось злить этого осунувшегося, растерявшего былую самоуверенность Цицианова. — Вашего брата эксплуататора. А я всего лишь скромный эскулап и, в их понимании, трудящийся гражданин, который может быть полезен новому российскому обществу.

— Вы ничего не сделаете здесь в одиночку, Варлам! А там, — Цицианов махнул рукой в сторону моря; оно было ненастным, седым от шторма, холодное февральское море, — там нас много, там мы — сила!

— Не верю я больше в вашу силу, князь. Я буду ждать, когда появится другая, реальная. А она появится. Непременно появится!

— Дай-то бог...

Ордынский с молодости был германофилом. И вот они снова здесь.

— Я рад увидеть вас, генерал Конрад!..

«Да, шанс, как бы ни был он ничтожно мал, все равно остается шансом, — Ордынский посмотрел на часы. — Двенадцать пятьдесят две. Что ж, шанс еще есть...»

Раздался телефонный звонок. Ордынский после секундного колебания поднял трубку и сразу узнал голос радистки. Он был непривычно кокетлив, этот хихикающий девичий голосок:

— Что ж вы не пришли, доктор? Я вас так ждала, ждала. Я звоню из автомата, у меня буквально одна минута.

Сначала он не мог понять, в чем дело. В госпиталь

звонить ей не разрешалось ни под каким видом. И потом этот дурацкий тон...

Когда он наконец сообразил, что произошло, у него сразу похолодели кончики пальцев.

— Я... Я не знал, где вас найти, милая, э э... Розочка.

— Как же так, доктор? Сегодня рано утром мой брат передал вам через... кого-то там, не знаю, где искать меня. Если вы, конечно, хотите еще видеть наскучившую вам Розу.

— Никто ничего не передавал мне! — Он почти крикнул это.

— Не может быть, вы шутите, доктор. Вы же у меня такой шутник!

— Где вас искать?

Она не ответила.

— Где вас искать, я спрашиваю!

— Доктор, ну что вы, право, какой! Я никому не даю по телефону своего адреса. И потом, брат велел мне не позже полудня быть дома, а сейчас...

— Ваш брат... — Ордынский скрипнул зубами. — Ждите меня до двух, слышите?

— Но брат...

— Плевал я на вашего братца! До двух. Ясно?

Он бросил трубку. Если телефон уже подключили для прослушивания, то все пропало. Только дураков может обмануть столь примитивная конспирация. Но другого на месте Розы не придумаешь. В такой ситуации являться сюда за ним просто безумие. Каждый в первую очередь опасается за свою собственную шкуру, и Розы не составляет, конечно, исключения.

«Что же случилось с Вальтером? — Он впервые назвал его так — Вальтер. — Неужели его взяли? Нет, не может быть!..»

Ордынский подошел к двери, дважды повернул ключ. Задернул штору на окне. Во дворе все еще стояли санитарные машины.

Он посмотрел на часы. Если через час ему каким-то образом не сообщат, где ждет его Розы, то тогда уж все.

А вдруг Вальтер предал его? В последний момент, не желая рисковать, махнул рукой на его судьбу, укрыл радистку с рацией и ушел за перевал... Ерунда, он этого не сделает! Не посмеет сделать!

— Прекратите, Варлам Александрович, пороть па-

нику! — сказал Ордынский громко и вздрогнул от звука собственного голоса. — Стыдно, милостивый государь!..

Время от времени он подходил к двери. Ему все время казалось, что за нею кто-то стоит.

В маленький, выскобленный в белой краске глазок была видна часть коридора, столик с телефоном и стул. На стуле сидел щекастый юнармеец с забинтованной шеей, держал на коленях сложенное пальто. Вид у юнармейца был тоскливый.

Часы пробили половину второго. Стараясь оттянуть время, он поставил на плитку кофейник. Никогда еще вода не вскипала так быстро.

Снова пробили часы. Тянуть дальше было бессмысленно. А он не терпел бессмысленных поступков.

Обидно не дойти до цели. Особенно когда осталось каких-нибудь два месяца.

Он налил себе кофе и вынул из портфеля синий пузырек с притертой пробкой.

* * *

Когда открыли дверь, Ордынский сидел в кресле, уронив прямые длинные руки. Можно было подумать, что он спит. На рукавах кителя поблескивали широкие золотые шевроны.

Кофейник все еще стоял на плитке, из носика тонкой струйкой выбивался пар. Один из военных взял со стола синий пузырек, протянул его полковнику. На этикетке было всего лишь одно слово: «Морфий».

— А что там за бумаги?

— Рапорт об исчезновении Каноныкина, товарищ полковник.

— Ну что ж, все ясно. Остается выяснить, куда он исчез. — Полковник подошел к столику, на котором лежала шахматная доска, подперев рукой подбородок, задумался. — Для черных партия безнадежна. Еще два хода, и белые делают мат... Интересно, кто играл белыми?..

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ ДЕНЬ 29 МАЯ

Ромкин пес отходил медленно. Время от времени капитан Зархия поил его водой с уксусом. Пес лакал жадно, словно не пил неделю. Остатки воды капитан осто-

рожно выливал ему на голову. Розовые струйки стекали по морде пса, капали на пыльные капитановы сапоги.

Любопытствующие стали помаленьку расходиться. Нельзя же весь день ждать, что будет дальше.

Появился Ромкин отец. Он с опаской поглядывал на капитана. Ему явно не нравилось, что в одном не очень большом дворе собралось сразу так много милиционеров.

— Слушай, — сказал он жене, — если вдруг начнут про курицу спрашивать, скажешь — купила на базаре для больной старушки матери.

— Но бабушка здорова, — встряла Джулька. — На четвертый этаж два ведра воды бегом поднимает.

— Э! Тебя кто спрашивает! Послал бог детей! За что он только на меня такой зуб имеет? — Он стукнул дочь по лбу костяшками пальцев. — Сама воду поноси, пока здесь столько чужих глаз! А ты, мамаджан, будешь больная, я так сказал...

Но капитану было не до курицы и не до здоровья Ромкиной бабки. Он приподнял пса, помог ему удержаться на ногах, пригладил взлохмаченную шерсть.

— Давай, давай, молодец, — приговаривал капитан. — Ну, где твой хозяин? Где Ромка? Ромка где? Ну, джаник, покажи нам где.

Пес тихо скулил и лизал ему руку.

— Глупая дворняжка! — сказал стоявший рядом Никс. — Ну сто она мозет показать?

— Отойдите! — закричал на него капитан. — Не мешайте! Очистите вообще двор! Что может показать? Все может показать! Что вы понимаете — у него сейчас сердце разрывается, он же плачет!

Капитан смотрел на пса. Пес пошел. Ноги его дрожали и подгибались. Он приседал на задние лапы, его заносило в сторону, но он все равно шел, изредка оглядываясь на капитана, точно проверяя, идет ли тот следом.

— Давай, давай, дорогой! Покажи нам, где Рома. Рома, Ромка где?..

Пес поскуливал в ответ и пытался идти быстрее, но ничего не получалось. Когда он останавливался, капитан подносил к самой его морде миску с водой.

— Ничего, отдохни, попей немножко. — Он поворачивался к своим помощникам. — Много крови поте-

рял, потому жажда; язык совсем сухой, нос горячий, плохо.

— Туда ли он идет, товарищ капитан?

— Туда. Конечно, туда...

На то, чтобы добраться до нижнего двора, псу потребовался целый час. К стене он уже подполз на брюхе и замер, уткнувшись мордой в узловатые корни глицинии.

— Все, — сказал капитан и машинально снял фуражку. Потом, спохватившись, надел ее.

— Собаки, когда конец чуют, всегда уходят подальше, — заметил усатый лейтенант. — Вот и этот тоже...

— Нет, — капитан покачал головой. — Он не просто шел, чтобы уйти.

— Но здесь же стена.

— Да, стена! Думаешь, я стену не вижу? — Капитан достал кожаный портсигар, вынул папиросу, долго раскуривал ее. — Знаешь что, — сказал он лейтенанту, — приведи сюда ребят. Ну, товарищей этого Ромки.

Пришел один Минасик.

— А где твой друг? — спросил его капитан. — Которого Ивой зовут?

— С ним товарищ полковник разговаривает.

— С тобой что, не разговаривает?

— Со мной уже разговаривал. Много... Что это с... с собакой?

Только сейчас Минасик увидел неподвижно лежащего Ромкиного пса.

— Разве не видишь?.. Хорошая была собака, верная. За что ей только имя такое проклятое дали?

У Минасика защекотало в носу и в горле стало давить, как будто снова началась ангина.

— Скажи, мальчик, — капитан присел на корточки, прислонился спиной к стене. — Мог здесь зачем-нибудь оказаться Ромка?

Минасик глотнул твердый комочек, один, другой; в горле полегчало. Он кивнул головой.

— Мог.

— Зачем?

Смолчать про старую кухню — значило бы обмануть милицию. Минасик обманывать не умел вообще, а милиционеров он вдобавок еще и боялся. Причин к тому никаких не было, но он все равно боялся.

— Ты нам скажешь зачем, правда?

— Скажу. Мы лазаем вон туда, — Минасик пока-

зал пальцем на слуховое окно кухни, — по стволу глицинии. И никто не видит.

— Хорошая была собака, — сказал капитан. — Та-кую с оркестром хоронить можно...

* * *

Ромка лежал на широкой тахте, закрыв глаза. «Скоро-рая помощь» только что уехала.

Доктор сказал:

— Не надо его куда-то везти. Лишняя тряска ни к чему. Занавесьте окна, создайте полумрак в комнате. И обеспечьте ему полный покой. Будет прекрасно, если мальчик уснет.

— Уснет, да, доктор? — Ромкина мать схватила его за халат. — Совсем уснет, умрет, значит? За что, доктор, его убили?

— Его только пытались убить. Он жив, он поправится, успокойтесь. Первый признак победы организма — спокойный сон.

— Вы говорите, он не умрет, доктор? — в сотый раз спрашивала Ромкина мать. — Мой мальчик не умрет?

— Сто лет будет жить. Вот здесь я выписал бром, а вечером придут, сделают необходимые вливания. Надо понизить внутричерепное давление.

Ромкин отец стоял рядом и важно кивал головой:

— Да, да, необходимо, а как же!

В соседней комнате тихо сидели капитан и усатый лейтенант. Разговаривать с Ромкой доктор им не разрешил.

— И нельзя и бесполезно, — сказал он. — У него сейчас неизбежный в таких случаях провал в памяти. Забыто все, что было до момента удара. Заставлять его напрягать память — ни в коем случае! Тормоз сам потихоньку отпустит ее...

Вот и сидел капитан, молча крутил в руках Ромкину мичманку. Сквозь рассеченную пополам тулью просвечивала вставка из стальной пластинки, которую вырезал Алик. Она была по-прежнему идеально круглой.

— Как думаешь, чем ударили? — спросил капитан.

— Этим, конечно. — Усатый лейтенант показал на завернутый в газету обломок рессоры.

— Если б не стальной кружок, конец бы пацану. Кто же это его так? И за что?

— Откуда пока узнаешь?..

Ромкин отец поставил на стол бутылку вина, тарелку с сыром и зеленью.

— Ты! Какое плохое время, ничего нет, даже стыдно — угостить гостей ничем.

— Не беспокойтесь, спасибо, — сказал капитан, отодвигая стакан. — Мы не гости, мы милиция.

Ромкин отец покачал головой, вздохнул. А про себя подумал: «Дай бог, чтоб в моем доме милиция только в гостях бывала бы...»

Его размышления прервала Джулька.

— Вай! — запричитала она, вбегая в комнату. — Вай, что он говорит! Наверное, с ума сошел! Мама плачет, бабушка тоже плачет, а доктор сказал: нельзя плакать, ему покой нужен.

— Кто говорит? — вскочил капитан.

— Ромка! Говорит, говорит, как испорченный патефон, одно и то же.

Капитан быстро вошел в комнату, остановился у дверей. Ромка метался по тахте, сбрасывал на пол ковровые подушки.

— Я вспомнил, я все вспомнил! Вспомнил! — повторял он, не открывая глаз. — Я кастрюлю с курицей в шкаф положил и сам туда залез. Это Каноныкин был, его Вальтером зовут. Не Иван он! Он немец! Фашист он, ну!.. Что вы сидите? Там радио! Они его за плитой спрятали, я видел. А женщину Розы зовут... Розы! Розы! Она по-немецки говорила, я не понял что, у меня по-немецки всегда плохие отметки были...

— Вай-мэ! Он совсем с ума сошел! Бедный мой мальчик!

— Тише! — Капитан приложил палец к губам, подошел на цыпочках к тахте. — Не надо кричать, джаник, я и так слышу тебя. Ты все вспомнил, молодец, успокойся теперь и молчи, отдыхай.

Ромка посмотрел на него и сразу стих. Мать вытерла с его лба прозрачные капли пота.

— Радио у них было... А Каноныкин, он Люлика ждал, в горы идти с ним... Люлика знаете? Люлика, у которого один глаз стеклянный, Люлька, ну! Он с финкой всегда... — Ромка замолчал, снова закрыл глаза, сказал уже совсем тихо: — А тот не Каноныкин, он обманул нас, он Вальтер, Вальтер... Спать хочу...

...Все это время Иву не покидало какое-то странное чувство. Больше всего оно походило, пожалуй, на обиду. Ива чувствовал себя жестоко обманутым. Он верил людям, любил их, даже восхищался ими, а в ответ на все это предательство. Да еще какое!

Что-то горячее и тугое поднималось в его груди, подкатывало к горлу. Как тяжело, оказывается, быть обманутым, в лучших чувствах притом. Что же теперь ему делать, за кого же считать себя?

— Видишь ли, Ива, — сказал полковник Леонидов. — Лично я никогда не верил, да и вам, ребята, не советую верить тем кинофильмам и книжкам, в которых пионеры выслеживают и ловят шпионов, диверсантов и прочих матерых волков. В жизни все далеко не так просто и куда более опасно, чем на экране или на страницах приключенческих повестей. И все же... Давайте-ка оценим ваши действия. Пусть непреднамеренные, так оно и должно быть, но тем не менее очень неприятные для группы, которую условно назовем Вальтер — Ордынский... Первое, — полковник загнул палец, — благодаря Роме обнаружены рация, спутник Вальтера, их примерный маршрут и время ухода из города. Второе, — он загнул еще палец, — установлено, что в городе осталась радистка по имени Роза. Третье и самое главное: вами задержана на несколько часов шифрованная записка. Из-за этого никуда не ушел Ордынский. А раскодировав текст записки, мы ликвидировали конспиративную квартиру его группы. Вот сколько полезных дел вы, оказывается, наворочали.

— Так это же все случайно! — Ива вскочил со стула. — А если бы Ромка не затеял сациви, а если б я вовремя отдал бы Ордынскому записку? — Он даже зажмурился, представив результаты такого варианта.

— Если б вы действовали не случайно, а по разработанному вами заранее плану, то быть бы вам уже генералами. — Полковник рассмеялся, встал. — Ну а меня разжаловали бы в младшие лейтенанты и отдали бы под ваше начало... Что же касается этого самого «если б...» — Полковник помолчал, потом положил Иве на плечо тяжелую руку, потрепал слегка. — Братъ в расчет это опасное слово надо. Обязательно надо! Если бы получилось так, как ты сказал, плохо получилось бы. Куда труднее нам пришлось бы, чем сейчас... Хотя и сейчас тоже очень нелегко. И не может быть легко, ребята, — фашисты к перевалам подходят..

Перед полковником Леонидовым на широком столе лежала карта. Сотни совсем тоненьких линий и линий чуть потолще вились по ней, пересекались, расходились во все стороны. Каждая из них была дорогой, широкой, асфальтированной, с белыми бетонными столбиками на крутых горных поворотах или неприметной, со следами подков, с ветхими мостиками из жердей и земли.

Где-то линии прерывались, и дальше бежал едва заметный волосяной пунктир. Это означало, что дороги больше нет и дальше в горы тянется выючная тропа.

По каждой из этих дорог и троп могли сейчас идти Вальтер и Люлька. На север, на северо-восток или северо-запад. Куда именно, этого никто не знал. Ясно одно: в ближайшие сутки они постараются проложить «зеленую тропу» — уйти за линию фронта...

«На восемнадцать ноль-ноль двадцать девятого мая были оповещены все контрольно-пропускные пункты первой зоны. Сообщены приметы. Известно также, что красноармейская книжка Карадашева оформлена на человека, имеющего отчество Османович. — Полковник улыбнулся: Ромка запомнил только отчество — Османович. — Что ж, и то неплохо для такого контрразведчика, как этот Ромка... Контрольно-пропускные пункты второй зоны получили оповещение в целом не позднее девятнадцати тридцати. Прямой телефонной связи с ними нет. На место выехали опергруппы...»

Полковник стряхнул с карты пепел, задумался.

«Вторая зона КПП... Радиус порядка ста пятидесяти километров... Если они, предположим, идут с двух ночи двадцать восьмого, то до девятнадцати тридцати полтора-два километра в условиях горной местности им не пройти. Максимум — шестьдесят километров. Значит, они не ушли еще даже за радиус первой зоны КПП?.. А можно ли обойти контрольно-пропускные пункты?.. Сделать это, не зная расположения КПП, трудно, очень трудно. Здесь только интуиция».

— Интуиции Вальтеру не занимать, — сердито вслух сказал полковник. — Учтите это, товарищ Леонидов! И спокойнее!.. Даже если они обошли отдельные КПП, то все равно за пределы первой зоны им не успеть выйти!.. Если идти. А если ехать?..

«Если, если... — Полковник красным карандашом очертил на карте длинный овал. — Вчера об этом

«если б» меня спрашивал мальчик. Сегодня я спрашиваю об этом же самого себя... Да, если им удастся добыть транспорт, а в принципе Вальтер добыть его может, то мы имеем все шансы упустить их...»

Зазвонил телефон. Полковник снял трубку.

— Леонидов слушает... Докладывайте, товарищ дежурный... Так... Где именно?.. Возраст убитого?.. Лет двадцать? Так, дальше... Понятно... Такая деталь: у убитого красноармейца оба глаза свои? Не сообщили об этом ничего. Так, хорошо. Все у вас?..

Положив трубку, полковник вызвал к себе дежурного.

— Передайте капитану Саркисову — пусть срочно выезжает с группой на шестьдесят восьмой километр шоссе, ведущего к Цивицкаро. Вот сюда, — карандаш полковника скользнул по карте. — Где-то здесь, за старым духаном, в кустарнике, патрулем обнаружен убитый красноармеец Алимджанов Сергей Османович...

* * *

Утро было туманным. Укутанное белыми облаками кизилевое мелкоколесье казалось непроходимым.

— Ну где мы? Чего молчишь?

— Сейчас туман уйдет, скажу. Я эти места знаю, хозяин, чего боишься?

— Чего боюсь? — Вальтер рассмеялся. — Бояться, Кривой, нужно одного — советской контрразведки. Ты еще можешь и милиции опасаться — Никагосовато прикончил?

— А что делать? Он проснулся, кричать хотел.

— Шарил у него?.. Чего молчишь? Шарил ведь, терял время.

— У него золота полно! Все говорили: старик золото прячет. Я давно об этом думал.

— И много взял золота? — насмешливо спросил Вальтер.

— Не нашел, ну. Времени не было, я за бумажками поспешил.

— Запомни, Кривой: еще раз устроишь такую самодеятельность, будет плохо. Так где же мы?

— Сейчас на шоссе выйдем...

Скользя по сырому от тумана склону, они спустились к шоссе. Оно шло вдоль неглубокой выемки с обрывистыми бортами. Где-то впереди шумела речка.

— Это Цивицкаро, — сказал Люлька. — Там, у моста, духан был, «Тквени дзма» * назывался. Отец всегда останавливался вина выпить, хинкали поесть.

— И сейчас духан?

— Нет. Какой духан? Война началась, его закрыли. Досками двери-окна забили и все.

— А село близко есть?

— Километров пятнадцать отсюда встретится одно, небольшое совсем.

Вальтер вынул из планшетки карту, сориентировался по ней.

— Все правильно пока что...

У мосточка через Цивицкаро стоял, уткнувшись носом в кувет, грузовик с военным номером.

— Доездили! — сказал Люлька. — Аккумулятор снят, задние скаты сняты, сиденье шофер тоже забрал. Даже бензин слил, молодец какой.

Возле заколоченного духана лежала кучка мокрой золы — видно, кто-то, может шофер грузовика, разводил костер, дожидаясь попутной машины.

— Ну что ж, и мы посидим, — сказал Вальтер. — Доставай курицу, пора закусить.

— Слушай, хозяин, какой посидим? Ты знаешь, сколько нам идти еще?

— Конечно, знаю, — спокойно ответил Вальтер. — Потому и говорю: посидим. Доставай курицу! Пешком мы от них не оторвемся, Кривой. Еще часа четыре, и нас начнут нащупывать.

— Они что, уже знают, да?! — испуганно спросил Люлька.

— Будем считать, что знают.

— А откуда поймут, куда мы пошли?

— Будем считать, что догадаются как-нибудь.

— Ва!..

Они сидели возле брошенного грузовика и жевали курицу. Изредка по шоссе проходили машины. Гул мотора был слышен издали, и Люлька кричал Вальтеру:

— Едет кто-то, спрячемся, ну!

— Сиди спокойно! И ешь. Ты ведь раненый боец, зачем суетиться?

Еще на рассвете, до того как выйти на шоссе, Вальтер перебинтовал Люльке лоб индивидуальным пакетом.

* «Ваш брат» (груз.).

— Зачем это?

— Чтоб прикрыть твое хрустальное око. Одноглазых на действительную службу не берут. Ты ведь не Кутузов и не адмирал Нельсон, а всего лишь рядовой Алимджанов. Забыл, что ли?

— А-а...

— Вот что, Кривой, — сказал Вальтер. — После обеда полезно подремать, чтоб жирок завязался.

— Слушай, хозяин!.. — начал было Люлька, но Вальтер остановил его движением руки.

— Слушать будешь ты, ясно? Полчаса сна! Я проснуь сам. Советую тебе тоже закрыть второй свой глаз. И учти: у меня есть третий, который никогда не спит.

Они сошли с дороги, устроились в густой, заросшей барбарисом низинке. Вальтер положил под голову планшетку с картой, расстегнул пояс и блаженно вытянул ноги. Люлька устроился поодаль.

Когда нужно было, Вальтер умел засыпать меньше чем за минуту, лежа ли, сидя, неважно — натренированный организм подчинялся беспрекословно.

Но сейчас он разрешил себе помечтать минуты две, не больше. А заодно и проверить, как будет вести себя этот одноглазый, не попытается ли улизнуть. Впрочем, это ему не удастся сделать и после того, как Вальтер заснет, — достаточно малейшего шороха, и он тут же откроет глаза, и тогда уж Люлька пускай пеняет на себя...

Солнце пробивалось через плотные заросли барбариса, трогало щеки и лоб теплыми пальцами лучей. Совсем как в детстве, на берегу моря. Теплого и ласкового.

Когда в тридцать девятом Вальтер пробрался через освобожденные районы Западной Украины в родные свои места, они показались ему чужими. И даже дом, в котором он родился в семье почтенного коммерсанта Карла Крюгера, имевшего магазины в Одессе и Кишиневе, не вызвал в душе ничего, кроме глухого раздражения. Нельзя войти в этот дом, что скажет его жильцам Иван Каноныкин, какого черта ему нужно в этом старом, прочно построенном особняке?..

Сказать, что родился в нем, что собирал на задворках этого разросшегося, запущенного теперь сада портовую шпану, разрабатывал с ней план похищения ненавистного преподавателя латыни, за что чуть было не вылетел из пятого класса дворянской гимназии.

Папаша Крюгер жестоко выпорол тогда сына.

— Нам, мерзавец, — приговаривал он, орудуя ремнем, — сделали такую честь — приняли тебя в лучшую городскую гимназию! Из уважения ко мне, Карлу Эриху Крюгеру, известному коммерсанту! А ты тратишь уворованные у отца деньги на заговоры против своих благородных учителей!

Крюгеры уехали из города в двадцатом году, перед самым приходом красных. Таяли в вечерней дымке знакомые очертания причалов. Впереди была неизвестность. Обшарпанный французский пароход мотало на крутой волне, а папаша Крюгер все пересчитывал шеренгу чемоданов и узлов, щупал зашитые в жилет имперIALы.

Они очень пригодились там, в Германии, куда возвращалась семья немецких колонистов Крюгеров...

«Крюгер и Бок — галантерейные товары. Качество гарантируется». Горничная в крахмальной наколке, серебряный колокольчик, зовущий к завтраку, тихий чинный дом на Гинденбургштрассе, в старом добром Хайлигенбайле... Где сейчас все это, бог мой! И надо же вспомнить о таком в пустынных и мрачных горах...

Скорее всего завтра к вечеру он перейдет линию фронта, если вообще существует эта линия. Завтра вокруг него будет звучать немецкая речь, он сбросит наконец гимнастерку, наденет мундир и хоть на время перестанет чувствовать себя взведенным курком, в любую минуту готовым к выстрелу. Три года, тысячу дней, черт побери, ходил он по самому краю пропасти, то и дело заглядывал в ее холодящую душу глубину! Но, видно, звезда была счастливой, всякий раз отводила неминуемую, казалось бы, беду. И Вальтер верил в свою звезду, только в нее!..

Никому не доверяя, ни на кого до конца не полагаясь, все эти годы он вел со смертью игру, в которой, похоже, сумеет сорвать и последнюю ставку. Вот только бы подвернулся транспорт, лучше всего мотоцикл.

Вальтер едва заметно приоткрыл глаза. Люлька сидел на корточках, строгал финкой сухой прутик.

С кем только не сводит человека судьба! Куда его только не швыряет!..

Когда-то вместе с Вальтером Кенигсбергский институт по изучению России окончили еще одиннадцать человек. Маршрут у всех был один — сюда, в Советский

Союз. Где они сейчас и что с ними? Скорее всего потерпели фиаско, потому что Россия оказалась совсем непохожей на ту, к которой их готовили в столице Пруссии.

И все же, несмотря ни на что, он жив, он выполнил труднейшее задание, сохранил ядро группы и теперь возвращается. Все правильно!

Вальтер заснул, и невидимый будильник, спрятанный где-то в его подсознании, принялся аккуратно отсчитывать минуты, отведенные на сон...

Часам к одиннадцати со стороны моста послышался треск мотора.

— Мотоцикл! — Люлька осторожно раздвинул ветки кустов.

— Вот именно, — Вальтер встал, затянул ремень, одернул гимнастерку и вышел к обочине дороги.

Новенький военный «харлей» с коляской вынырнул из-за поворота. Коляска была пуста.

— Эй! — крикнул Вальтер, поднимая руку. — Тормозни!

Круглолицый мотоциклист в черном танковом шлеме послушно съехал на обочину, приглушил мотор.

— Загораете, товарищ старший лейтенант?

— Точно. С вечера засели. Ты куда?

— Да комроты своего в санбат отвозил. Малярия до него прицепилась.

— Парень у меня побился, понимаешь, — Вальтер кивнул на Люльку. Тот стоял рядом с мотоциклом, придерживал ладонью забинтованный лоб. — Ткнулись в кювет, а он головой в стойку. Подкинешь нас до Окросхеви?

— Мне-то вообще в сторону, ну да ладно, раз такое дело — садитесь.

— Давай сзади, Алимджанов.

Люлька кивнул головой, закинул ногу на заднее сиденье и, одновременно выхватив из-за пазухи финский нож, со всего маху ударил мотоциклиста в спину. Тот охнул, согнулся, медленно сполз с седла.

— Что ждешь?! — крикнул Вальтер. — Быстро в кусты его!

Они оттащили мотоциклиста подальше от шоссе.

— Надень его шлем и к мотоциклу! Водить хорошо умеешь?

— Конечно, хозяин!

— Стой! Положи ему свою красноармейскую книжку, а его себе возьми... Фамилия... Горобец Тарас Иванович. Запомни!

— Горобец... Горобец...

— Иди!

Вальтер осмотрел карманы убитого. Нашел пропуск на мотоцикл. Фамилия комроты вписана в него не была, видно, санбат находился недалеко, посчитали не обязательным.

«Воистину все в руках бога, — подумал Вальтер, доставая из планшетки авторучку. — Теперь мы сумеем проскочить через все КПП...»

Люлька умащивался в седле, примеряясь к мотоциклу. Спасибо отцу, хоть и был пьяница, а кое-чему успел научить. Еще бы от Вальтера отвязаться, опасный человек этот Вальтер, с ним попадешься — верный расстрел выйдет. Но там, за перевалом, милиции нет, там Вальтер деньги хорошие обещал и веселую жизнь. Пусть деньги дает, а веселую жизнь и без него найти можно, на кой ему этот Вальтер сдался!

Люлька заерзал в седле, вспомнил, как искал вчера ночью деньги в темной комнате старьевщика.

«Должны были быть деньги! Говорили же: полно у него. Время не хватило, как жалко, да! Теперь все милиции достанется, у нее время хватит!..»

Вспомнил и сверток, который так обозлил хозяина. Чего злится? Шипит как змея, фашист проклятый! Удрать бы от него, пока где-то ходит. В горах можно спрятаться, никто не найдет...

В лесу хлопнул пистолетный выстрел. Люлька пригнулся — ему показалось, что это стреляют в него. Хотел уж было крутнуть ручку газа, но показался Вальтер. Он торопливо шел, на ходу застегивая кобуру.

— Зачем стрелял, хозяин?

— Чтоб в личико его не сразу признали. На тебя чтоб стал похожим. И впредь поменьше вопросов, Кривой. Давай отсюда как можно быстрее, понял?..

* * *

Дорога становилась все уже и уже. Отвесные борта ущелья угрожающе нависали над ней, в сырых расселинах клубился туман.

— Чертовы места! — ругался Вальтер. — Ты ничего не перепутал, Кривой, правильно едешь?

— Что ты, хозяин? Сто раз здесь был...

У самого перевала кончился бензин. Столкнув мотоцикл со скалы, они долго шли гуськом, стараясь не потерять друг друга в быстро сгущающихся сумерках. Начал накрапывать дождь, потом пошел сильнее. Стало холодно.

И вдруг неожиданно за крутым поворотом тропы блеснул красный отсвет.

— Что это там, хозяин?! — испуганно спросил Люлька.

— Костер... — ответил Вальтер, останавливаясь. — Возможно, успели предупредить посты... Вполне возможно. Другая тропа есть?

— Тропа одна, и обойти ее нельзя, надо вернуться до развилки.

— Возвращаться? Нет, Кривой, поздно уже возвращаться. — Он вынул пистолет, быстро переложил его куда-то, Люлька не понял куда. — Пошли!

— Ты что, хозяин! Их там много!

— Ну!.. Давай опирайся на меня, волочи ноги, как неживой, ты же ранен, забыл, что ли? Шевелись, Кривой, кому я сказал?..

Они вышли из-за скалы, и Вальтер, к ужасу Люльки, громко крикнул:

— Эй, кто там! Давай сюда по-быстрому!

Подошли трое: старик в бурке, с двустволкой в руках и красноармейцы в коротких пехотных шинелях.

— Кто такие? — строго спросил Вальтер, а про себя подумал: «Слава богу, не пограничники. С этими будет проще!..»

— Передовой пост КПП, сержант Трофимов. Ваши документы.

— Инструкцию получили? — спросил его Вальтер, протягивая удостоверение личности.

— Какую?

— Вы что, на гулянке здесь?! — заорал он. — В ваш район просочился отряд егерей! Час назад они обстреляли нас. Четверо моих ребят остались лежать внизу, у дороги, а вы тут перекур с дремотой устроили, костры, понимаешь, палите. Никакой у вас бдительности, сержант, я вижу!.. Рация имеется?

— А как же, товарищ старший политрук, — Трофи-

мов нехотя вернул Вальтеру документы. В каждом его движении тот ощущал настороженность. — Утром мы получили указание задерживать...

— Знаю об этом указании, не болтайте лишнего! — оборвал он его. — А это кто? — Вальтер кивнул на старика.

— За проводника, из местных жителей.

— Вижу, что не из Парижа. Связь есть?

— Конечно.

— Кто из вас радист?

— Он там, у рации. Прошу вперед, товарищ старший политрук.

— Пошли!.. Горобец, идти можете?

— Могу, почему нет?

— Помогите ему, ребята, сильно контузило парня, едва дотащил его сюда...

Они пошли по тропе. Вальтер вглядывался в высвеченный костром круг, стараясь понять, сколько их еще там. Два, три? Или, может, только радист и все?..

— Почему демаскируетесь? Огонь развели, понимаешь, устроили иллюминацию!

Он тянул время, исподволь разглядывая сложенную из камней пастушью сыроварню, остатки коша; чуть дальше угадывалось устроенное в расщелине скалы пулеметное гнездо.

— Вы радист? — спросил Вальтер стоявшего в дверях сыроварни бойца.

— Я, товарищ старший политрук.

— Выйдите на связь с вашим хозяйством.

— Оружие вы все же сдайте до выяснения, — твердо сказал Трофимов. Он нес карабин убитого мотоциклиста, другой рукой придерживал Люльку. Тот и впрямь едва волочил ноги от страха.

— Оружие?! Где оно у меня? — Вальтер со злостью хлопнул ладонью по пустой кобуре. — Едва душу унесли! Егерей десятка два было, если не больше. Ногу мне, похоже, слегка царапнуло. — Он нагнулся, пощупал голенище сапога, и в этот же момент раздались выстрелы, один за другим четыре выстрела, почти без интервала. Люлька ничего не понял, только увидел, как метнулись огоньки откуда-то снизу — Вальтер стрелял, не разгибаясь, навскидку — все четверо стояли перед ним. И лишь один Трофимов успел, оттолкнув Люльку, вскинуть карабин...

Над вершинами дальнего хребта показалась бледная, едва очерченная полоска зари. Выбитая в скалах тропа уходила на север, в темноту. Она тянулась серой ниткой, петляя по склонам, сбегала в низины и снова, извиваясь, ползла вверх. Одна из многих сотен троп, затерянных в горах Кавказа...

И СНОВА ДВОР С ТРЕМЯ АКАЦИЯМИ

Июльское солнце делало свое дело. Давно отцвели лиловые грозди глицинии, и пожухла сирень в нижнем дворе; на акациях созрели кривые, похожие на пиратские ножи стручки. Когда на всех четырех террасах дома не видно взрослых, можно пошвырять в акации палкой, а потом, собрав сбитые стручки, грызть их крошечки, налитые тягучим приторным соком. Вкусно, невкусно, а все же сладко. Не хуже молочного суфле, которое можно купить без карточек, если выстоять часа два в длиннющей очереди.

Кстати, с этим самым молочным суфле было связано очередное Ромкино открытие. Он установил, на каком оборонном предприятии работает Никс Туманов. И, разумеется, тут же сообщил эту новость всему двору.

— Аоэ! — надрывался Ромка. — Никсик-Фиксик-кандидат! Оборонный объект ему поручен, хо-хо-хо! Он суфле делает! В артели пищепрома на Майданском базаре! Рецепты составляет, химик-физик. Немцам это суфле надо с самолета вместо бомбы бросить — покушают и сразу умрут, хо-хо-хо! Оборонно-макаронный суфле!

— Хулиган! — Никс, перевесившись через перила террасы, грозил Ромке кулаком. — Я тебе усы надеру. Мало, видать, тебя по баске стукнули! Еще бы расок да покрепце!

Он замахнулся, чтобы швырнуть в Ромку осколком цветочного горшка, но летчик наехал на него колесами своего кресла. Никс попятился, а тот все теснил и теснил его, перебирая руками туго надутые шины.

— Как ты смеешь говорить это парню! Как у тебя язык повернулся? — Он загнал Никса в угол терра-

сы. — Если я еще раз услышу от тебя что-нибудь подобное, то берегись тогда, Николай!..

И тут все вдруг вспомнили, что Никса-то зовут Николаем. Что он родился и вырос в этом доме, что у него была мать, тихая, добрая женщина, которая улыбалась всем печальной, словно виноватой улыбкой. Это она называла его так: Никсик, когда он был еще совсем маленьким. Теперь вот вырос, облысел, стал «почти кандидатом наук» и варит молочное суфле в подозрительной артели пищепрома на Майданском базаре...

И все же главной сенсацией дня стали не Ромкины разоблачения, а короткая заметка в газете, всего несколько строчек:

«Курсанты фронтовых курсов младших лейтенантов В. Вадимов и Э. Каладзе в неравной схватке с противником в районе Крестового перевала, умело маневрируя и ведя огонь из ручного пулемета, отбили четыре атаки, нанеся большой урон наступающему подразделению немецких егерей».

Вот и все. Значит, здорово воюет Кубик, хоть он еще не командир полка и даже не младший лейтенант.

— Дай мне эту газету! — попросила Рэма.

— Возьми, пожалуйста.

— Я ее сейчас Валентине Захаровне отвезу, — заторопилась она.

— Какой Валентине Захаровне?

— Матери Вадима Вадимыча, ты разве не помнишь ее? Высокая такая. Она, знаешь, очень, очень хорошая женщина!

И Рэма, схватив газету, побежала вниз по Подгорной к трамвайной остановке, а Ива смотрел ей вслед на толстую косу, на зажатую в руке газету.

Пришел бы сейчас, что ли, во двор седой скрипач, и женщина в темном платье спела б о суровом капитане, полюбившем девушку с глазами дикой серны за то, что у нее были пепельные косы, а в глазах таились нега и обман.

Но давно что-то не видно скрипача. Один стекольщик только и ходит.

— Секла ставлять!..

Никто не зовет его, у всех стекла целые, заклеенные бумажными полосками.

— Пойдем посидим на крыше, — сказал Минасик. Он тихо подошел сзади. Ива даже не услышал когда. — И Ромку позовем, ладно?

— Давай, — сказал Ива.

Они забрались втроем по стволу глицинии, сели у слухового окна.

— У Алика завтра первый полет, — Минасик вздохнул. — Всего на два года старше нас, а уже почти настоящий летчик.

«Завидовать не полагается», — хотел было сказать Ива, но не сказал. Он и сам завидовал Алику.

Ромка смотрел вниз, на холмик под кустом туи.

— В хорошем месте Джульбарса моего похоронили...

И опять Ива ничего не сказал. Что ж, отличное имя — Джульбарс. Так можно назвать только сильную и верную собаку.

— Капитан Зархия щенка обещал дать.

— Охотничьего? — поинтересовался Минасик.

— Не, зачем мне охотничий? — Ромка мотнул головой. — От настоящей овчарки. У его знакомого есть, он говорил.

— Овчарка — это здорово... — Минасик снова вздохнул. Его бабушка панически боялась собак, даже самых маленьких. Поэтому в их семье заводить разговоры о щенках было делом совершенно бесперспективным.

Ромка вынул из кармана горсть слипшихся фиников, положил их на обрывок газеты.

— Кушайте, очень сладкие...

Они лежали на горячей от солнца черепице. Небо было бледно-голубым, почти белым. Одинокое облако заблудилось в нем, замерло на самой середине, словно не знало, куда ему плыть дальше. И плыть ли вообще.

Ива смотрел на облако. Вот оно тронулось с места, медленно поплыло по небу. Все дальше и дальше. Остался позади двор с тремя акациями, залитый солнцем город, серые бастионы Персидской крепости. Облако все быстрее бежало по небу и словно звало за собой смотрящих ему вслед мальчишек...

ПИСЬМА В КАЗЕННЫХ КОНВЕРТАХ

Весна сорок четвертого года пришла в город раньше обычного. Утром со склонов окрестных гор еще тянуло сырым, промозглым ветром, но к полудню теплело, люди снимали пальто, несли их, перекинув через руку, говорили друг другу:

— Слушай, такая ранняя весна только до войны была, в тридцать шестом году, как сейчас помню.

— Ты ошибся, дорогой, в тридцать пятом.

— Какой в тридцать пятом? Ты что говоришь? Я в тот год себе еще коверкотовый костюм купил; до сих пор как будто только из магазина.

— Значит, в тридцать пятом покупал...

В этом городе любили спорить. По любому случаю. А если случай не подворачивался сам, то его искали и, как правило, находили.

— Э, Минас! — кричал Ромка. — На мусорном ящике, видишь, два воробья сидят?

— Вижу, — отвечал Минасик. — Ну и что?

— Спорим, правый первым улетит. На что хочешь спорим!

Минаса настораживала такая Ромкина уверенность. Кто их знает, воробьев этих? Поэтому на всякий случай он соглашался:

— Да, пожалуй, правый взлетит первым.

— Тогда спорим на левого! Правый останется сидеть, пока я его по башке не стукну. Спорим?..

Самое удивительное заключалось в том, что Ромка обязательно выигрывал спор. Первым взлетал именно тот воробей, на которого он делал ставку. Как ему удавалось определять воробьиные намерения, не знал никто. В том числе и сам Ромка.

В этом городе люди любили спорить, любили сообщать друг другу новости, неизменно расцветивая и приукрашивая их, любили ходить в гости и принимать гостей у себя, хотя время продолжало быть голодным и не всегда удавалось поставить на стол блюдо с зеленью и маленькую тарелочку с острым овечьим сыром. Не говоря уже о чем-то более существенном.

— Извините, ради бога, за такое угощение! Что делать — война... Ничего, скоро кончится, и тогда я приглашу вас на таких цыплят-табака, какие только моя бедная мама умела делать!

Гости вздыхали, качали головами, деликатно, кончиками пальцев брали тонко нарезанный сыр.

Война, война... В третий раз за новогодним столом поминали тех, кто никогда уже не увидит свой родной город, не пройдет по его горбатым улицам, не полюбуется красотой его садов, буйным бегом его реки, бесшабашной Итквари. Ни звонкий голос города не услышит, ни пряных его запахов не вдохнет.

Последнюю весть приносили о них короткие письма в казенных конвертах. Какие ребята были, веселые, озорные, за что им злая судьба выпала? Будь проклят тот, кто эту войну затеял, пусть пепел отчего дома засыплет его поганую могилу!..

Люди отламывали кусочки хлеба, макали их в вино, осторожно клали на края тарелок. Это в память о тех, кто никогда уже не пригубит вина в кругу родных и друзей.

Молча чокались, без веселого звона — пальцами, сжимающими стаканы.

— Этот бессовестный микитен* одну воду продавать стал! Мне стыдно таким вином хороших людей помянуть...

Неожиданно для всех Ромкиному отцу пришла повестка из райвоенкомата.

— У тебя же бронь! — всполошились домашние. — Ты же заведешь военной столовой! А здесь: ложку, кружку, военный билет при себе иметь. Какое имеют право?

— Откуда я знаю, — растерянно отвечал Ромкин отец. — Сегодня есть бронь, завтра отменили, я что, нарком вам, что ли... Может, это просто так, для проверки вызывают...

Но вызывали его не для проверки. Через три дня Ромкин отец, уже в гимнастерке и желтых английских ботинках, шагал в шеренге таких же новобранцев по пыльному плацу, окруженному приземистыми зданиями карантинных казарм, построенных лет двести назад.

Вспоминая отца, Ромка плакал. Отец стоял перед его глазами, похудевший, в большой пилотке на корот-

* Продавец вина (груз.).

ко остриженной голове, какой-то совсем непохожий на себя, виновато улыбающийся.

— Что он будет делать на фронте? — причитал Ромка. — Что он умеет? Стрелять не умеет, быстро бегать тоже не умеет, пропадет он там сразу.

Слушая его, Джулька сердилась:

— Тебе не стыдно, да? Такой верзила, усы уже растут, а плачет, как девочка... Папу ему жалко? А мне что, не жалко? Но я же не плачу, никому сердце не рву!

— Молчи, забурда! У тебя у самой сердца нет!..

Ромка зря так говорил. У Джульки было доброе сердце...

Война все дальше и дальше уходила на запад. В городе отменили светомаскировку и комендантский час, с окружавших его гор сняли зенитные батареи и в бывший морской госпиталь, что был на углу Подгорной, въехало какое-то штатское учреждение.

Но, несмотря на все это, Ива и Минас часто вспоминали то, теперь уже казавшееся таким далеким время, когда город был переведен на положение прифронтового, а немецкие авангарды выходили к перевалам Главного Кавказского хребта. И бывший учитель астрономии Кубик, курсант школы младших лейтенантов, в стычке с фашистскими егерями показал себя молодцом.

У Рэмы до сих пор хранилась вырезка из фронтовой газеты, где рассказывалось о Кубике. Вырезка из фронтовой газеты и целая пачка стянутых лентой писем. Обратный адрес: полевая почта. Лейтенанту Вадимину... Капитану Вадимину... майору Вадимину...

— А я писал на стенках «Рэма + Рома»! — Ромка хлопал себя ладонью по лбу. — Ва, какой я дурак был! Надо было писать: «Рэма + Кубик = Мубик».

— Ну с чего ты взял? — возмущался его бесцеремонностью Минас. — У них просто переписка. И я ему пишу. Иногда... Ива тоже вот пишет.

— Он пишет! — Ромка складывался пополам от смеха. — Ты всю жизнь барашка будешь! — Он тыкал в Минасика пальцем. — Пишет!.. Что пишешь? «До скорой встречи...» Это пишешь, да?

— Но с чего ты взял, что Рэма так пишет?

— Знаю. Раз говорю, знаю... Какое твое дело откуда? Ты кто такой?.. Может, мне Джулька сказала, может, сам прочитал.

— А при чем «до скорой встречи»? Это в смысле окончания войны?

Непонятливость Минаса Ромку уже не смешила, а начинала раздражать.

— Ва! Все отличники очень глупые! За что тебя учителя хвалят, не понимаю... Она же после школы на военфельдшера пошла учиться. Так что скоро форму наденет — и ать-два, левой!.. Вот потому «до скорой встречи». На фронте, ну! Понял?

Минас растерянно пожал плечами.

— А ведь она так хотела стать актрисой...

Кем стать? Куда поступать? Чему учиться? Жизнь задает эти вечные вопросы каждому, кто приходит к порогу школы. Война ли, мирное время, все равно задает. Потому что остается всего лишь шаг, и школа за спиной, и надо что-то делать, кем-то быть или хотя бы на первый случай ощутить себя кем-то.

В глубине души Ива завидовал и Минасу и Ромке. У тех была полная определенность: Минас поступал в медицинский институт, как и задумал чуть ли не с первого класса. Ну а Ромка, тот никуда не собирался поступать.

— Что я, сумасшедший?! — кричал он, выкатывая глаза. — Десять лет учился, можно отдохнуть, да? Все равно скоро в армию пойдем. Думаешь, из института не возьмут? Еще как возьмут! Где, скажут, тут этот барашка ходит, которому медаль за жирность дали? Аба, давай сюда, будем из него шашлык делать! Хо-хо-хо!..

— Совсем и не смешно, кстати! — обижался Минас.

После долгих размышлений Ива решил, что будет поступать на факультет металловедения. По чести говоря, ему было все равно, куда поступать, а раз так, то почему бы не сделать приятное отцу. Металловедение так металловедение...

В городе находилось училище горной артиллерии. Курсанты его, щеголеватые и brave, в начищенных кирзовых сапогах со шпорами, в фуражках с лакированными козырьками, в гимнастерках с черными погонами, окаймленными золотом, дважды в неделю литой колонной, с песней и присвистом спускались по Арочной улице, неся на плечах фанерные щиты с изрешеченными мишенями. Где-то за Персидской крепостью было их стрельбище.

Ива всякий раз, стоя в классе у окна, провожал взглядом их ладный строй. И невольно вспоминал Юнармию, строевые занятия во дворе музыкальной школы, сердитые команды военрука в выгоревшей пилотке

с малиновыми кантами. Давно все это было, невероятно давно!..

Если куда и пошел бы он учиться с охотой большой и не раздумывая, так в это вот училище. Шагать в строю легко и раскованно, держа равнение в затылок. Плечо слева, плечо справа, и ты точно слит в одно целое с сотней таких же, объединенных единым ритмом ребят. Нет ни тебя, нет никого из них в отдельности, есть только строй, упругий, мощный, красивый, словно вырубленный из цельного камня.

— Бат-тарей! Песню!..

И тут же взвизывался по-мальчишески высокий голос запевалы:

В тоске и тревоге не стой на пороге.
Я вернусь, когда растает снег...

Ива представлял себя не только в курсантском строю. Видел он, как на взмыленных конях галопом несется его батарея, как лихо разворачиваются упряжки, кричат ездовые. Мгновение — и отцеплены построики, расчеты бросаются к орудиям, уже прильнули к панорамам наводчики, еще секунда, и хлестнет по сердцу команда «Огонь!», сольется с грохотом пушек и ржаньем рвущихся из рук лошадей.

А в трубке полевого телефона сквозь треск и жужжание такой знакомый голос Кубика:

— Дай еще огонька, комбат! Выручи пехоту по старой памяти, за нами не пропадет!..

Мечты, мечты... Ива ходил в училище, справлялся насчет приема. Ответили обычное: будешь призываться, попросись в райвоенкомате, возможно, и направят к нам.

Его дальний родственник, двоюродный племянник матери, в общем, седьмая вода на киселе, был командиром взвода в училище. Ива, грешным делом, очень надеялся на его помощь, тем более что тот обнадеживал.

— Напомнишь мне своевременно, — говорил он. — Я поговорю с начальником училища; старик души во мне не чаает, все сделает, если попрошу...

Ну а пока суд да дело, племянник выпросил у Ивиной мамы серебряную ложку — шпоры заказать. Ива видел потом эти шпоры с колесиками из пятиалтынных монет. Звону-грому на целый квартал.

Да, война все дальше уходила на запад. Но это совсем не означало, что о ней можно было забыть. Она

напоминала о себе каждый день и каждый час. По-прежнему сутками не приходил с завода Ивин отец. По-прежнему затемно выстраивались очереди у дверей магазинов, и люди бережно доставали завернутые в бумагу разноцветные прямоугольники продовольственных карточек.

Все так же с замиранием сердца ждали прихода почтальона. Что принесет на этот раз седоусый Ардальон, давно разучившийся шутить? Он постарел и согнулся, словно его потеряя кожаная сумка стала за годы войны во много раз тяжелее.

Два сына, два его мальчика, погибли еще в сорок первом. Один под Харьковом, другой на Ленинградском фронте.

Два мальчика, такие веселые и такие кучерявые. Погодки... Он не помнит их солдатами, не может вспомнить. Или не хочет. Помнит маленькими.

— У них кочёри были совсем как у ягнят... Слава богу, жена не дожила до такого горя... Вы, по-моему, не знали моих мальчиков? Они в сорок первом сразу ушли.

— Как не знали, Ардальон? Что ты говоришь? Замечательные у тебя дети были! Пусть им в чужой земле, как в твоих отцовских ладонях лежится...

Шел старый почтальон, известный некогда на всю округу как непревзойденный балагур, шутник, любитель нард* и доброго кахетинского вина. Шел, держась в тени домов, неторопливо и задумчиво, словно сама судьба. По скользкой снежной слякоти, по весенним лужам, по пыльному асфальту шел почтальон: утром с газетами, после обеда с вечерней почтой. И однажды принес в дом на Подгорной сразу два письма.

— Казенные... — сказал он и отвернулся.

В одном из них сообщалось о том, что при выполнении задания командования смертью храбрых пал сын профессора.

Другое письмо было летчику. Пропал без вести Алик. Младший лейтенант Пинчук. Летчик-истребитель...

НАБИВНЫЕ ПАПИРОСЫ

Кто раньше всех просыпается в городе? Трудно сказать. Скорее всего дворники. Они выходят с метлами и совками, едва только рассветет. Война не война, а го-

* Игра, распространенная на Востоке.

род должен быть чистым. И усатые старики, неразговорчивые и хмурые, чиркают по асфальту немудреным своим инструментом, сметают в кучи мусор. Всю ночь гонял его ветер по площадям и переулкам, по подворотням и мостовым. Но вот пришло утро, и кончилась вольная жизнь мусора — колючая метла доберется до него, куда бы он ни забился, сметет в совок, и все — до следующего утра исчезнут с улиц сердитые дворники.

Говорят, в других городах этим делом, особенно в войну, занимались женщины. В других возможно. Но в городе, о котором идет речь, дворниками были только мужчины, чаще всего старики айсоры*. Вид у них был устрашающий: закрученные кверху усы, а лица будто отекавшие из старой потемневшей меди.

Дворники всегда были недовольны чем-то. Их сердило буквально все: бестолковые прохожие, вечно наступающие на метлы, бегущие в школу дети, слетающий с гор шалый ветер — он помогает уже собранному в кучи мусору вновь удариться в бега.

Дворники метут улицы и изредка перекликаются меж собой. Их языка никто в городе не знает: это древний как мир язык, родившийся тысячелетия назад в междуречье Тигра и Евфрата.

Итак, утро начиналось с шуршания метел и жестяного грохота совков. А потом на Подгорной раздавался стук колес, сработанных из обычных шарикоподшипников. Это катил на деревянной тележке Жора-моряк. Он ловко отталкивался от асфальта короткими, в две четверти, костылями. От широкого матросского ремня тянулись ремешки поуже — ими Жора был приторочен к бортам своей тележки. Ног у него не было совсем. Он сидел на кожаной подушке, опоясанный ремешками, в распахнутом бушлате, в неизменной, застиранной до бледности тельняшке. Медаль «За оборону Кавказа» покачивалась на бушлатном отвороте в такт движению: наклон тела вперед, толчок костылями, и тележка катится, сухо постукивая подшипниками на стыках тротуарных плит.

— Пламенный привет работникам коммунального хозяйства! — кричал дворникам Жора-моряк.

— Здравствуй, — отвечали те и, опершись на метлы, долго смотрели ему вслед. И не сердились.

* Народность, представители которой живут в Ираке и частично в Закавказье.

Так начиналось утро на Подгорной. Из подъезда выходила Джулька. На ней лакированные туфли и синий шевитовый жакет с подложенными плечами. Красивая, модная Джулька. Независимая и гордая. Жора-моряк подкатывал к самым ее ногам и, размахивая костылями, точно крыльями, восторженно цокал языком:

— Тц-тц-тц! Мадмуазель, вы сегодня еще очаровательней, чем вчера! Так невозможно, Джулия, надо же когда-то остановиться!

Она отступала на шаг и говорила с досадой:

— Хватит, Жора, времени нет. Я спала сегодня всего три часа... Возьми, здесь полторы тысячи штук. — И протягивала ему перевязанную шпагатом картонную коробку.

— О Джулия! — Жора-моряк ставил коробку перед собой на кожаную подушку. — В твоих глазах усталость, в твоём сердце любовь!

Джулька присаживалась на ступеньку подъезда, доставала из сумки папиросу; Жора-моряк чиркал спичкой. Они сидели рядом и молча курили. Это была безмятежная, тихая минута перед началом долгого рабочего дня.

— Итак, за дело! — сказал Жора. — Утро наступило, и многим уже хочется закурить. Такая вредная привычка...

Приоткрыв коробку, он посмотрел на ровные ряды лежащих в ней папирос, присвистнул.

Отличные папиросы — рисовая бумага и фирменный мундштук с синей надписью «Темпы». Понимающие курильщики утверждали, что фабричные и в подметки не годятся таким вот, набивным. Табак не тот — пересохший, высыпается, а в этих и крепок и пахуч, ну прямо «самсун»! *

Никому не было дела до того, кто и как делает эти папиросы. Даже Жора-моряк и тот понятия не имел о том, каким образом удастся Джульке из купленного на базаре крестьянского табака нарезать этот самодельный тонкорезанный «самсун». И набить им за ночь полторы тысячи гильз.

Наброшен на абажур темный платок. В комнате полумрак. Тревожно спит мать, похрапывает бабушка, спят за стеной квартиранты. Ромка тоже спит — его за полночь работать не заставишь. Жестяная машинка для набивания папирос шелкает резко, словно кастаньета.

* Сорт высококачественного табака.

Пальцы Джульки работают механически, как заведенные, она смотрит в сторону, туда, где под лампой на подставке лежит раскрытая книга.

Щелкает машинка, шелестят страницы, растет горка готовых папирос. Триста штук... семьсот... тысяча... полторы. Все, достаточно. Значит, можно потушить лампу и, быстро раздевшись, юркнуть в постель.

До утра остается совсем немного времени, но все равно утром надо быть собранной, деловой, независимой. И еще красивой. Конечно, совсем не для того, чтобы Жора-моряк цокал языком и, размахивая костылями, восклицал:

— Вы, как всегда, неотразимы, Джулия! До чего же приятно работать с вами на доверии, безо всяких коносаментов* и прочих неджентльменских формальностей...

Жору-моряка привезли в госпиталь на Подгорной зимой сорок третьего года. Диагноз был безнадежным: газовая гангрена. Пытались лечить, да ничего не получилось, едва не погиб он тогда — все не давал врачам ампутировать ноги. Однако пришлось...

Он пробыл в госпитале до дня его закрытия. Сосед по палате, мастер на все руки, сколотил тележку, добыл к ней кожаную подушку и ремешки. На этой тележке Жора-моряк и выехал за госпитальные ворота летом сорок четвертого. Возвращаться домой, куда-то под Саратов, не захотел, остался в городе.

— Ничего нет хуже половинчатых решений. — Жора-моряк смеялся, размахивал короткими костылями, и казалось, что он сейчас вспорхнет вместе со своей легонькой тележкой. — Согласитесь: возвращаться домой в таком виде, это же половинчатое решение: уезжал целый человек, а вернулась половинка.

Люди слушали его шутки и не смеялись. Над такими шутками имел право смеяться только сам Жора-моряк. И он смеялся. А люди смотрели на него и удивлялись: как много силы в парне, дай бог, чтоб надолго ему ее хватило!..

Он плавал еще до войны в торговом флоте. Говорят, даже был вторым помощником капитана на рудовозе, ходившем в далекие страны. Жора не любил вспоминать об этом.

— Воспоминания похожи на вино, — говорил он, — можно утонуть, а можно спиться. Кому это нужно?..

* Расписка, выдаваемая капитаном судна грузоотправителю.

И все же он вспоминал иногда. Но не о том, как плавал на рудовозе, а о том, как воевал в морской пехоте, в горах, северо-восточнее города Туапсе.

— Там меня и зацепило. В ноябре сорок второго года. Такая нелепая история...

Что же касается Джульки, то идея заняться набивкой папирос пришла к ней после долгих раздумий. Заботу о семье она приняла на себя сразу. Это получилось как-то само собой. Ну не на Ромку же надеяться.

— Я так хотела, чтоб ты на инженера у нас выучилась! — причитала мать. — Ромка лентяй, из-под палки учится, а теперь, без отца, совсем все бросит. А ты ведь почти отличница у нас!

— Ладно, — отвечала Джулька. — Что ты плачешь? Все плачут, так нельзя жить!.. Я поступлю в институт, сказала, значит, поступлю... Но кушать тоже, между прочим, нужно. И одеваться я хочу не как мадам Флигель и ее дочка четырехглазая.

* * *

Сталкиваясь с Ивой в подъезде дома или встречаясь с ним на улице, Джулька всегда испытывала чувство неловкости. Ей все казалось, что в один не очень прекрасный для нее день Ива спросит с насмешкой:

— Ну как там твои папиросные дела?

Но Ива не спрашивал, и однажды Джулька, не удержавшись, спросила его сама:

— Наверное, не уважаешь меня за то, что я... ну вот, папиросами этими занялась?

— С чего ты взяла? — удивился Ива.

— Многие говорят... разное. Мадам Флигель, например, или вот Тумановы.

— Да не обращай на такую ерунду внимания, и все...

Джулька тут же поспешила сменить тему разговора:

— К вступительным готовишься?

— Да, в политехнический.

— Трудно попасть?

Ива пожал плечами.

— Много бывших фронтовиков, из госпиталей демобилизованных, они вне конкурса зачисляются.

— Это правильно... — Джулька помолчала. — Ромка никуда не хочет, бездельник. Говорит: все равно к новому году в армию пойду. Ему лишь бы поболтать-

ся... А я в сельскохозяйственный хочу. На факультет технических культур. — Джулька рассмеялась. — Буду всю жизнь с табаком возиться. Понравился мне табак... Курить даже начала. Все, кто с табаком работает, курить начинают, потому что пыль, она все равно как дым — с никотином. — Она смущенно глянула на Иву. — Нехорошо это, да?

— Почему?

— Ну девушка и курит. Считается, что курят только распущенные женщины.

— Кто так считает?

— Ну я не знаю. Считают...

— Чепуха все это...

Ива смотрел на Джульку и удивлялся. До чего же изменилась она за последний год! Ничего не осталось от прежней вздорной Ромкиной сестрицы, которая без конца либо смеялась басом, либо так же громко спорила и ссорилась с кем-нибудь. Чаще всего с Ромкой. При этом обязательно прибегала к излюбленному своему приемчику — тыкала пальцем в самый нос противника, выкрикивая при этом скороговоркой:

— Ненормальный! Ненормальный! Ненормальный!..

Была Джулька на вид девчонкой нескладной, долговязой, а тут как-то незаметно за год стала статной, и даже походка у нее изменилась, и манера говорить. То носилась, словно ошпаренная, тараторила, размахивая руками, или кричала совсем как Ромка, а теперь и следа от всего этого не осталось.

Просто удивительно, как меняются люди! Иве казалось, что сам он несколько не изменился за прошедшие годы, остался таким же, каким и был до войны, в то лето, когда ходили на «шатало» за тритонами. Ну подрос, конечно, папины костюмы теперь носит, а в остальном все по-прежнему.

Ромка вон усы отпустил назло учителям. Минас тоже мог бы при желании, но он аккуратно бреется. А у Ивы лишь рыжеватый пушок какой-то пробился, брей не брей, все одно ничего не видно...

Сразу по окончании училища, прибыв в часть, Алик сфотографировался. И прислал всем по фотографии. В летной форме, в шлеме, совсем не узнать человека, хоть и без усов. Получается, что один Ива каким был, таким и остался, но тем не менее мама без конца повторяет:

— Ты у меня совсем уже взрослый мужчина...

И вздыхает почему-то.

Ива всматривался в Джулькино лицо. Глаза у нее светло-серые и прозрачные, а ресницы иссиня-черные, прямыми длинными стрелками. Только раньше почему-то никто не замечал этого, не говорил:

— Вы посмотрите, до чего же красивые у нашей Джульки глаза и ресницы! Такое редкое сочетание...

Могли бы сказать и о том, что волосы у нее тоже хороши, темно-каштановые, густые. Небось когда заходил разговор о Рэме, так сразу начиналось:

— Какая коса!.. Какой удивительный цвет лица!.. Какая точеная фигурка!.. Ах, ах!..

Ива знал: Джулька терпеть не могла эти разговоры. Подумаешь, коса! Захотела бы, две косы заплела!..

Рэма училась теперь в школе военных фельдшеров, дома почти не бывала. А когда пришла в последний раз, то все опять ахнули, но только по другой причине — на Рэме была ладно пригнанная гимнастерка с погонами, зеленая суконная юбка и кирзовые сапоги.

Из-под пилотки аккуратным порукружием спадали коротко остриженные волосы. Не было больше знаменитой пепельной косы с нежными завитушками, в которых, запутавшись, горели золотом солнечные лучи. Не было той прежней Рэмы, таинственной и неотразимой. Посреди двора в тени старых акаций стоял маленький строгий солдатик.

— Вы стали неузнаваемой! — не удержалась Ивина мама. — Совсем взрослой, — тут же поправилась она.

Рэма улыбнулась в ответ. Ямочки на щеках превратили ее в прежнюю Рэму, а Ива подумал, что форма даже идет ей, что она просто прекрасно выглядит в этой гимнастерке и кирзовых сапогах.

Кстати сказать, сапоги больше всего возмутили мадам Флигель и ее дочь.

— Калечить девочке ноги этими жуткими, этими ужасными колодками! Сними их сейчас же! И зачем только ты пошла учиться на военного фельдшера с такими твоими талантами? Если уж тебе так захотелось медицины, поступила бы себе в институт.

— Институт — это долго, — отвечала Рэма. — В институт я поступлю после войны.

— Она рассчитывает попасть на фронт! Мы не пере-

живем это. Нет! Разве нам мало, что твой папа Гриша и твоя сумасбродная мамочка уж три года рискуют жизнью, не боясь оставить тебя сироткой... Да сними ты эти отвратительные сапоги, от них пахнет казармой! Надень туфли!

— Нельзя туфли. Сапоги — часть формы; я же теперь военный человек.

— О-о!.. Если с тобой что-нибудь случится, нам не пережить этого, так и знай!.. А такие сапоги ты все равно носить не будешь. Мы закажем тебе другие, из кожи.

— Вы что, они же стоят бешеных денег!

— Да, это с ума сойти какие деньги, но ты нам все-таки немножко дороже. Закажем Михелю, с ним можно поторговаться...

— Такой старый калоша, как ты, надо носить другой старый калоша, — сказал Михель, выслушав мадам Флигель. — Я не пуду тебе шить сапоги.

Только сообразив, что речь идет о Рэме, Михель согласился принять заказ.

— Пусть придет, надо снимать один мерка. Товар пуду ставить свой, хороший товар — хром! На подклейка тоже хром. И спиртовый подметка пудет...

Взял Михель за сапоги очень дешево, но мадам Флигель все равно осталась недовольна.

— Что можно ждать от этого замаскированного фашиста?! Сейчас, когда их там, на фронте, бьют, так он берет дешево, а закажи мы ему сапоги раньше, когда над городом летали ихние аэропланы и пускали газ, будьте уверены — содрал бы три шкуры да еще подсунул бы гнилую кожу!..

ЧЕЛОВЕК УШЕЛ В ОБЛАКО...

В комнате было накурено, пахло жареным мясом и вином. Летчик угощал друга, старого своего друга, с которым не виделся очень давно, с финской войны.

О том, что тот будет проездом в городе, летчик знал заранее, за несколько дней. И попросил Цицианову помочь ему принять гостя.

— Мне неудобно так часто беспокоить вас, Кетеван Николаевна, но, понимаете ли, сам я способен сотворить лишь примитивный солдатский харч, который ему осточертел за многие годы службы. А хотелось бы угос-

тить по-домашнему. К тому же он никогда не бывал на Кавказе.

Цицианова, прямая и величественная, удивленно подняла брови.

— А вы, оказывается, церемонный человек, Павел Александрович. Никогда бы не подумала. А еще сосед!

— Дело не в церемонии... — Летчик смущенно улыбнулся. — Но ведь это такое беспокойство, согласитесь сами...

— Так чем бы вы хотели угостить вашего друга?

Меню разрабатывалось подробно, и летчик только диву давался, как это здорово получается у Цициановой.

— А как вы собираетесь сервировать стол? — спросила она.

— Сервировать?.. Да вот... есть у меня тут кое-что из необходимого, — летчик открыл нижние створки книжного шкафа, достал несколько тарелок, граненые стаканы. — Жили-то мы по-походному, — сказал он, словно извиняясь. — Так и не успели обзавестись чем-то более изящным.

Цицианова обвела взглядом комнату, в которой бывала не раз, но как-то не обращала внимания на ее скромное убранство. Две узкие и, видимо, жесткие кровати, по-военному тщательно заправленные, письменный стол у окна, два шкафа с книгами, ковер на полу и во всю стену географическая карта, усеянная маленькими флажками на булавках. Их частая цепь вплотную приблизилась к границе и в нескольких местах, точно прорвав ее, клиньями уходила к Норвегии, в Румынию, в Болгарию.

В комнате царил идеальный порядок. На круглом обеденном столе в вазочке, сделанной из гильзы от авиационной пушки, лиловым светом горела гроздь цветущей глицинии. И точно такая же веточка возле фотографии молодой белозубой женщины. Цициановой казалось, что женщина смотрит на нее и как бы спрашивает, улыбаясь:

— Вы помните меня, тетя Кето?..

«Помню, девочка, помню... Ты была красивая и добрая. И кто знает, может быть, к лучшему, что не дожидла до дня, когда принесли сюда казенный конверт с сообщением о том, что твой сын пропал без вести. Как и мой когда-то... Кто знает?..»

Фотография женщины и веточки глицинии были

единственным, что нарушало строгое, почти аскетическое убранство комнаты.

Перехватив взгляд Цициановой, летчик сказал:

— Это меня Ива с Ромкой глицинией балуют. Навловчились ее рвать под самой крышей. Впервые Ива вместе с Шурцом за ней лазил. Эх и досталось им тогда от меня!.. А вы знаете, Кетеван Николаевна, встречу с другом моим старым я так нетерпеливо жду по двум причинам. Одно дело — не виделись столько лет, это само собой. Но еще и другое: он ведь в той же дивизии воевал, что и Шурец мой, в разных полках, правда, да ведь авиационная дивизия не чета стрелковой, народу в ней немного, все на виду. А Шурца он, ясное дело, как мог опекал... Вот жду, что расскажет, только в то и поверю...

Друг летчика был высок ростом и худ. Тяжело опираясь на палку, он поднялся по лестнице и, выйдя на террасу, остановился. Долго и молча смотрел на сидевшего в кресле капитана Пинчука.

— Ну, здравствуй, Гриша, — сказал тот. — Чего молчишь-то?

Отбросив палку, гость широко шагнул, обнял летчика за плечи, прижался щекой к его щеке.

Никого из соседей на террасе не было. Все понимали, что не надо в такой момент мешать людям, смущать их своим присутствием; можно посидеть несколько минут в своих комнатах, ничего не случится. И только Никс, приподняв оконную занавеску, смотрел, как замерли, обнявшись, два совсем еще не старых, но уже седых человека.

Стол Цицианова накрыла сама еще до прихода гостя. Крахмальная скатерть с вензелем, с такими же вензелями тарелки и тяжелые серебряные вилки. Два бокала из настоящей баккара и отливающий голубиной хрустальный графин.

— Все на две персоны, — сказала она. — Я берегу это. Как бы туго ни пришлось мне, а это останется. И знаете почему?.. Когда вернется мой сын, а он обязательно вернется, я должна буду вот так же накрыть стол. На две персоны, понимаете?..

Летчик смотрел на нее. Она стояла прямая и торжественная. И слова ее звучали так, будто она не просто говорила, а повторяла молитву.

— Спасибо вам, Кетеван Николаевна...

Итак, стол был накрыт на две персоны. Сказочно

красивый стол! Посредине стояла вазочка, сработанная из медной артиллерийской гильзы. Ее не смущало соседство изящного баккара и фамильного серебра князей Цициановых. Гильза тоже знала себе цену. Ведь она была последней овеществленной памятью о самолете капитана Пинчука, рухнувшем когда-то на заснеженные финские сосны.

И Кетеван Цицианова, без расспросов поняв это, поставила гильзу на середину стола...

— Ты как никто другой поймешь меня, Паша, — с горечью говорил летчику гость. — Нелегко слышать такие слова: отлетался, все, спасибо за службу!.. Сколько я этих комиссий прошел, и все без толку. Чуть было совсем не списали в запас. Говорю им: да я еще летать могу не хуже, чем демон крылатый, вы что, братцы?! Без ног люди летают! Воропаев есть такой, Миша, он еще в сорок втором здесь вот, на Кавказе, глаз потерял, и ничего, дает фрицам прикурить. А мне в ответ майор один с гадюками на погонах: сейчас, мол, не сорок второй год, летного состава у нас достаточно. Понял, а?.. Я ему говорю: «Летчик летчику рознь! Да я с Халхин-Гола воюю без передыха, у меня семь орденов на груди, восемнадцать «мессеров» лично в землю воткнул! Таких летчиков никогда в достатке быть не может, понятно тебе, майор?!» Нескромно, да? А что поделать? Так хоть в училище направили, теорию пока буду преподавать, ну а что дальше, поглядим еще. Я своего не долетал...

Гость говорил о себе, вспоминал товарищей, рассказывал о боях, и по всему было видно, что никак не решится он начать о главном, о младшем лейтенанте Пинчуке, пропавшем без вести три месяца назад.

— Ну слушай, и вино тут у вас: по ногам бьет, а голова как стеклышко! Знатно все, — он обвел руками стол. — Знатно! Не припомню, когда в последний раз так едал. Разве что в Москве, помнишь, Паша, когда после Халхин-Гола обмывали мы первую свою боевую награду? Вот эту... — Он тронул пальцем орден Красной Звезды. На одном из лучиков откололась чешуйка эмали, проглядывал потускневший от времени металл.

Летчик кивнул:

— Помню, Гриша, а как же?..

— Что это я все о себе да про себя? — И гость, делая вид, что досадует на несообразительность свою и

даже забывчивость, всплеснул руками, принялся торопливо расстегивать планшет. — О главном-то я и позабыл, ну дела! Все вино твоё виновато! — Он достал сложенную вчетверо фронтовую газету. — Вот гляди, что про сына твоего написано! Он же герой у тебя! Точно! Гляди, гляди: «За исключительное мужество представлен к званию Героя Советского Союза». Понял, а? Исключительное мужество!

Строчки прыгали перед глазами летчика, он ничего не мог прочесть. Видел только фотографию. Шурец в его черной кожаной куртке, без шлема, с непокрытой головой, стоит у самолета, положив руку на плоскость. И улыбается. Точно хочет сказать: все в полном порядке, я жив и здоров, ты же видишь, отец, вот он я!..

— Понимаешь, — говорил тем временем гость, — Шурка же твой товарища подбитого из-под носа у немца взял! Тут все написано, ты читай, читай! — Он ткнул пальцем в газетные строчки, но потом, видно поняв состояние друга, прикрыл их ладонью. — Да я тебе так расскажу... Понимаешь, там у новичка одного, Сидоренко его фамилия, вынужденная получилась. Не дотянул до передовой километра три всего, сел у немца на выгон какой-то. В общем, парню хана выходила, куда там денешься, днем тем более. Шурка твой видел это дело, ну и решил выручать, все правильно. Дал своему ведомому команду прикрыть его на всякий случай сверху, а сам разворот — и нырк вниз. Понял, а?

— Что ж он не написал мне об этом?

— Так здесь ведь такое дело, к Золотой Звезде представили, хотел Указа дожидаться, потом уж и писать, все правильно. Ты слушай, как он взял того Сидоренко! Выгон-то весь с кузькину плешь был да еще по краю его высоковольтная линия шла. Для взлета надо было бы развернуть машину, но фрицы-то уже вот они, бегут, галдят. Получается — не успеть. И Шурка решил взлетать напрямик. Под линией, чертяка такой, прошел, понимаешь! Да еще по немцам из пулемета врезал... Все правильно, по закону все — Герой, за спасение товарища с территории, занятой противником, и проявленные при этом боевое мастерство и исключительное мужество. Так и написано, — и он снова ткнул пальцем в газетную страницу. — Вот привез тебе специально два экземпляра, храни.

— А что было потом, Гриша? Мне важнее, что было потом.

— Потом... Потом, понимаешь, его комэска сбили. Погода гнилая стояла, на плоскостях и на винту сплошной гололед, а тут слева вдруг солнце проклюнулось, и зашел из-под него «мессер», втихаря вывалился... Какой мужик тот комэск был! Тронов его фамилия, да... Ну Шурка твой погнался за тем «мессером». Немец в облака нырнул, уйти хотел. Шурка на крутом вираже вошел вслед за ним в облако и...

— И что? — спросил летчик. — Ты же видел!

— Ну видел, Паша... Ушла машина в облако, и все. Понял, да? Не вернулся он назад, точно канул в то облако. Пропал без вести, в общем...

Они долго молчали. Летчик пил вино. Наливал и пил, не чувствуя ни вкуса его, ни крепости.

— Хорошее вино, — сказал гость. — Редкое, видать...

Он смотрел на свой бокал, на его тонкие стенки. Густое вино оставило на них рубиновые разводы. Палец медленно скользил по краю бокала круг за кругом. И хрусталь начинал петь высоким грустным голосом.

— Ты понимаешь, — сказал гость после долгой паузы. — Указа-то не было пока. Представление к награде задержано, потому что пропал без вести. Неизвестность, в общем. Положение есть такое... Сам командир дивизии обращался к начальству. И все равно без толку.

— Где это было? — спросил летчик.

Он тронул руками колеса своего кресла, подкатил его к стене, на которой висела карта, выжидаяще посмотрел на друга.

— Хотя бы примерно можешь показать где?

— Да не примерно, а вот здесь точно. Николаевские хутора, аэродром был в пяти километрах к северу. Немца за это время выбили, территория освобождена, так что опрос местного населения верст на пятьдесят в округе делали, партизан спрашивали, видел ли кто сбитые машины, может, летчиков хоронил. Было, конечно, много таких случаев, да только данные не сходились, получалось, что не Шурка это, другой кто-то...

— Кто-то другой... У летчиков редко бывают могилы, Гриша. Одни уходят в облако, другие — в морскую глубину, третьи сгорают, не долетев до земли... Выпьем за моего Шурца, Гриша. — Он отломил кусочек хлеба, обмакнул его в вино, положил на край тарелки.

— Ты чего это? — не понял гость.

— Так делают здесь, когда хотят помянуть навсегда ушедшего человека.

— Ты что?! Да ты как?! Ты брось это! Никто еще толком не знает! А ты...

— А я знаю, Гриша. Давай за сына моего, Героя Советского Союза. Ты стоя выпей за него...

После отъезда гостя летчик несколько дней почти не показывался на террасе. Не ждал, как обычно, почтальона с газетами, не переставлял на своей карте флажки. Точно потерял ко всему интерес. И глаза у него стали какие-то необычные, смотрели на собеседника и не видели его. Совсем другим стал летчик.

— Я же говорил: все эти инвалиды, они цокнутые, — комментировал события Никс. — И этот тозе не исключение.

С Никсом никто не соглашался, даже мадам Флигель помалкивала. Никса ругали, называли плохим соседом, но он стоял на своем:

— А я говорю — цокнутый! Увидите, моя будет правда...

Иногда летчик, позвав Ромку, давал ему денег и просил:

— Смотайся за вином, будь другом.

— Ва! — удивлялся Ромка. — Вы никогда не пили вина. Какого взять?

— Все равно...

Ромка приносил вина; летчик, кивком показывая ему на стул, говорил:

— Садись...

Они сидели вдвоем, чаще молча, и тогда Ромка томился. Но иной раз летчик принимался говорить, и, хотя говорил о чем-то непонятном Ромке, тот слушал с интересом и даже поддакивал.

— Герой имеет право быть убитым, Рома. А вот неизвестно пропавшим?.. Оказывается, нет, такого права ему не дано. Странно ведь, а?

— Да, очень...

— А между тем все верно. Видишь ли, о Герое люди хотят знать все, таково уж это звание. Не должно оставаться ни доли сомнения у людей, вот в чем дело-то. Ни самой, даже малой, доли сомнения... Но это может быть только в двух случаях: если человек живет и действует как Герой на глазах у всех или если он пал

смертью героя тоже на глазах у всех. Третьего не дано, не так ли?

— Да... А кто Герой? Тот, кто приезжал к вам в гости, да?..

Дело в том, что летчик никому не показал фронтальную газету, привезенную другом. Запер оба экземпляра в книжный шкаф и ключ положил в карман гимнастерки. Никто в доме на Подгорной не знал, как спас в бою товарища тот самый Алик, что бегал тут вот, во дворе, под акациями, и было это не так уж и давно.

Оставшись один, летчик вынимал из ящика стола перетянутую резинкой пачку писем. Писали старые товарищи, боевые летчики. Он перебирал письма, вчитывался в бледнеющие строчки, повторял про себя имена ребят, и это была словно безмолвная переключка.

— Костя-большой... Погиб в Керчи...

— Анисим... Сбит над «Голубой линией»...

— Осман... Сгорел в бою на Курской дуге...

— Костя-маленький... Сбит над Днепром...

— Валька Громов... Этот еще в Севастополе. Также без вести...

Память... Она может быть шрамом, может быть болью от осколка, не вынутого хирургом, она может быть песней, которую пели когда-то, очень давно. А может быть листком старой фронтовой газеты. С выцветшими фотографиями и еще наивными стихами будущего маститого поэта.

И среди статей вдруг мелькнет несколько строк о том, как четверо наших «ястребков» вели бой с восемнадцатью «мессершмиттами». И, сбив двух «мессеров», вернулись на свой аэродром. Все четверо.

Десять скупых газетных строчек. Всего по одной строке на каждую минуту боя. А в каждой минуте — шестьдесят смертей. Секунда — и там, где только что был самолет, уже расплывается черное облако дыма и бесформенные обломки, кувыряясь, летят к далекой, изрытой боем земле...

Неладное творилось с летчиком, соседи видели это, а спросить стеснялись. Такой уж человек летчик, не любит, если жалеют его.

— Надо спросить, все равно надо! У человека горе, сын пропал без вести.

— Так ведь не убит! — говорила Мак-Валуа. — У меня племянники пропали без вести еще в сорок первом, оба, вы помните, как я тогда горевала по ним.

А в сорок третьем нашлись. Оказывается, в партизанах были, все израненные, бедняжки, но ведь живые!

— Тц-тц-тц... Проклятая война, когда ей конец придет?

— Теперь уже скоро, сосед.

— Дай бог, дай бог...

И вот однажды что-то случилось в доме на Подгорной. Что именно, никто толком не знал. Кроме Цициановой. Но она о подробностях не говорила, а раз не говорила сама, то и спрашивать ее было бесполезно, это все прекрасно знали.

Просто ночью соседей разбудил непонятный шум на террасе, и когда они выбежали наружу, то увидели летчика в его кресле-каталке, а рядом Цицианову, взволнованную чем-то, возмущенную, гневную.

— Вы должны дать мне слово офицера! — повторяла она. — Слышите, Павел Александрович, я требую: слово гвардейского офицера!..

— Хорошо, — сказал наконец летчик. Он поднял голову, посмотрел Цициановой в глаза. — Я даю вам слово. Пусть будет по-вашему... Попробую... — И, толкнув колесами дверь своей комнаты, скрылся в ней.

— Что случилось? — спрашивали соседи. — Какой-то шум, какой-то крик. Что было, Кетеван Николаевна?

— Ничего интересного во всяком случае, — резко ответила Цицианова. — Спокойной ночи!..

— Цортова старуха, — не преминул заметить Никс, когда Цицианова ушла. — Цево ей надо от целовека? Какой он ей офицер, когда он давно инвалид? Цево надо, сто случилось?..

В общем-то ничего не случилось. Но могло случиться, если б не Цицианова.

Дело в том, что в последнюю зиму под тяжестью мокрого снега рухнула винтовая лестница, соединявшая все четыре этажа дома.

Произошло это ранним утром, никто из жильцов не пострадал, но разговоров вокруг случившегося было много. Больше всех, конечно, распространялся старик Туманов.

— Когда я был хозяином дома, я ее красил каждый год. И в разный цвет, заметьте! Это была картинка, а не лестница. На вербное воскресенье ее всю украшали зеленью, а она стояла будто невеста.

— Почему тогда твой Никсик на ней не женился? —

кричал ему сверху Ромка. — Она ждала, ждала его и упала.

— Сволосы! — отвечал ему Никс. — Соб тебя в армию поскорее забрали и процехвостили бы там как следует, ободдуса такого!..

Лестница рухнула, и образовавшуюся в стене дыру наскоро заделали досками; управдом пообещал прислать каменщиков, да тут же забыл о своем обещании.

И вот через несколько дней после отъезда гостя летчик поздно ночью выехал на террасу и, разогнав свою коляску, ударил ею с размаха по дощатой ограде, закрывавшей дыру в развороченной стене. Там, за ней, была десятиметровая пропасть, усеянная ломаным кирпичом и неубранными остатками винтовой лестницы. Там была верная смерть. Несколько секунд падения, последнего полета, летчик не боялся его, потом удар, как когда-то, давно, в черном финском лесу. И все кончится. И хорошо, что кончится...

Дощатая ограда устояла. Лишь отлетели прочь две доски. Еще один удар, и она поддастся; летчик откатил коляску подальше и тут увидел Цицианову.

Она не могла объяснить себе, почему ей не спалось в эту ночь. Может быть, собиравшаяся гроза давила на сердце, а может, просто необъяснимая тревога. С ней это случалось порой, и тогда она набрасывала шаль, выходила на террасу и долго стояла, прислонясь виском к теплому резному столбу. Слушала, как шумят листвою старые акации.

Так же случилось и в ту ночь. Цицианова вышла, гонимая беспричинной тревогой, и вдруг увидела летчика. И все поняла.

— Как вы смеете?! — крикнула она ему. — Как это подло с вашей стороны! Вы же предаете сына!

— Мой сын погиб, — ответил летчик. — Все остальное бессмысленно. Бессмысленно обременять собой людей.

— Вы что, видели могилу своего сына?

— У летчиков редко бывают могилы, Кетеван Николаевна. Порой они просто уходят в облака.

— Мне шестьдесят лет. Из них двадцать три года я жду своего сына, охраняя его этим от всех бед и напастей. Я старая женщина, а вы...

— Я все равно сделаю это, Кетеван Николаевна, — летчик сказал тихо, словно не ей, а самому себе.

— Нет, не сделает! Я не разрешаю вам, слышите?

Я каждую ночь буду стоять здесь, сторожа ваше малодушие, пока вы не дадите мне слово русского офицера...

Звякнула цепочка, открылась одна дверь, затем вторая, третья. На террасе появлялись заспанные люди. Ничего не понимая, они спрашивали друг друга:

— Что случилось?..

— Что за грохот был?..

— Говорят, к кому-то с нижнего двора воры лезли, но княгиня наша успела вызвать милицию.

— А где же тогда милиция?

— Аба, откуда я знаю? Я спал...

Попытки узнать о подробностях у Цициановой, как уже известно, успехом не увенчались. Возможно, она о чем-то рассказала профессору. Возможно. Тот позволил куда-то, и на следующий день в сопровождении пожилого сержанта пришло трое военнопленных немцев.

— Где тут стенка обвалилась? — спросил сержант. И когда ему показали, небрежно махнул рукой: — Тю! Да это им всего на пару часов работы. А ежели кто закурить угостит, так и за час управятся...

— Яволь! — согласно закивали головами военнопленные и принялись таскать кирпичи.

МАТЧ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

Когда видишь человека ежедневно, то трудно уловить происходящие в нем изменения. И впрямь, ну что могло особенно измениться, скажем, в мадам Флигель? Те же очки и те же вставные зубы, которые прищелкивают и грозят покинуть ее, когда она кричит, перевесившись через перила своего заставленного цветочными горшками балкона. А что может измениться в Никсе Туманове или даже в Ромке, хотя тот и вымахал в этакое верзилу и отпустил усы? Да ничего!..

Потому и не замечали соседи, как постарел и согнулся профессор. По-прежнему каждое утро он делал зарядку, старательно растягивая эспандер. Но, видно, время и глубоко спрятанное горе были сильнее любых гимнастических упражнений.

И вот в одно из воскресений произошло событие, внешне вроде бы и непримечательное, и тем не менее оно что-то переменяло в жизни людей из дома на Подгорной.

Обычно работавший без выходных Ивин отец вер-

нулся с завода к полудню, что само по себе было необычным. И не просто вернулся, а привез с собой большие ведерные кастрюли. Шесть новеньких кастрюль.

— Откуда это?! — удивилась Ивина мать.

— Как откуда? С завода, разумеется! Сегодня мой цех выпустил первую мирную продукцию — открылся участок ширпотреба. Вот — кастрюли!

— Зачем же нам столько кастрюль?

— Почему нам! Это всем! Дирекцией принято решение всю пробную партию распределить между работниками цеха. Вышло по шесть кастрюль.

Какие это были отличные кастрюли! Просто незаменимые в хозяйстве. В них можно сварить хаши* на самую большую семью. Можно кипятить белье. Или засолить на зиму баклажаны. В конце концов, можно поочередно сделать и то, и другое, и третье. В общем, цены не было таким кастрюлям, тем более что за три с лишним года войны кухонная посуда у всех пообветшала; ее паяли, клепали, заново лудили, а о новой лишь мечтали, где ее было взять, новую-то?

Слесарь-лекальщик дядя Коля тоже принес шесть кастрюль. Вся дюжина стояла на террасе, и надо было придумать, как разделить это неожиданное богатство между всеми, не обидев никого из соседей.

— Надо их разыграть, — предложила Рэма. — Сколько квартир в доме, столько и фантиков; перемешаем их и вынем двенадцать — по числу кастрюль. Очень интересно будет, по справедливости...

И Рэма рассказала о том, как давно, до войны еще, когда она жила в Одессе, папа Гриша возил ее в Аркадию и там была лотерея, и, купив пять билетов по рублю, они выиграли живого петуха. Он целых два года потом жил на балконе, не кукарекал, но стучал по утрам клювом в стекло, будил всех. В эвакуацию петух не поехал, так и остался в оккупированной Одессе, и дальнейшая судьба его неизвестна.

— Узнаю твою мамочку, — ворчливо заметила мадам Флигель. — Не догадаться сварить его на дорогу!

— Да как же можно было есть этого петуха, бабушка?!

— Не знаю, не знаю, — упорствовала та. — А разве разумнее оставлять его фашистским захватчикам, а самим потом голодовать столько дней?..

Рэмина идея устроить лотерею была одобрена все-

* Чесночная похлебка из требухи.

ми. Одну из кастрюль поставили посредине двора на табурет, бросили в нее фантики с номерами квартир. Маленькая девочка, принаряженная ради такого случая, вытащила одну за одной двенадцать бумажек.

Объявить фамилии выигравших поручили Ромке как самому горластому не только в доме, но и на всей Подгорной улице.

— Квартира двадцать восемь! — выкрикивал он. — Геворкян!.. Молодец, тетя Ануш, не ожидал!..

— Квартира четыре! Сулеймановы!.. Вай, как везет людям!..

— Квартира тридцать два!.. Аоэ! Минасик выиграл! Манную кашу в ней варить будет, целое ведро!..

Следующая кастрюля досталась профессору. Тот долго крутил ее в руках и озабоченно хмыкал.

Потом Ромка выкрикнул фамилии остальных восьми счастливых, среди которых оказались отец и сын Тумановы. Надо сказать, что судьба далеко не всегда бывает справедливой, и поэтому ни Ивиной маме, ни дяди Колиной жене выигрыши не выпали. Правда, профессор уговорил их взять его кастрюлю, будет хотя бы одна на двух хозяек.

— Берите, берите! — убеждал он. — Мне просто ни к чему такая громадная посуда. Ну что с ней прикажете делать? Тем более я столуюсь не дома, а в институте.

Ну а что касается старика Туманова, то он в ближайший базарный день отнес свою кастрюлю на барахолку и, говорят, очень выгодно продал ее там. Ромка уверял всех, что видел, как бывший домовладелец ходил по рядам, надев кастрюлю на голову, — демонстрировал таким образом редкий товар, и что, дескать, ему, Ромке, даже удалось постучать по донышку кастрюли и задать предприимчивому коммерсанту традиционный для барахолки вопрос:

— Сколько просишь, за сколько отдашь?..

Но дело, конечно, не в этом. При чем тут барахолка? Если на то пошло, ее породила война, барахолка была одной из многочисленных тягот военной поры. И намного пережить войну ей не удалось. Кто станет втридорога покупать кастрюлю у старика Туманова, даже если тот и носит ее на голове, когда в ближайшем магазине такие же кастрюли будут стоять на полках белыми шеренгами, бери — не хочу!

Да дело не в барахолке, а в том, что Ивин отец, и дядя Коля, и сотни других заводчан уже к полудню воскресенья были дома. И в цехе, кроме броневых щитов, начали выпускать обычные кастрюли.

Велико ли дело — простая кастрюля? Но все почувствовали: близится конец войны! Наступит скоро на всей земле мирная жизнь, и почтальон, принося письма, снова будет шутить, балагурить, тешить сердца людей добрыми вестями. И люди, приглашая его к столу, наливая ему вина, скажут однажды:

— Ты совсем как Ардальон. Был до войны такой почтарь в нашем районе. У него потом оба сына погибли...

— Вы знаете, — говорил профессор, — война, она не только разъединяет и ожесточает людей, что ужасно, она и объединяет их, сплавливает, закаляет духовно. Перед лицом великой социальной опасности совсем еще молодые, не искушенные жизнью люди совершают удивительные подвиги во имя таких высоких человеческих идеалов, как любовь к родной земле, к ее свободе и независимости... Пока шла сегодня наша импровизированная лотерея, я смотрел во двор и видел его таким, каким он был во времена волейбольных баталий. Нет, право: все четыре террасы полны зрителей!.. — Профессор почему-то не упомянул о флигеле, хотя на его балконе, пока разыгрывались кастрюли, были и мать и дочь. Кастрюли, да еще даром, это вам не прыгающие у сетки пожилые несолидные мужчины. — И вот я подумал, дорогие мои соседи: а ведь сегодня воскресенье, и мы все дома, и чудесная погода к тому же. Давайте сюда сетку, черт возьми! — крикнул он высоким голосом. — Предлагаю матч двух поколений! Николай Андреевич, вы назначаетесь капитаном команды ветеранов, согласны?

— А что? — встрепенулся дядя Коля. — Да запросто обыграем молодежь! Где это у меня мяч-то лежит? Счас мы его подкачаем...

И матч состоялся. Судил его летчик. Он сидел, как и в прежние времена, на террасе, зажав в зубах пластмассовый спортивный свисток.

— Сэтбол! Мяч на игру!..

Ветераны проиграли с разгромным счетом.

— Давайте усилим вашу команду, — миролюбиво предложил Минас. — Я могу перейти к вам и вот... Джуля тоже.

— Что такое?! — вздернул бородку профессор. — Никаких переходов! Мы просто еще не разыгрались, не вошли, так сказать, в спортивный раж. Нет, Николай Андреевич, вы поглядите-ка на этих самонадеянных молодых людей!

— Счас мы им, профессор, насыпем, — заверил дядя Коля. — Счас насыпем!..

Большая половина зрителей «болела» за ветеранов. Даже обычно невозмутимая Цицианова и та спросила летчика с тревогой в голосе:

— Как вы думаете, им удастся это?

— Что именно? — не понял ее летчик.

— Ну это... «насыпать», в общем...

Насыпать не насыпать, но следующая игра была за ветеранами — в самый последний момент им удалось выиграть решающий мяч.

— Это случайно! — орал Ромка. — Играем контрольную! Мяч слабой команде!..

Но и в «контрольной» повезло ветеранам, и снова исход игры решил всего одно очко.

— Не считается — мы поддавались! — надрывался Ромка. — Из уважения, ну! Играем еще три раза! Окончательно!..

Это было чудесное воскресенье. И даже Жора-моряк, прикативший на своей тележке по сугубо деловым вопросам, не посчитал возможным отрывать Джульку от такой игры. Он терпеливо дождался конца, причем «болел» в отличие от большинства за команду молодых, а когда мяч улетал в нижний двор, то кричал вместе со всеми:

— Аба! Автора-а!..

* * *

В «загородном универмаге», как величали ба-рахолку, Джулька купила себе сногшибательное платье.

— Ва! Такие деньги отдала! — сетовал по этому поводу Ромка. — А мне на кино жалеет, говорит: школу окончил — иди работай, нечего у меня кланяться. Еще сестра называется!

— Слушай, а ведь Джулия права, — возразил ему Жора-моряк. — Она же всю вашу семью тянет и учится еще. Почему бы тебе не помочь ей? Ты же на двух ногах. И руки тоже имеются.

— Руки! — возмутился Ромка. — Ноги!.. При чем руки-ноги? Я не могу эти «Темпы» набивать! Засыпаю сразу, ну.

— Тогда подыщи себе что-нибудь другое, где не заснешь! — Жора-моряк начинал сердиться.

— Ищу! Что, не ищу, думаешь?.. Только в райвоенкомате говорят: к новому году готовьте кружку-ложку, призывать будем...

Если Джулька не любила, когда ей делали замечания, то Ромка не любил этого вдвойне. Однако слова Жоры-моряка задели его куда сильнее, чем бесчисленное количество таких же точно слов, сказанных другими, начиная от матери и Джульки и кончая мадам Флигель.

— Ноги-руки! — ворчал он. — Ва, что за люди, что за люди!.. Думаешь, я не знаю, зачем ты себе платья-туфли и кофточки-мофточки покупаешь?

— Знаешь, ну и что? — невозмутимо отвечала Джулька.

— Все равно он на тебя не смотрит. В волейбол играли, все время Рэме мяч подавал, а на тебя кричал, и все.

Джулька шурила свои прозрачные светлые глаза, точно всматривалась во что-то. Возможно, представляла заново, как, спохватившись — кончается увольнительная! — Рэма заспешила с волейбольной площадки домой, и через несколько минут вниз по лестнице флигеля сбежала уже не девушка в сатиновых шароварах и майке, а маленький солдатик с узкими крылышками погон.

«Нет, — подумала Джулька. — На нее он тоже не смотрит. Там смотреть не на что...»

А Ромке сказала:

— Не в свое дело не суйся.

— Интересно! — Ромка даже руками всплеснул. — Я твой брат! Пока отец на фронте, я за тобой смотреть обязан, поняла? Отец вернется, спросит, я ему что должен сказать? Вай, папа-джан, твоя дочь за нашим соседом бегаёт, за Ивкой Русановым, ну! А за ней, папа-джан, Жора-моряк на своей тележке с подшипниками.

Если бы не Ромкина реакция, отточенная долгим опытом, коробка от папиросных гильз угодила бы ему прямо в нос. Но Ромка вовремя увернулся.

— Где ваша совесть?! — крикнула из кухни мать. —

Перед квартирантами стыдно! Ты зачем ее заводишь? Клянусь, все отцу в госпиталь напишу, все!..

Ромкин отец был ранен. В первом же бою, который приняла его рота. Ночной бой за маленькую полусожженную деревушку. Она стояла на голом бугре, изрытом траншеями, и никому не была бы нужна, когда бы не этот бугор, единственный на всю округу. Жители давно покинули свои дома, ушли куда глаза глядят, и теперь деревушка, обнесенная рядами проволочных заграждений, прикрытая дзотами и минными полями, мрачно темнела на бугре, безмолвная и неприступная.

— Приказано нам взять ее, — сказал комроты просто, как будто разговор шел о самом обыденном деле. — Командная высота, с нее здесь все просматривается. Поэтому приказано взять и закрепиться до подхода батальона. Ясно?..

«Ва, как мы ее возьмем? — с тревогой подумал Ромкин отец. — Пока добежим, всех убьют. Где здесь спрячешься, ровное место кругом...»

В полночь стылый мрак, висящий над траншеей, красной стрелой прожгла ракета.

— Пошли, ребята! — сказал комроты по-прежнему просто, словно приглашал на прогулку. — И чтоб все, как один, ясно? Нам ее с ходу взять надо, иначе ни хрена не получится...

«В меня три пули попало, — писал домой Ромкин отец, — но я до утра не ушел из окопа, пока нам замену не прислали. Мой командир роты приказ давал: «Уходи, Чхиквишвили, ты свое дело хорошо делал!» Но я не пошел, сказал: «Только вместе со всеми, это мое твердое слово!» Замечательный, между прочим, человек оказался комроты. Мы с ним рядом в атаку бежали как два родных брата.

Теперь я в госпитале. Ничего, врач все пули вытащил, говорит: долго лечить будем. Может, даже отпуск мне устроит, потому что очень меня уважает...»

Все обстояло, конечно, далеко не так, как описывал Арчил Чхиквишвили. В первом варианте письма пуль было шесть, целая автоматная очередь. Потом он передумал, написал: три. Ну а если по правде, то хватило ему и одной. Она ужалила в плечо, прожгла насквозь. От боли и страха перехватило дыхание, хотел крикнуть: «Помогите! Умираю!..» — да не смог, упал головой вперед, в холодную жидкую грязь. Хорошо, комроты рядом оказался.

Ранение было неопасным; через три недели главный врач госпиталя сказал во время обхода:

— Ну а этого пора выписать, у него все уже в абсолютном порядке...

Как хотелось возразить ему: «Слушай, дорогой, какой там порядок?! А если опять кровь потечет, кто отвечать будет?»

Но не решился рядовой Чхиквишвили сказать эти слова — больно уж суров на вид был главврач, не стоило с ним связываться.

О таких подробностях в письмах, конечно, не пишут. Пусть жена, дети и соседи тоже другое прочитают, тогда по-другому о нем подумают, уважение будут иметь...

После памятного разговора с Жорой-моряком о «руках-ногах» Ромка долго ходил с озабоченным видом, не упуская случая бросить многозначительно:

— Слушай, работу хорошую ищу. Чтобы Джулька, забурда, не ругалась, ну!..

Он перебирал в памяти все, что ему предлагали. Дядя Коля, тот хотел взять его учеником на завод.

«Нет, — думал Ромка, — на завод не пойду! Не нравится мне завод: трах-бух, шум, дым, опаздывать нельзя, зарплата у ученика маленькая, а пока научусь чего-нибудь делать, повестка из военкомата придет насчет кружки-ложки. Не, не надо завод...»

У тети Вардо был знакомый начальник пожарной охраны, она даже чуть не вышла за него замуж. Так вот тот ее усач предлагал устроить Ромку по пожарной части.

— Настоящее мужское дело! — говорил он. — Человек из вашего племянника выйдет.

«Этого мне еще не хватало! — Ромка представил себя пожарным. — Сидеть весь день в медной каске, играть в нарды и ждать, пока кто-нибудь позвонит: вай-вай, ноль-один, быстро приезжай, спасай, горим!.. Пока приедешь, там все уже сгорело или не думало гореть — просто все смеются, поздравляют с первым апреля. На черта мне это нужно?..»

У той же тети Вардо был еще один несостоявшийся жених. Тоже усатый, но не из пожарной охраны. Работал он шеф-поваром в хинкальной, открытой на правах коммерческой закусочной. Тетя Вардо не вышла за повара, потому что он был очень толстый и лицо у него

похоже на помидор. Только не на тот помидор, что с грядки, а на тот, который с шашлычного шампура: и красный, и черный, и вдобавок сморщенный.

— Зачем путать розу с помидором? — говорила разборчивая тетушка Вардо *.

Так вот этот хинкальщик тоже предлагал Ромке место своего подручного.

— Хорошая работа, сынок. Что может быть красивее, чем горячие хинкали рядом со стаканом холодного кахетинского вина? И эту красоту ты для хороших людей делаешь!

— А что, плохих в хинкальную разве не пускают?

— Ва! Какой язык имеешь? Тебе же старшие добра хотят...

«А что? — думал Ромка, вспоминая разговор с уса-тым помидором из хинкальной. — Стряпать, это интересно, это я люблю. А в хинкальной всегда народу много, весело. Придут ребята, Ивка придет, Минасик, выйду к ним в белом фартуке, скажу: «Аба, садитесь, сейчас сварю свежие хинкали по особому заказу, только для вас! Деньги спрячьте, какие деньги, вы что?! Я угощаю!..»

И Ромка дал согласие. Однажды утром вышел из подъезда вместе с сестрой. Дворники ожесточенно шаркали метлами по щербатым плитам тротуаров. Прислонившись спиной к фонарному столбу, сидел на тележке Жора-моряк, ждал Джульку.

— Привет! — крикнул ему Ромка. — Хинкальную на Пушкинской знаешь? Я теперь там работаю. Приезжай — угощаю!

ТАРАН

Рассеченный пополам «мессершмитт» падал вниз, разваливаясь в воздухе на куски. Алик почувствовал, как после удара содрогнулась его машина, пошла вверх крутой свечой, а потом, замерев на мгновение, точно у нее захватило дух от этой стремительности, стала падать вслед за разбитым «мессером».

Все произошло настолько быстро, что Алик не сразу оценил происходящее. Почему-то вдруг вспомнилось, как комэск Тронов, рассказывая про утиную охоту, говорил:

* Варди — по-грузински «роза».

«Если после выстрела птица резко взмывает вверх, значит, ранена в голову, с добычей ты, значит...» Он страстный охотник, майор Тронов, с мальчишеских лет еще...

И вот только тут все стало на свои места. Комэск Тронов был страстным охотником. Был! Был, потому что его сбили десять минут назад. Сбил тот самый «мессер», что валится сейчас грудой бесформенных обломков в задернутую туманом бездну, к невидимой с этой высоты земле.

Не принимая боя, он долго и ловко уходил от Алика, заманивал его все дальше и дальше, будто знал, что у несущегося за ним истребителя горючее на исходе. И боезапас тоже.

Последний пунктир трассирующих пуль прошел изорванное ветром облако. «Мессер» уходил. Целый и невредимый, безнаказанный и торжествующий победу. Десять минут назад он подкрался, ударил очередью по машине комэска и тут же скрылся в густых, похожих на грязную вату облаках. И теперь после этой долгой и упорной гонки не достать его, не поджечь, не врезать в землю — нечем! И назад не вернуться — не на чем, горючее почти на нуле.

Да и как возвращаться? Чтобы снилась потом, пока жив, горящая факелом машина комэска и призрачный силуэт тающего в ненастном небе «мессершмитта»?.. Как же можно возвращаться?..

Решение пришло само собой. Последнее усилие мотора, отчаянный бросок вперед — и мгновенно выросший, словно вздувшийся, серый корпус «мессера». Он яростно надвинулся, и Алику показалось, что в несущейся навстречу туманной мути висит лицо, застывшая маска. Впрочем, возможно, причудилось. Все смял страшный удар. Алик под острым углом врезался краем плоскости в фюзеляж «мессершмитта». Сначала показалось, что он завяз в нем и теперь оба истребителя, вцепившись друг в друга смертельной хваткой, понесутся к земле, и только она оборвет их бой.

Но машина пошла свечой вверх, и Алик увидел, как ввинчивается в воздух разрубленный им «мессер».

«Все! — подумал он. — Это за комэска...»

Надо было прыгать. Заклинивший колпак плохо поддавался. Алик дергал его изо всех сил, молотил по упругому плексигласу кулаками.

Наконец, с трудом протиснувшись в узкую щель, он хлебнул тугого, как вода, ветра и на какое-то время потерял сознание.

Стропы дернули его за плечи, словно встряхнули, чтоб напомнить о земле. Она была совсем рядом. Горячая волна взрыва ударила снизу, смяла купол парашюта; пронеслась перед глазами серая полоска неба и бурая — земли. Алик упал на бок, несколько минут лежал не двигаясь, накрытый сухо шуршащим шелком.

Было тихо. Лишь потрескивал догоравший сырой кустарник, да где-то далеко, за хилым болотным леском, глухо перекатывалась не то канонада, не то собирающаяся гроза.

Алик попробовал привстать. Тупо болело бедро; он осторожно ощупал его. Комбинезон разорван, мех от пропитавшей его крови слипся сосульками.

«Только бы не перелом...»

Выбравшись из-под парашютного купола, Алик стащил с себя комбинезон, осмотрел рану. Она показалась ему неглубокой. Видно, при падении зацепил за что-то острое...

Индивидуального пакета у него не было; аптечка осталась в самолете. Алик и в руки ее не брал ни разу — когда это летчику придется бинтовать себя? Где и как? В кабине летящей машины, что ли?.. Ну а на земле, на земле он может быть только у своих. Там и бинты найдутся, и санинструкторы.

Он вынул нож и принялся нарезать бинты из парашютной ткани. Кто мог подумать, что выйдет так, как вышло? Да и много ли шансов было уцелеть после тарана? Один из десяти, не больше. Вот он и выпал ему, этот шанс.

Алик принялся бинтовать рану, но ничего не получалось — бинты соскальзывали с бедра, сбивались в комок, он никак не мог приноровиться. Потом наловчился, и дело пошло. К ноге чуть пониже раны он прибинтовал комсомольский билет, летнюю книжку и фронтовую газету, оказавшуюся в планшете. Карту, остатки парашюта, планшет бросил в догоравший костер. Вырезав палку, он переложил за пазуху пистолет с запасной обоймой и медленно побрел к темневшему вдали лесу.

Солнце нехотя скатывалось за верхушки реденьких осин. Синие сумерки висели в сыром, пахнущем снегом воздухе.

Садилося сонце за спиною у Алика. Значит, он шёл на восток, к линии фронта. До нее было километров семьдесят, а то и больше — далеко затянул чертов «мессер». Ну да ладно, зато посчитались за комэска...

С мелкой колдобины, громко хлопая крыльями, поднялась запоздалая утка. И Алик снова вспомнил, как рассказывал про охоту комэск Тронов, как еще сегодня утром, хлопнув Алика по плечу, спросил весело: «Ну что, Пинчук, скоро будем звездочку твою затверждать по фронтовому нашему обычаю — в полной стопке, а? — И сам же ответил: — Скоро, скоро, Саша! Так что готовься!..»

Никто не называл его так — Сашей. Только комэск Тронов...

* * *

Алик потом никак не мог вспомнить лица этих двух. Какие-то безликие были люди. И одинаковые. Два невыпеченных блина, прожженные дырочками глаз. Два драповых пиджака, перепоясанных армейскими ремнями. Две пары деревенских яловых сапог, перепачканных болотной жижей. И еще белые повязки полицейских, стягивающие рукава телогреек.

Двое нависли над Али-





ком: один справа, другой слева. Стояли молча и неподвижно, как врытые. Он не сразу сообразил, кто это и почему стоят тут, всматриваясь в него пустыми дырочками глаз. А поняв, сунул руку за пазуху.

— Зря, — сказал стоявший справа. — Пистолетик-то вы проспали, товарищ командир. Вот где пистолетик-то ваш, — и он подбросил на широкой ладони вороненый ТТ.

Собственно, Алик и очнулся от ощущения того, что кто-то расстегивает его комбинезон. Но сознание прорезалось не сразу, все казалось, что это сон, что он спит в блиндаже, на своей койке, безмерно усталый после многих вылетов, и комэск Тронов теребит его за ворот, спрашивает строгим голосом: «Ты чего это, Пинчук, дрыхнешь не раздевшись? А ну, Саша, подъем!»

— А ну подъем! — Это сказал кто-то из двух, стоявших над ним.

Алик с трудом поднял тяжелые веки. Последний день он шел уже как в бреду. Болела рана, все время хотелось пить. Благо воды вокруг было много. Алик припадал лицом к холодным, тронутым ледком баклушам, и сразу становилось легче. Он понимал, что у него температура и, наверное, высокая. То ли от раны, то ли простудился, ночуя на поседевшей от инея земле.

Три раза садилось солнце за его спиной, а он все шел, терял последние силы. Есть почему-то не хотелось хотя ел он всего лишь раз — нашел в заброшенной сторожке невесть как уцелёвшие ржаные сухари. Пять каменно-твердых, больших сухарей. Он размочил их в воде и съел.

Встретилось на пути несколько деревень. Они выглядели безлюдными, брошенными теми, кому, может, и удалось уцелеть в них; ни огня, ни дымка, ни голоса. Но Алик все равно обошел деревни стороной, не хотел рисковать.

Ни одного человека за все три дня. И вот вдруг сразу двое...

— Так что подъем, товарищ командир! Чего разлеживаться? Фатит ночевать, пошли...

Опираясь на палку, Алик поднялся.

— Никуда я не пойду! Можете стрелять.

— А это уж как мы порешим. Тебя не спросим. Шагай, говорят!

По краю поляны, до которой добрел накануне Алик, вилась узкая дорога. В сумерках он не заметил ее, и вот теперь придется расплачиваться за это.

На дороге стояла телега; лошади, опустив мослатые морды, дремали.

— А добрый, гляжу, у тебя комбинезончик, товарищ командир, — сказал один из полицаев. — Дорогая вещь! И сапоги на меху, считай, новые. — Он бесцеремонно сунул ладонь за голенище Аликиных унтов. — Мех-то, глянь, Колтун, псячий, теплый. И размер, слава те господи, подходящий...

Телега ходко шла по схваченной морозом дороге. Каждый толчок остро отдавался в ране, будто кто-то безжалостно тыкал в нее пальцем. Алик закрыл глаза; чувство бессилия перед этими двумя в телогрейках с повязками, перед этой дрянью, наверняка трусливой и слабой, тоской сжимало сердце. Что может быть страшнее чувства бессилия, когда ты лишен возможности бороться, когда нет рядом товарищей, и ты один, и все против тебя!..

Зачем нужно было выламывать заклинивший колпак, зачем было брести три невыносимо долгих дня? Чтоб лежать сейчас в этой телеге, мучаясь от бессилия и тоски? Лучше бы уж вместе с самолетом, в землю...

— Давай, Колтун, к кордону, — сказал тот, что щупал унты, — там твоя жинка сыщет ему сменку. А потом уж, помолясь, и в село с божьей помощью.

До этого они о чем-то вполголоса переговаривались, Алик не понял о чем. Телега, подпрыгнув, выбралась из глубокой колеи, свернула на проросшую травой гать и въехала в лес. Вначале Пинчук пытался запомнить дорогу, но осины, тянувшиеся по краю гати, плыли в каком-то странном, нелепом танце; голову сжимали горячие обручи, и ничего нельзя было понять: то ли кружатся осины вокруг замершей посреди леса телеги, то ли, напротив, телега мчится по заколдованному кругу, дробно стуча коваными колесами по бревнам гати. И солнце в небе черное и круглое, как волейбольный мяч. Оно стремительно летит через сизую сетку голого леса. Надо изловчиться, отбить его, перебросить обратно. И отец, сидя на террасе со спортивным свистком в руке, кричит:

«Сэтбол! Мяч на игру! Ты слышишь, Шурец: мяч пошел на игру!..»

Когда к Алику вернулось сознание, то вокруг не было уже ни леса, ни гати, идущей через него. Не было и телеги. Он лежал в одном белье на деревянной лавке, застеленной дерюгой. В маленькие подслеповатые оконца прямыми лучами било закатное солнце.

За столом сидели оба полицая и женщина в надвинутом на самые глаза платке. Полицаи ели щи, низко и часто склоняясь над столом, точно клевали глиняные миски. Женщина шила что-то. Присмотревшись, Алик узнал свой комбинезон. Он был разрезан пополам, видно, поделен на куртку и на штаны.

Осторожно тронув бинты, Алик нащупал то место, где были спрятаны комсомольский билет, летная книжка и газета. Все на месте, никто и не думал его перебинтовывать.

— Зашевелился, товарищ командир, жив, значит? — сказал полицай, которого другой называл Колтуном. — Ну и ладно, зараз поедем.

— Бог даст, довезем живого. Нам свою службу тоже показать надо, что не по хатам сидим, а доглядаям. Верно, а?

— Значит, так, — прервал его рассуждения Колтун, — слухай, что скажу тебе, товарищ командир...

— Какой... я вам... товарищ? — Алик медленно выговаривал каждое слово, губы распухли от жажды и не слушались. — Предатели... Родины вы!

— Ладно, это нам без разницы. Не господином же тебя называть. Ты лучше слухай, чем агитацию вести. Щас мы тебе сменку дадим одеть, щоб твое командирское обличье нарушить. И отвезем, значит, в Каменный Брод. Тама тебя потом в лагерь отправят, как положено. Ежели сразу не помрешь. Но гляди — прознають, шо ты летчик да командир к тому ж, на месте пристрелят! Потому про шмотки свои молчи молчком. Нам они сгодятся, а тебе через них верная смерть выйдет, понял?

— Мы б тебя тоже стукнуть могли, делов на копейку, — добавил другой. — Однако ж милуем по-христиански. Захочет бог, выживешь...

Женщина принесла из чулана рваные красноармейские галифе и гимнастерку.

— Постолы дай ему. Старые, — сказал Колтун.

— Обойдется.

— Дай, говорю! Не босого ж мы его взяли, дура! Ноги разбитые, выходит, разули. Спрос чинить станут,

что да как. От же бабы, ну совсем без понятия! — Он придвинул Алику миску со щами. — Похлебай, а то дойдешь еще.

— Не буду!

— Эх ты! Глянь, гордый какой! Ну да ладно, там смирят, энто у них зараз...

Они продолжали черпать из мисок большими деревянными ложками. Несли их ко рту, придерживая ломтями ржаного хлеба. Посмотреть со стороны — люди как люди. Что ж толкнуло их на путь предательства и подлости? Жадность, трусость или затаенная в глубине души злоба на все советское?

Алик отвернулся. Нога под ссохшимися бинтами саднила, малейшее движение вызывало боль. Он закрыл глаза, не хотелось ни о чем думать. Заснуть бы вот так и не просыпаться больше.

Вслушиваясь в гул растревоженных ветром сосен, Алик пытался вспомнить, как шумят листвою старые акации во дворе его дома, и не мог. Сосны шумели совсем по-другому, сурово, их низкий голос заглушал тихо звенящую песню акаций. Разве долететь ей сюда, разве пробиться сквозь грохот, огонь и гарь разрушившей все войны?..

Алику никак не удавалось точно определить, сколько времени прошло с того момента, когда его истребитель, смяв «мессершмитт», стремительно вошел в последнее свое пике. Время слилось в один бесконечно длинный, тягостный день, в одну беспросветную ночь. Они не сменяли друг друга, а как-то блекло и тоскливо тянулись вместе, словно тяжелый сон. Страх не было. Ни разу за все это время Алик не ощутил расслабляющего душу страха. Была ярость, это когда он бросил машину на таран; были настороженность и острое чувство опасности, когда шел мимо сожженных карателями деревень; были ненависть и бессилие, когда полицаи везли его на тряской телеге и осины, кружась, протягивали из тумана голые ветки, будто хотели помочь, да не знали, как сделать это...

— Ну шо ж, поели — и с богом, — сказал Колтун. — Ехать надо, покудова не стемнело... Ты, командир, гимнастерочку-то с портками чого не одеваешь? Али помочь тебе прикладом?

— Идите вы!..

— Одевай, говорю!

Они стали напяливать на него гимнастерку.

— Ишь какой, супротивица будет ешо! Дай, Колтун, ему по кумполу, чоб не кочевряжился.

Алик с силой отпихнул навалившегося полица, схватил лежавший под лавкой обломок шкворня, замахнулся, но ударить не успел — Колтун, изловчившись, сжал ему горло твердыми, словно деревянными пальцами.

«Конец, — с каким-то безразличием подумал Алик. — Конец...»

Когда он очнулся, в избе было совсем темно. Лишь у стола желтым глазом тлела масляная плошка. Она чадила, ее огонек то падал, превращаясь в тускло светящееся пятно, то, потрескивая, взвивался вверх. Колтун, склонившись над столом, вглядывался в строчки газетного шрифта. Потом принялся читать вслух, негромко, глухим ровным голосом. Плошка бросала на измятую газету желтые отблески своего слабенького огня. Алик слушал знакомый до слова очерк фронтового корреспондента, что приезжал в полк. Слушал, и ему казалось, что это вовсе не о нем, не о младшем лейтенанте Пинчуке, а о ком-то совсем другом, оставшемся там, далеко, на полевом аэродроме, близ городка с необычным названием Николаевские Хутора.

Кончив читать, Колтун аккуратно сложил газету, обернул ее тряпицей, спрятал в карман пиджака.

— Ну вот... — сказал он. — А я гляжу, чого это он все повязку на ноге проверяет? Думаю, мозжит, видать, рана, присохли к ней тряпки. А там, видал, шо запрятано? Эге! Большую мы птицу словили.

— Бог нам помог, Колтун, милость свою этим выказал.

— Бог, это конечно... — Он повернулся к жене — А ну, Евдокия, де там его одёжа?

— Это зачем еще?!

— Сдавать будем героя этого при всей форме. Самому главному начальнику, господину Кёлеру. Такое дело нам большой наградой обернется, поняла, дура? С утра поедем, с утра вернее. Давай, говорю, одёжу его!..

СС. ЗОНДЕРКОМАНДА 6А

Командир девятого охранного батальона СС гауптштурмфюрер Отто Кёлер заканчивал обстоятельный отчет о выполнении батальоном операции по выявлению

и ликвидации партизанских групп, а также лиц, подозреваемых в сочувствии партизанам или оказывающих им помощь.

*«Особо секретно
Начальнику зондеркоманды ба
штурмбаннфюреру Г. Зингеру.*

Довожу до Вашего сведения, что батальоном за последние десять дней проведены три акции по блокированию разрозненных партизанских групп, отходящих на соединение с основными силами в район Ржавка — Таемное — Сырой Бор.

Все деревни на пути предполагаемого отхода партизан нами сожжены, часть жителей ликвидирована, часть собрана в общежитиях для отъезжающих в Германию в количестве и в соответствии с полученной нами инструкцией.

После нападения партизан на лагерь военнопленных в Верхне-Лесном приняты следующие меры: перекрыты дороги, ведущие к обширным лесным массивам, усилено патрулирование и общее наблюдение, действия батальона координируются с действиями ГФП *-582. Сумма этих мер дала ощутимые результаты. Все подозреваемые задерживаются и после предварительного дознания направляются во временный лагерь в Каменный Брод для последующей эвакуации согласно полученной инструкции...»

В самом конце своего отчета Отто Кёлер просил представить к наградам отличившихся карателей. И прилагал список из семи человек.

Первым в списке стояла фамилия Горобца.

«Особо старателен, — писал о нем Отто Кёлер. — В составе зондеркоманды состоит с августа 1942 года; участвовал в ряде карательных акций на Северном Кавказе, на Дону и в Белоруссии, где проявил решительность в действиях, исполнительность, преданность рейху...»

Горобец... Под этой фамилией в девятом охранном батальоне СС состоял Люлька Карадашев, больше известный под кличкой Кривой. Как приклеил ее тогда этот Вальтер, черт бы побрал фашиста проклятого, сколько страха пришлось из-за него натерпеться! Служба в зондеркомандах тоже была не сахарной, того и гляди срежет партизанская пуля. Ничего не спасет, если

* «Гехайме фельдполицай» — тайная полевая полиция.

не научишься хитрить и не сумеешь подставить под эту пулю другого, ну а сам тем временем стараешься проявить себя в другом месте, где-нибудь подальше от всей этой лесной стрельбы, когда за каждым деревом прячется смерть. Куда лучше выслуживаться, ловить или стрелять людей безоружных, а значит, безопасных. Жечь их дома, угонять скот, грабить имущество. Все можно, пожалуйста, делай, что тебе говорят, Кривой! Что не говорят, тоже делай. Главное, чтоб начальство было довольное тобой. Очень опасное начальство. Люлька боялся его как огня, понимал: для всех этих Вальтеров да Кёлеров жизнь Карадашева — копейка. Вообще ничто. Что захотят, то и сделают, на них жаловаться некому.

Сколько раз приходила в голову мысль удрать из команды! Запастись нужными бумажками, скинуть форму и смыться куда подальше. Золотишка поднакопил он прилично, надолго хватит; а в той суматохе, что творится вокруг, можно и еще пожить, без риска причем.

Ну а кончится война, он, Горобец Тарас Иванович, бывший красноармеец, так что милиция пускай Карадашева ищет, если ей делать нечего.

В последнее время Люлька все чаще вспоминал милицию. Дошло до того, что однажды приснился ему капитан Зархия.

А как тут не вспомнить? За два года вон куда пришла зондеркоманда — к самой германской границе! Выходит, в плохое дело впутал его этот проклятый Вальтер, взял тогда на испуг, а теперь что делать? Теперь милиция ни при чем, совсем другие начальники с ним разговаривать будут, если поймают, конечно. Надо, чтоб не поймали, потому что разговор у них короткий получится, это факт.

«Думать надо, думать! — твердил себе Люлька. — Смотреть! Не бывает так, чтобы кругом стена, обязательно где-нибудь дырка есть. Значит, смотреть надо, ну искать!..»

И он искал, упорно и осторожно. Гнал от себя опасное желание просто удрать из охранного батальона. Куда удерешь? А если поймают?

У Люльки все внутри холодело, когда он представлял, что сделают с ним, если поймают. Не немцы даже, не этот дохлый штурмбаннфюрер Зингер, а свои, каратели из батальона, «соратники по оружию», так сказать.

Лучше уж в плен к партизанам попасть, там расстреляют, и все, а эти так просто на тот свет не отпустят. Хуже последних собак они. Следят друг за другом, доносят, выслуживаются перед начальством, за бутылку самогона продать могут.

Люлька ненавидел их и боялся. И знал, что они тоже боятся его, потому что он на хорошем счету у самого Ганса Зингера, начальника зондеркоманды ба.

Это был первый немец, которого увидел Люлька, если не считать Вальтера и старика Михеля, того, что сшил ему перед самой войной шикарные сапоги с носками «царского» фасона. Именно Зингер задержал их с Вальтером на рассвете уже по ту сторону перевала, когда вышли они из мелколесья и спустились к шоссе, ведущему в город.

— Halt! — услышал Люлька знакомое по кинофильмам слово.

— Nicht schiessen! * — крикнул Вальтер и бросил на землю пистолет. До этого он все время держал его в руке, будто угадывал Люлькины мысли.

А мысли у Люльки были вот какие: бросить к чертям этого Вальтера, не тащить его дальше, а уходить одному побыстрее, пока не нагнали. Тот сержант с КПП успел все же выстрелить; падая уже, ударил из карабина в упор, прострелил Вальтеру ногу. Жалко, что не голову! Сколько пришлось Люльке потом помучиться из-за того, что промазал сержант, не попал куда нужно.

Карабин грохнул над самым ухом, оглушил, и непонятно было, в кого стреляли. Люлька подумал — в него. Он упал на тропу, ударившись лицом о камни, и лежал неподвижно, боясь пошевелинуться, не понимая до конца: жив ли, ранен или все же цел?

Из оцепенения вывел его окрик Вальтера:

— А ну вставай, Кривой! Что, штаны мокрые?

— Зачем так говоришь, хозяин?.. — пробормотал Люлька, поднимаясь. — Этот упал, — он кивнул на лежащего поперек тропы сержанта, — меня тоже сбил. Головой я ударился об камень, видишь? — И Люлька потрогал пальцами разбитое лицо.

— Хватит болтать! — оборвал его Вальтер. — Помоги сапог стащить.

* Не стрелять! (нем.).

Он сидел на ступеньках сыроварни, положив простреленную ногу на ящик.

— Может, разрежем? — спросил Люлька.

Он вспомнил свои роскошные сапоги, как резал их финкой, чтоб не достались капитану Зархия.

— Режь! Некогда возиться!

Люлька вынул нож, распорол голенище. Пуля пробила икру навывлет, кровь темной струйкой стекала к щиколотке. Вальтер нажал пальцами повыше колена, кровь перестала течь.

— Бинтуй!

— Чем, хозяин?

— Стащи с кого-нибудь из них рубаху! Быстрей, Кривой!

Когда нога была перебинтована, Вальтер попробовал встать на нее. Ничего не получилось.

— Сколько нам еще идти? — спросил он.

— Если будем спешить, за три часа дойдем до перевала.

— Будем спешить...

Вальтер переложил пистолет в левую руку, правой обхватил Люльку за шею.

— Брось-ка финку в костер.

— Зачем, хозяин?

— Брось, говорю!

— Пожалуйста...

«Ва! Как он догадался? — с изумлением подумал Люлька. — Все знает, фашист проклятый!..»

Он швырнул нож в огонь, сноп искр взметнулся к небу, осветил лежащих у тропы солдат и старика в бурке.

— Пошли! И не вздумай сбиться с дороги, иначе это будет твоей последней ошибкой в жизни, понятно?..

Там, за перевалом, первым из рассветной мглы вынырнул Ганс Зингер, щуплый, верткий, в длинном клечатом плаще и в каске.

Держа пистолет наготове, он отрывисто спросил о чем-то у Вальтера. Тот ответил, как показалось Люльке, сердито.

В ту пору Зингер был всего лишь унтерштурмфюрером*; это потом он стал важным начальником. Люлька начинал свою службу во взводе, которым командовал «маленький Ганс». За два года тот сумел заработать погоны штурмбаннфюрера** и личную благодар-

* В переводе на зрмейское звание — младший лейтенант.

** Майора.

ность Адольфа Гитлера за карательные операции в Белоруссии. Последним обстоятельством Зингер особенно гордился. Он вообще был без меры хвастлив, этот «маленький Ганс». Послушать его — во всем рейхе не сыщешь второго такого храбреца. Но Люлька-то знал истинную цену этой славы — из-за чужой спины руками размахивать да орать любой дурак может. Зингер всегда был там, куда не долетали партизанские пули, хотя, если судить по отчетам в эйнзацгруппу, каждой удачной операцией руководил он лично, начальник зондеркоманды ба, и никто другой!

«Все они такие, — думал Люлька. — Ладно, пускай что хотят делают, мое дело о себе помнить...»

Вальтера тогда сразу увезли в госпиталь, и Люлька никогда больше не видел его.

«Наверное, шишка этот Вальтер, — решил он. — Вон как вокруг него забежали, когда сказал им что-то. Надо мне быстрее по-немецкому научиться...»

Люльку под конвоем доставили в шрайбштубе* зондеркоманды, долго допрашивали там. Потом дали подписать заявление-обязательство о том, что он согласен добровольно служить германским властям, всемерно помогая им в установлении «нового порядка», и на следующий день зачислили во взвод к «маленькому Гансу».

— Наша работа заключается в ликвидации ненужных Германии или опасных для нее элементов, — сказал ему новый начальник. — Убивать безжалостно и не распуская, а если раскиснешь...

— Почему раскисну, хозяин? — Он сразу же стал называть Зингера хозяином, как называл до того Вальтера. Когда переводчик перевел его слово, Зингер переспросил и, видимо, остался доволен таким обращением.

— Почему раскисну? — повторил Люлька. — Опыт имею, двух уже уложил. — И добавил не без гордости: — За два дня всего.

— Ну что ж... Посмотрим, как поведешь себя в настоящем деле, — неопределенно закончил первый служебный разговор «маленький Ганс».

Форма, которую выдали Люльке, очень понравилась ему. Особенно черная лента на рукаве с надписью: «SS-Sonderkommande ба»**. Он был щеголем. Люлька Карадашев, и еще любил властвовать, любил, чтоб его

* Канцелярия (нем.).

** «СС-Зондеркоманда ба» (нем.).

боялись, ужасно любил. Правда, теперь он был не Карадашев, а Горобец, потому что немцы верили только документам, а в красноармейской книжке стояло: Горобец Тарас Иванович. Ну что ж, это даже лучше — Горобец.

А кличка осталась старая. Так и записали в специальной графе заявления-обязательства: «Присвоенный псевдоним — Кривой...»

Чем дальше, тем больше Люльку беспокоило будущее. Все на глазах менялось в зондеркоманде: немцы нервничали, суетились, спешили замести следы, убрать возможных свидетелей. Раньше они не беспокоились о таких пустяках. К тому же партизаны стали действовать настолько решительно и смело, что иной раз было не понять, кто кого преследует и кто кого блокирует: зондеркоманда партизан или они зондеркоманду.

После неожиданного налета на лагерь военнопленных в Верхне-Лесном, когда более двухсот человек ушли в лес с партизанами да еще прихватили с собой коменданта лагеря, взбешенный Зингер решил выжечь все деревни в районе действия «лесных бандитов». Часть этой широко задуманной им операции была поручена охранному батальону СС, в котором служил Люлька Карадашев.

Деревни сожгли, жителей, не успевших уйти в лес, расстреляли, побросали в колодцы или согнали на сборные пункты для отправки в Германию.

По следам охранного батальона и шел Алик, не встречая на своем пути ни жилья, ни людей, словно все обратилось в безмолвную, спаленную огнем, остуженную инеем пустыню...

* * *

Телегу Колтун устал свежим сеном. Алика посадили в нее бережно, одернули разрезанный Евдокией комбинезон. Подумав, Колтун вынул нож, полоснул по веревке, стягивавшей Аликины руки, ухмыльнулся:

— Только не хитайся, товарищ герой, куда не надо. Без толку это. Богомол сзади пойдет, я спереду, де уж тут хитаться? Не упустим мы тебя, понял? Нема дурных...

Лошадь тронулась шагом. Снова подступившие вплотную к дороге осины тянули свои тонкие ветви, будто прощались. Колеса мерно постукивали по бревнам

гати, низкое небо висело над головой намокшей мешковиной.

Пасмурное утро, пахнущее дождем, палой листвой и дымом далеких пожарищ, незаметно перешло в день, такой же бесцветный и стылый.

Колтун достал из торбы краюху хлеба, кусок солонины и бутылку самогона. Нарезал хлеб и мясо, протянул Алику.

— Ешь! Ешь, говорю, не верти харей! Мы тебя справно сдать должны, понял?

— Мы ж к тебе по-христиански, с добром, — добавил Богомол. — Бимбера вот даже нальем, не побрезгуй уж.

Алик молчал. Хлеб лежал перед ним. Казалось, целую вечность не ел он такого хлеба, душистого и мягкого, чуть кисловатого на вкус. Не нужно никакой солонины, ничего не нужно, только бы этого хлеба, краюшку с бурой корочкой, с угольком, прилипшим к ней...

— Ну ладно, — сказал Колтун, увязывая торбу. — Не хошь, как хошь.

— Брезгует.

— Недолго ему брезговать осталось. Поглядывай за ним, Богомол... Но, пошла! Но-о!..

За поворотом лесной дороги показалось большое село. Дома тремя улицами спускались к подернутой туманом низине. В зарослях ивняка пряталась невидимая с дороги речка.

— Ну вот и Ржавка, приехали с божьей помощью. Дальше тебя, товарищ герой, на машине повезут; только вот сдадим господину Кёлеру, а они уж распорядятся как надо...

Он не успел договорить — из придорожных кустов вышли несколько человек с немецкими автоматами наизготовку.

— Господи! — выдохнул Богомол. — Откуда ж они здесь, в самой Ржавке?!

Присев, он метнулся за телегу, нырнул в заросли орешника, подступавшие к самой дороге. В пропитанном влагой воздухе глухо прозвучала короткая автоматная очередь. Богомол ткнулся головой в переплетские ветвей и замер. Зброшенный за плечи карабин сполз ему на затылок.

— Не стреляйте, браточки! — завопил Колтун. — Мы ж вас ищем который день! Ховаем от немца раненого летчика, героя, вот его документы туточки!

Он лихорадочно шарил за пазухой, искал завернутые в тряпицу газету, летнюю книжку и комсомольский билет младшего лейтенанта Александра Пинчука.

* * *

*«Особо секретно
Начальнику зондеркоманды ба
штурмбаннфюреру Г. Зингеру.*

Довожу до Вашего сведения, что крупный отряд партизан, численностью до пятисот человек, неожиданно атаковал 9-й охранный батальон СС, базировавшийся в с. Ржавка. В результате упорного боя батальон понес значительные потери и отступил в беспорядке. Командир батальона, гауптштурмфюрер СС О. Кёлер убит...»

О других убитых эсэсовцах в рапорте не сообщалось, поэтому никто и никогда не узнал, где и как был убит Тарас Горобец, он же Карадашев, он же Кривой.

НОВОЕ НАЗВАНИЕ СТАРОГО ОЗЕРА

Повестки из райвоенкомата пришли всем одновременно: Минасу, Иве и Ромке.

— Ну что ж... — сказал Ивин отец. — Пришел твой черед выполнить долг перед Родиной. Мне вот не удалось, а ты...

— Как же не удалось?! — возмутился Ива. — Да ты на заводе день и ночь!..

— То гражданский долг, Ива. А бывают такие моменты в жизни человека, в жизни его Отечества, когда мужчина должен, обязан взять в руки оружие, понимаешь, именно оружие! Не логарифмическую линейку, не ручку с пером, не карандаш, а ружье. Ружье-е!..

Он не сказал: «винтовку» или «автомат», сказал — «ружье». И, вслушиваясь в это совсем невоенное слово, Ива подумал, что не смог бы представить своего отца в погонах, в каске, с автоматом поперек груди. Все это никак не вязалось с его подчеркнуто штатским обликом, с его мешковатым пиджаком и близорукими глазами. А вот «ружье» — другое дело, это слово почему-то воспринималось, оно как-то «шло» отцу.

— Видишь ли, — продолжал тот. — Так уж получилось, что в нашей семье ни одного солдата. Ни мне, ни моему брату Петру не привелось попасть на фронт. Да, мы с ним «заводские люди». Кто спорит, это очень

нужно, то, что мы делаем. Без крепкого тыла невозможны успехи на фронте, но... Когда кончится война и вернутся домой ее герои, мы в глубине души будем завидовать им, их солдатской славе. Да, да, Ива, обязательно будем, что поделать, — он развел руками, улыбнулся. — Буду завидовать тебе, вот увидишь. Еще бы! Ты ведь представишь нашу семью в действующей армии!.. Я, наверное, очень торжественно выражаюсь?

— Нет, папа...

— Твой дед, Ива, сражался под командованием генерала Брусилова. Был участником знаменитого прорыва Австро-венгерского фронта. Брусилов Алексей Алексеевич лично вручил ему тогда Георгиевский крест. О твоём деде вообще рассказывали как о человеке удивительной храбрости.

— Ты говоришь все это так, будто сомневаешься во мне.

— Нет, нет! Что ты, Ива! Напротив... Просто в такой ситуации я не мог не вспомнить о твоём деде... Он погиб зимой шестнадцатого года. Мне было тогда одиннадцать лет. А Петр еще и в гимназию не ходил...

Родители Минаса тоже вспоминали. Только совсем о другом — перебирали в памяти всех своих клиентов, прикидывали, кто из них смог бы помочь в получении отсрочки от призыва. Хотя бы на год.

— Если вы это сделаете, — кричал на родителей Минас (впервые в жизни он кричал на папу с мамой), — то я уеду в другой город и там сдам документы в военкомат!

— Что ты говоришь, мальчик?! — Родители Минасика метались, охваченные паникой. — Ты не понял нас, все совершенно законно! Ведь ты такой болезненный, у тебя хроническая ангина. И потом ты единственный сын, это тоже обязаны учитывать.

— А разве Алик не был единственным?! Или тот же Ива? Или Ромка?

— У Ромы есть все же сестра... — Они пытались возражать, уговаривать, приводили десятки доводов, в отчаянии призывали на помощь всю родню, но чем дальше, тем больше убеждались: усилия их, видимо, бесполезны, придется смириться с мыслью, что Минасик, такой неприспособленный и слабый здоровьем, пойдет служить в армию и еще, не дай бог, угодит на фронт.

— А может быть, — начинали сдаваться они, — ты подашь заявление в школу военных фельдшеров? Туда,

где учиться Рэма? Ведь ты студент мединститута, о тебе так хорошо отзывается профессор Ростомбеков.

— Куда мне идти, решит военкомат. Я хочу как все...

— Да, да, — печально кивали головами родители. — Мы понимаем тебя, Минасик...

Что же касается Ромки, то у него, как всегда, все обошлось благополучно.

— Аоэ! В армию иду! — громогласно сообщил он, получив повестку. — Сразу в повара запишусь. Вокруг меня все как вокруг елки ходить будут, потому что повар в армии главный человек!.. Только жалко, что волосы заставят постричь под машинку. Очень некрасиво это!..

* * *

Трудно сказать, кому первому пришла в голову идея сходить на озеро. На то самое безымянное озеро, в котором когда-то были пойманы малоазиатские тритоны и на берегу которого Ромка сварил великолепный суп из захваченных с собой припасов.

Ромка утверждал, что идея принадлежит ему, кто, как не он, уважает хорошую компанию? Кто, как не он, сумеет сделать такую закуску, чтоб на всю жизнь запомнилась?

С ним не спорили. И впрямь: кто, как не Ромка?..

— Пойдем вчетвером, — сказал он. — Тогда мы тоже вчетвером ходили.

— А кто же четвертый? — поинтересовался Ива.

— Джулька пойдет. Говорит — хочу пойти. Ничего, пускай.

— Давайте и Рэму пригласим, — неуверенно предложил Минас. — Возможно, ей дадут увольнительную.

— Ва! Молодец, барашка! Неужели до сих пор за ней бегаешь? Не надоело, да? — Ромку просто поразило такое постоянство Минаса.

— Слушай, — покраснел тот, — твое дело закуска? Вот давай и пиши, что надо купить...

Идти решили в ближайшее воскресенье, не откладывая. Кто его знает, через неделю всем уже может потребоваться увольнительная. Кстати, Рэме увольнительную дали, что несколько испортило настроение Джульке. Но вида она не показала.

День выдался совсем весенний. Крутой склон горы,

нежно-зеленый от пробившейся травки, уходил вверх, обрываясь острым, источенным ветрами гребнем.

— Хорошая погода, — заметил Ромка. — Такая же была, когда мы с Каноныкиным к Персидской крепости ходили. С Вальтером, ну.

— Нашел кого вспомнить!..

Все замолчали, шли, глядя под ноги. На Подгорной не любили вспоминать эту давнишнюю историю. Веяло от нее чем-то неуловимо-тревожным, словно не была она списана в безвозвратное прошлое, не поставлена последняя точка в ней, и каким-то непонятным образом эта история еще может вернуться во двор с тремя старыми акациями. Разумом каждый понимал — не может. И все-таки не любили вспоминать, и все!

Ну а Ромка, тот обязательно вылезет с чем-то непрощеным. Иди теперь думай о том, о чем вовек бы не вспоминать...

Ива лишь однажды за все это время завел разговор об Ордынском — не удержался, напомнил о нем профессору, когда тот в очередной раз попросил помочь отобрать книги для институтской библиотеки.

— Вы много лет знали Ордынского и неужели никогда?..

— Увы! Никогда ничего такого мне и в голову прийти не могло. — У профессора был смущенный вид, и Ива пожалел, что задал ему такой бестактный вопрос. — Я понимаю... сие есть потеря бдительности. Да, да, да! Не возражайте!.. Нет, право, знать человека со студенческих лет и одновременно до такой степени не знать его! На это только я способен... Сейчас, постфактум, когда поздно кулаками размахивать, ибо прекрасно обошлись и без меня, я, анализируя наши долгие беседы с этим субъектом, некоторые поступки его и инвективы*, прихожу к выводу, что кто-то другой на моем месте мог бы прийти к определенным настораживающим умозаключениям, мог давно задуматься над несколько странными позициями господина Ордынского, над его, так сказать, модусом вивенди. Да вот, знаете ли, не тем голова была занята. Что, естественно, не может являться оправдывающим мотивом... — Профессор задумчиво смотрел мимо Ивы в темные стекла окна. На улице ветер раскачивал фонарь под жестяным колпаком. Сразу после отмены светомаскировки эти фо-

* Резкое суждение, резкий выпад (латин.).

нари казались Иве ослепительно яркими. — Да, вы подумайте, какой грязный шлейф тянулся за этим человеком много лет подряд! Совестно за него. Интеллигент, хороший врач... Впрочем, медицина всегда была скорее увлечением Ордынского, чем профессией... Помню, до революции в собственной клинике он бедных больных оперировал бесплатно. Даже дал об этом объявление в городской газете. Это тоже, конечно, для создания соответствующего реноме... Не пойму, как сочеталось в нем гуманнейшее призвание врача с истинной его сутью? Пожалуй, вплотную он стал заниматься медициной с четырнадцатого года, когда отбыл на румынский фронт полковым врачом. А вновь мы увиделись лишь в начале двадцать первого. Я был в ту пору прикомандирован к одиннадцатой армии*... Вы не представляете себе, как давно и как недавно все это было!..

Профессор рассказывал долго, он увлекся и совсем забыл про книги; их так и не удалось в тот вечер до конца разобрать.

— Я знал от Ордынского, что Цицианов уезжал за рубеж из Батума буквально накануне прихода туда красных частей; видимо, все еще на что-то надеялся... А вот о Гигуше Ордынский не упоминал. Может быть, Гигуша уже погиб к тому времени?.. — Профессор задумался. Ива сидел на стремянке, смотрел на него и молчал — боялся помешать неосторожным словом...

В ту далекую февральскую ночь двадцать первого года в забитом чемоданами номере портовой гостиницы «Армения» светлейший князь Цицианов горячо, со слезой в голосе убеждал сына:

«Ты должен уехать со мной! Ради чего ты останешься на этой разоренной и несчастной земле? Даже материнской могилы не найти теперь на ней. Уедем! Революция, она как река, прорвавшая весной все плотины. Но разумные люди обязательно восстановят их, и постепенно река войдет в свои привычные берега. И тогда мы вернемся. Я ведь никогда не был сторонником монархии, ты знаешь это...»

Так говорил князь Цицианов. Растерянный, испуганный, поникший.

«Я не переживу трагическую смерть Кетеван! — твердил он сыну. — А если и ты еще оставишь меня, Гигуша...»

* Части 11-й армии в 1921 году изгнали из Грузии меньшевистское правительство.

Тот не смог тогда оставить отца. Он оставил его потом, став старше и поняв все. Или почти все, потому что не знал о записке, переданной отцом в самый последний момент Ордынскому.

Короткая записка в несколько строк:

«Милая Кетеван! Я сражен горем. Погиб наш Гигуша. Расстрелян за связь с этими мерзавцами большевиками. Крепись. Прощай. Уезжаю, чтобы продолжить борьбу с убийцами нашего единственного сына».

Об этой записке не знал и профессор. Никто не знал о ней, кроме Цицианова, его жены и доктора Ордынского...

Ива не раз вспоминал эти рассказы профессора о прошлом, таком удивительном и не совсем понятном ему. И впрямь, как трудно все представить: молодого, даже безбородого еще, профессора в роли репетитора сына Цициановой. И совсем молодую Кетеван Николаевну. И Ордынского, ненавистного ему Ордынского, который умел так ловко и так жестоко обманывать поверивших в него людей. Многих. Вот и его, Иву, тоже...

«Все, что было, хорошее или плохое, все навсегда остается с нами, — думал Ива, поднимаясь по тропе вслед за беспечно шагающим Ромкой. — Ничего невозможно ни забыть, ни просто зачеркнуть, словно его и не существовало никогда. И время тут ни при чем. Вон профессор — то, что было двадцать пять, даже тридцать лет назад, вспоминает, будто вчерашнее событие, и сам поражается этому. Что же удивительного, если Ромка вдруг вспомнил о Вальтере, разве забудешь о таком?..»

Их маленький караван растянулся по тропе. Сзади всех шел Минас, опять был слишком тепло одет.

— Слушай! — кричал ему Ромка. — Мы так до вечера не дойдем, а я уже кушать хочу! Вай, какой сегодня шашлык будет, очень интересный шашлык! — И Ромка поцеловал сложенные щепоткой пальцы.

Его новый наставник, шеф-повар из хинкальной, узнав, что племяннику Вардо пришла повестка из райвоенкомата и, значит, наступила пора расставаться с учеником и помощником, очень огорчился.

— Э-э! — говорил он сокрушенно. — Если б не война, тебя бы не взяли. Я сам бы пошел к начальникам, договорился бы, ну! Почему пошел бы? Ты мне нравишься, потому. Хотя лентяй и слишком длинный язык имеешь. Но наше дело тебе по душе, сынок. Это замечатель-

но, когда человек свое дело под сердцем держит! Другим людям от такого человека большая польза может выйти. Хотел хорошо научить тебя, а ты уже уходишь. Проклятая война! Быстрее возвращайся, ну. Ждать буду!..

Узнав о прощальном походе на озеро, шеф-повар окончательно растрогался и от щедрот своих выделил на всю компанию несколько килограммов бараньих ребрышек.

— Добрый он, видно, человек, — сказала Рэма.

— Если б добрый был, заднюю часть дал бы, а не ребра.

— Нахал ты, Ромка, однако...

Рэма строгала кизилевые прутья для шампуров, Джулька, расстелив на траве старую скатерку, раскладывала припасы, красный от натуги Минас раздувал угли. Ромка командовал всеми. И только один Ива ничего не делал. Он просто бродил по берегу озера, всматриваясь в зеленоватую воду. Ему так хотелось, чтобы в ее не успевшей еще согреться глубине мелькнул бы, словно радужная тень детства, малоазиатский тритон, мольге витата...

Бараньи ребрышки, оплывая жиром, поджаривались над прогоревшим костром. Ромка крутил потемневшие от дыма кизилевые шампуры и ловко сбивал огненные языки, стоило им только заплясать над голубовато-багряной россыпью углей.

Он не преувеличивал, шашлык и впрямь получился на славу. Если и могло с ним что-то сравниться по вкусу, то разве только суп, состряпанный тем же Ромкой на этом же самом месте четыре года назад.

— Давайте, — сказал Минас, — помянем Алика. — Он налил вино в стопки, молча раздал их. — Я не знаю, что в этих случаях говорится...

— Не знаешь, не берись! — перебил его Ромка и встал. — Этим маленьким бокалом, — начал он...

— Садись! — Джулька сердито посмотрела на брата. — Тоже тамада нашелся! Ничего не надо говорить, и так понятно.

Все обмакнули в стопки кусочки хлеба, положили их на краешек скатерки; осторожно, чтоб не расплескать вино, прикоснулись друг к другу пальцами.

— Вечная память!..

— Бедный Алик!..

— Бедный дядя Павел!..

У Минаса чуть-чуть покраснели глаза, а Ромка не удержался и добавил к сказанному:

— Смерть немецким оккупантам!..

В ложину зябкой волной сбежал ветер, как бы напоминая, что весна еще не наступила, что просто выдался погожий денек, а завтра может сорваться с цепи холодный дождь с мокрым снегом вперемишку и надо, не надеясь на обманчивое тепло, быть готовым к последним ударам зимы. Где-то еще не растаял снег, поэтому рано ждать тех, кому суждено будет вернуться...

— Можно, я буду ждать тебя? — тихо спросила Иву Джулька.

— Конечно! — ответил он и почувствовал, как загорелись у него уши, точно их кто-то натер шерстяными варежками.

— И письма буду писать, хорошо?

— Да. Мне будет... очень приятно получать их от тебя. — Ива совершенно не знал, что следовало говорить в подобных случаях.

Но Джульке было достаточно и того, что он уже сказал...

— Как называется это озеро? — поинтересовалась Рэма.

— Несторина лужа, — тут же отозвался Ромка.

— Ничего подобного! — Минас решил вступить за озеро. — Сорочье. Или вообще Безымянное.

— Раз Безымянное, то давайте дадим ему свое собственное название, — предложила Рэма.

— Какое?

— Ну хотя бы... озеро Доброй Надежды.

— Хорошее название, — похвалил Минас. Но так как он во всем любил полную ясность, то решил все же уточнить: — Надежды на что?

— На то, что у нас с вами все обойдется счастливо. И мы снова когда-нибудь придем сюда, к этому месту, где горит сейчас наш костер. Придем живые и невредимые...

На обратном пути они остановились у каменной чаши родника, чтобы сфотографироваться на память. Пока Минас устанавливал треногу и отлаживал автоспуск, Ромка забрался на край чаши и, уютившись там, свесил вниз длинные ноги.

— Аоэ! — закричал он. — Давай быстрее, а то камень мокрый!

Джулька встала рядом с Ивой, взяла его за руку, и

он вновь почувствовал, как начинают гореть уши, хотя к ним никто и не прикасался шерстяными варежками.

Иве очень хотелось посмотреть на Джульку, но он почему-то не решался сделать это.

Если у Минаса получится фотография, Ива обязательно возьмет ее с собой в армию.

«Кто из них твоя девушка?» — спросят Иву однополчане. И он покажет на Джульку.

Можно, конечно, показать на Рэму, та тоже стоит рядом; правда, не держит его за руку. Можно, но он покажет на Джульку.

«Вот эта, — скажет Ива. — Ее зовут Джулия. Она ждет меня и каждую неделю пишет мне письма...»

О чем думала в эти минуты Джулька, сказать трудно. Она просто стояла, сжав Ивину ладонь своими тонкими теплыми пальцами, и закатное солнце загло в ее глазах маленькие прозрачные огоньки...

— Улыбайтесь! — крикнул Минас.

— Сколько можно улыбаться? — огрызнулся Ромка. — Давай быстрее, ну! Мокро сидеть!

— Сейчас, сейчас... — Минас взвел автоспуск, подбежал, занял свое место. Сухо щелкнул затвор ФЭДа.

— Готово!..

— Вот мы и остались навсегда вместе, — сказала Рэма. — Пройдет сто лет, а мы все равно будем вместе.

— Только пожелтеем немножко, — Ромка прыгнул на землю, потер ладонями намокшие сзади штаны. Потом напился из жестяного ковшика — раз около родника были, значит, надо воды попить, — и сказал Минасу строго: — Смотри, чтобы карточки хорошо вышли!..

Они пошли дальше. Южный склон горы был уже совсем зеленый. Небольшая отара паслась возле тропы; отошавшие за зиму овцы жадно щипали молодую траву. Женщина в черном платке стояла у края отары и, опираясь на пастуший посох, смотрела из-под руки на идущих по тропе незнакомцев.

— А помните, тогда старик был, — сказал Минас. — К роднику с хорошей водой нас проводил.

— После того как я из-за тебя воды с лягушками напился! — проворчал Ромка. — Умер тот старик, наверное, а сыновья на фронте, вот она и пасет...

Уже у самого города Рэма вдруг остановилась и, потряхнув коротко стриженными волосами, воскликнула:

— Да, я же вам забыла сообщить самую главную новость!

Все повернулись к ней. Как-то странно прозвучала эта фраза. Похоже было, что не забывала она ничего, а просто не решалась или не хотела рассказать.

— Что же за новость такая?

— Послезавтра... послезавтра приезжает Вадим.

— Какой Вадим? — не поняла Джулька.

— Тот самый, которого вы непочтительно прозвали Кубиком.

Это было до того неожиданно, что Минас даже присел на корточки, словно его ноги не держали.

— Ва! — Ромка так и остался стоять с раскрытым ртом.

«Как она назвала его — Вадим, — подумал Ива. — И смотри — покраснела при этом... Выходит, Ромка не врал тогда про них. А что? Кубик же совсем молодой еще...»

— Откуда ты знаешь, что он приедет?

— Телеграмму из Москвы прислал. Ему дали отпуск. У него будет здесь целых пять дней!

— А потом что, назад вернется?

Ива понимал всю нелепость своего вопроса, но надо же было хоть что-то сказать. Ничего другого в голову не пришло, вот он и брякнул первые подвернувшиеся слова.

Однако Рэма восприняла этот вопрос вполне серьезно.

— Конечно, назад в свой полк, — ответила она. — И знаете... мы уедем вместе, уже решено.

— Так ведь ты...

— Последние экзамены за спиной, ребята! На днях будет приказ о присвоении нам воинских званий. Я теперь младший лейтенант медицинской службы. Можете поздравить меня!

ВИЗИТ В КЕНИГСБЕРГ

Кенигсберг произвел на Вальтера странное впечатление. Он просто не узнал город, в котором прожил в общей сложности более пятнадцати лет. То был совсем другой город, непохожий, замерший в напряженном ожидании неизбежной опасности. И с какой-то покорностью обреченного готовящийся к встрече с ней.

Сырая ночь висела над спящим Кенигсбергом, густо обволакивая его пустынные улицы, старые, сложенные из

кирпича дома. Со стороны Балтики дул ровный холодный ветер, усиливающий ощущение одиночества и обреченности.

Город спал беспокойно. Казалось, что он тяжело ворочается во сне, стонет, как страдающий удушьем человек, и снятся ему тревожные длинные сны, тусклые и бесконечные...

Вальтер недолюбливал Кенигсберг. К нему трудно было привыкнуть после беспечного южного города, в котором он родился и провел детство.

Но тогда, в двадцатом году, отец выбрал именно Кенигсберг и не хотел слышать ни о чем другом.

— Мы, Крюгеры, — говорил он торжественным тоном, — уроженцы Восточной Пруссии, колыбели германского могущества. Все великое в истории фатерлянда связано с Пруссией и только с ней! Как же я могу забыть о моих доблестных предках? И разве виновен был мой дед, Франц Мария Крюгер, в том, что злая судьба заставила его покинуть родную землю и поселиться в России? Нет, нет и еще раз нет!.. И вот мы возвращаемся к корням своим, и, видит бог, то самый счастливый миг в моей жизни!..

Вальтер слушал высокопарные отцовские речи и никак не мог понять, что задумал его родитель. Дело, конечно, не в корнях и прочей ерунде. Что-то другое тянет папашу Крюгера именно в Восточную Пруссию.

Как выяснилось позже, бывший кишинево-одесский галантерейщик не ошибся в своих расчетах. Именно здесь, в Пруссии, начнет оживать оправившаяся от потрясений последних лет немецкая военщина. Какая широкая клиентура для коммерсанта, умеющего учитывать вкус и запросы своих покупателей!

Карл Крюгер начал скромно, с небольшого магазинчика в Понарте — южном предместье Кенигсберга. На большее зашитых в жилет империалов не хватило.

Он строил свою торговлю таким образом, чтобы основные покупатели всегда могли б найти в его магазине все нужное им: от бритвенных лезвий до подусников, от целлулоидных холостяцких воротничков до сигар. А следовательно, им нечего идти в другой магазин, если в этом есть все и к тому же недорого. А при желании можно и в кредит.

На первых порах Крюгер-старший старался не жадничать. В конце концов, твердая сложившаяся клиентура — это те же деньги.

Дела пошли неплохо. Через несколько лет он расширил магазин, потом открыл еще один, ближе к центру города.

А там наступили события тридцать третьего года. Папаша Крюгер принял их восторженно. Он носил теперь только коричневые галстуки, читал «Дас Шварцекор» и «Дер Штюрмер»* и старательно слушал по радио все, о чем говорил господин Фриче**.

Основные его конкуренты жили теперь в гетто, а вскоре и вовсе сгинули; Крюгер неплохо нажился на их беде. «Каждому свое, — любил повторять он. — Каждому свое...»

Он был неизменным участником всех факельных шествий, всегда старался попасть в первые шеренги и громче других выводить столь прекрасно звучащие слова «Хорста Весселя»***.

Мы идем, отбивая шаг!
Пыль Европы у нас под ногами...

Ах, как нравилась ему эта песня! Как воодушевляла она, ну просто до слез!

Идут истинные немцы!
Идут истинные немцы!..

Идет он, Карл Эрих Крюгер, истинный немец, уважаемый коммерсант, патриот, галантерейщик, победивший своих незадачливых конкурентов.

Все радовало папашу Крюгера. Даже сын, такой непочтительный и своевольный Вилли, оказался сыном, которым можно гордиться. Правда, он не захотел быть галантерейщиком, стал военным. И не просто военным. Его служба окутана тайной, о ней говорили шепотом, и это льстило самолюбию Карла Крюгера.

— Мы коренные уроженцы Пруссии, — без конца напоминал он всем. — Наши предки были солдатами еще в те времена, когда тевтонцы ходили походом против литовских племен, и после победы над ними заложили наш славный, добрый Кенигсберг...

* * *

Вальтер прилетел в Кенигсберг в полночь. На затемненном аэродроме его ждала машина.

* Эсэсовские газеты.

** Правительственный комментатор имперского радио.

*** Популярный немецкий марш времен войны.

Погода портилась. Туман сковал аэродром. Такой вялый и бессильный на вид, он клочьями висел на крыльях самолетов, точно удерживал их, не пускал в затянутое тучами, тусклое балтийское небо.

— Едем в гостиницу? — спросил Вальтер у встречавшего его офицера.

— Нет, — коротко ответил тот.

Машина мчалась по пустынным, затемненным улицам Кенигсберга. Патрули на перекрестках, приглушенный синий свет фонарей, город как затаившаяся во тьме крепость, обложенная со всех сторон противником.

«Что за дурацкое состояние? — раздраженно подумал Вальтер; он никак не мог избавиться от ощущения: город в осаде. — Какая, к дьяволу, осада! До этого не дойдет...»

Он вспомнил города и фольварки, через которые проезжал неделю назад. Сплошная, прекрасно продуманная система обороны, каждый дом, каждый амбар, любая хозяйственная постройка могут в считанные минуты превратиться в доты, казематы, склады боеприпасов. Много лет подряд в приграничных районах все строилось с обязательным расчетом на использование построенного в военных целях. Как это оказалось предусмотрительно, ведь никто и думать не мог, что русские когда-нибудь подойдут к границе Восточной Пруссии и будут угрожать ее городам.

Эйткунен, Тильзит, Юрбург, Гумбинен...

Три с половиной года назад по их улицам шли войска, направляясь на Восток, в Россию. День и ночь эшелоны, вереницы танков, нескончаемый людской поток.

Четыре недели, и русские будут разбиты, развеяны в прах, стерты с лица земли. Бог мой, такая сила! Вполне можно управиться и за три недели...

По узким улицам Кенигсберга ветер несет редкие снежинки. Город погружен во мрак. Тихо в Кенигсберге. Люди заперлись в домах, опустили плотные шторы на окнах, отгородились ими от тревожной, пугающей тишины.

Вальтер давно не видел этот город. Откровенно говоря, не очень-то и стремился увидеть.

И эта их встреча была незапланированной. Просто во время работы по созданию агентурной сети на оставляемой немецкими войсками территории Вальтер неожиданно был вызван в Берлин, а оттуда направлен для получения особых инструкций в Кенигсберг.

Он знал, что его считают опытным специалистом по русским делам. Эта репутация укрепилась за ним давно, еще после той памятной истории на Кавказе. Так блистательно все было задумано! И так гладко шло поначалу...

Тогда, за переездом, только после окрика часового он понял, что выбрался. Несмотря ни на что, сумел все-таки уйти! И сил-то у него оставалось только до машины добраться.

Нога раздулась, будто ее накачали насосом. Он провалялся в госпитале полтора месяца, врачи боялись, что начнется гангрена.

Но счастливая звезда Вильгельма Крюгера, Вальтера, как он и сам привык называть себя, не подвела и на сей раз. Все обошлось, и ни при чем здесь врачи — звезда, одна она хранит, бережет, спасает...

Все и дальше продолжалось складываться как нельзя лучше, если не считать самого хода войны.

В последние месяцы Вальтер вынужден был заняться работой по созданию агентурной сети на оставляемой немцами территории. Он понимал: подобные дела нельзя делать наспех. Но германская армия все быстрее и быстрее откатывалась на запад, поэтому о тщательности проводимой операции не приходилось и думать.

Да и агентов ему присылали никуда не годных. Большею частью то были набербованные в лагерях военнопленные, кое-как обученные своему будущему ремеслу. Под видом бежавших из плена они должны были проникать в партизанские отряды или прятаться у местных жителей во время облав, инсценированных полевой жандармерией.

Но после прихода советских частей большинство из них являлись в комендатуры с повинной. Другие, нарушив все инструкции, исчезали из районов, где им было предписано находиться до получения новых указаний. Третьих быстро разоблачала контрразведка. Это обстоятельство настораживало Вальтера больше всего — видимо, происходит утечка информации и где-то рядом с ним работает советский разведчик. В суматохе непрекращающегося отступления, в обстановке взаимного недоверия, раздраженности и страха пытаться обнаружить его — занятие безнадежное.

И потом Вальтеру было непонятно, для кого же он создает агентурную сеть? Война с Россией проиграна,

это ясно всем. Выходит, в запас? Хозяин, конечно, найдется, за хозяином дело никогда не станет. Но кто будет им?..

Вызов в Берлин, а затем направление в Кенигсберг для выполнения специального задания особой важности положили конец всем этим тягостным раздумьям. Вальтеру надоело возиться с запуганными, бестолковыми агентами, заниматься делом, в успех которого он не верил.

Разговор в Кенигсберге был предельно конкретным: Вальтеру поручали одну из групп по вывозу в специально подготовленные тайники ценностей и архивов «третьего рейха». Круг лиц, посвященных в подробности этой сверхсекретной операции, был очень узок. Собственно говоря, и Вальтер почти ничего не знал о ней. Лишь самое необходимое для выполнения лично ему порученного задания: список группы, место расположения тайника, схема минирования, характер груза, количество мест и сроки выполнения с точностью до часа.

— Вы понимаете, Крюгер, — сказали ему в конце беседы, — переход из разведки под наше начало — это знак особого доверия к вам и к вашим способностям. В подобных операциях мы опираемся на самых надежных и проверенных людей. Среди них названы и вы, Крюгер. Это обязывает. Удачи вам!

— Хайль Гитлер!..

Он ехал по улицам Кенигсберга, всматриваясь в изменившееся лицо города. На одном из домов задержал взгляд, невольно усмехнулся. «Институт по изучению России», альма-матер Вильгельма Крюгера. Нет, он не возьмет под козырек, проезжая мимо этого насуспенного здания, он не обязан ему своими успехами. В этих стенах можно было готовить кого угодно, только не тех, кому предназначалась его работа.

И если он преуспел в ней, пусть даже и внешне, то это скорее благодаря урокам бесшабашного портового города, в котором довелось провести детство. И еще, пожалуй, гимназии, где он проучился с грехом пополам до шестого класса.

Ну а что касается кенигсбергского «института», то обучение в нем не дало и десятой доли того материала, без которого не сыграть бы Вальтеру роли Ивана Канюкина.

На фоне серого предрассветного неба смутно проступали контуры королевского замка и приземистые, словно

грустно присевшие на корточки, форты внешнего оборонительного обвода.

И опять Вальтер почувствовал эту странную атмосферу осажденного города, атмосферу мрачного, безнадежного ожидания...

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ДАЛЕКОМУ ДОМУ

«Дорогая жена моя Дариджан, дорогие мои дети — Рома и Джульетта, дорогая сестра Вардо и мама-джан! Сообщаю вам, что жив и продолжаю службу в новой части, куда направили меня из госпиталя. Раны, где фашистские пули попали, уже зажили, правда, еще болят. Но я сказал доктору, что отпуск не надо мне делать — на фронте очень сложная обстановка, как я могу в отпуск ехать? Сколько ни говорил мне доктор, я все равно отказался...»

Ромкин отец писал часто, и сочинения его были всегда длинные и очень подробные. Всякий раз получалось, что воюет гвардии рядовой Арчил Чхиквишвили доблестно, себя не щадит и командование просто не нарадуется на него. А то, что до сих пор не представлен к высокой правительственной награде за мужество свое и самоотверженность, так то результат его исключительной скромности, которой он отличался с детства и которую перенял, конечно же, от своих родителей. Здесь делается прямой намек на то, что Ромке следует глубоко задуматься над этими строчками отцовского письма.

«Пока я проливаю свою кровь на фронте, выполняя все приказы командования, ты должен быть опорой семьи, поддерживать ее авторитет в глазах соседей. Ты знаешь, какие у нас соседи, они мне все скажут, и, смотри, тебе плохо будет, если их слова огорчат мое сердце...»

О соседях Ромкин отец вспоминал в каждом письме, передавал им приветы и пожелания доброго здоровья. Всем, начиная с профессора и кончая Михелем. Иногда даже добавлял в самом конце: «Этим мадам, которые во флигеле живут, тоже привет. Черт с ними. Все-таки соседи, да!...»

Арчил Чхиквишвили был человеком неверующим и все же, вспоминая свой первый и единственный бой, не раз повторял про себя:

«Чудом я тогда жив остался! Просто бог меня спас! Забыл все грехи мои и спас, пожалел ради детей, ну...»

Ему вновь и вновь вспоминались черные, без крыш, дома на плоской вершине бугра, расщепленное снаряжением дерево, из-под которого ударила автоматная очередь, подкосила на бегу бедного Чхиквишвили. И бежать-то ведь осталось каких-нибудь десять шагов; как разглядел его в темноте проклятый автоматчик, чтоб ему слепым родиться!..

Страх прижимал Арчила к земле, страх сковывал душу, беззвучно и отчаянно кричал, рвался наружу: «Вай мэ! Только бы живым остаться, еще раз увидеть утренний свет! Клянусь детьми, никогда против совести не погрешу, другим человеком буду, клянусь!..»

Что было потом, толком и не припомнить. Кто-то подхватил его, крикнул:

— Вперед! Чего лежишь-то?! Вперед!..

И он не то побежал из последних сил, не то просто поволокся за бегущим впереди комроты — выходит, это тот крикнул ему: «Вперед!» А может, и кто-то другой. Все грохотало вокруг, трещало и разламывалось, разве услышать в таком аду человеческий голос?

Огонь вставал из земли красно-желтой стеной, и нужно было прорваться через нее, прорваться и уцелеть. Ему это удалось. Другим нет. И когда он стоял в обшитой тесом немецкой траншее, навалившись грудью на осклизлый бруствер, и санинструктор бинтовала его плечо, то снова из редющего дыма, из предутреннего тумана послышался хриловатый голос командира роты:

— Жив? Ну молодец, раз жив. Значит, еще повоюем, Чхиквишвили...

Ромкин отец ворочался на койке, курил безвкусные трофейные сигареты и пытался представить себе лицо комроты — черное от копоти, мокрое от дождя, небритое лицо человека, с которым скорее всего никогда больше не придется увидаться. Что за человек был, почему ничего не боялся, где его дом, где его мать живет? Написать бы ей письмо — какого сына родила, дорогая! Совсем молодой еще, двадцать один год всего, мальчишка, ну! Как он так сделал, что Арчил Чхиквишвили, пожилой человек, уважает его, словно отца?..

Тихонько, чтоб не разбудить соседей по палате, Ромкин отец выходил в коридор, примазывался возле дежурной сестры, просил листок чистой бумаги.

- Письмо домой писать буду.
- Спали бы, отец, лучше. Днем напишете.
- Не спится, дорогая...

Он вынимал из кармана трофейную авторучку и выводил первую фразу:

«Здравствуй, дорогая жена моя Дариджан...»

Солдатские письма, как и солдатские сны, словно короткое прикосновение к далекому дому. Пока пишет солдат письмо, он там, в кругу родных, в кругу друзей и соседей, в той не забытой им жизни, где все было надежно, прочно и счастливо...

После госпиталя Ромкин отец попал в гвардейскую дивизию, чем очень гордился, и письма свои подписывал торжественно: «Гвардии рядовой Арчил Чхиквишвили».

Определен он был в хозяйственный взвод — все же в возрасте человек и к тому же только из госпиталя, куда же ему в стрелки? Это обстоятельство несколько смущало Ромкиного отца, и в письмах он о нем умалчивал.

«Находимся мы сейчас в Болгарии. На месте не стоим, идем на запад. С болгарами войны у нас не было, это свои люди. Когда медленно говорят — все равно что по-русски получается. Правда, на Россию здесь непохоже, а похоже больше на Кахетию. Такие же сады, такие же виноградники и красное вино, которое они делают, наш восьмой номер напоминает. Хорошее вино, молодцы, не ожидал!

Лицом здешние люди совсем как кахетинцы, как будто я в нашу родную деревню вернулся, Дариджан, и мы с тобой снова совсем молодые...»

* * *

Стрелковый полк майора Вадиминова отвели с передовой в полночь. Тусклые лампы осветительных ракет медленно плыли к земле. Немцы ушли за реку и закрепились.

Время от времени тугую тьму прорезали торопливые строчки пулеметных очередей; цветные трассы мчались над самой водой, гасли в прибрежных талах. И вновь повисали в небе лампы, озаряли заболоченную пойму мертвенным светом. Противник явно нервничал, хотя и не мог не чувствовать, что наступление остановлено, все, теперь передышка. И для тех, кто вышел с боями к вос-

точному берегу реки, и для тех, кто, перейдя ее, закрепился на западном.

Река была неширокой и извилистой. Остатки деревянного моста ушли в ночную воду валкой шеренгой обгоревших устоев.

За рекой лежала немецкая земля. На вид она ничем не отличалась от той, на которой находился сейчас полк майора Вадимина. Такая же заболоченная низина с тусклыми бельмами подернутых льдом стариц, густые заросли ивняка, деревья, уцелевшие после артиллерийского обстрела.

И тем не менее это была совсем другая земля, Германия, откуда три с половиной года назад пришла война и куда она теперь возвращалась.

Вадимин пристально вглядывался в мутную, скрытую мглой даль.

Последние три недели каждый солдат в его полку и он сам, с недавнего времени командир этого полка, жили одним желанием — выйти к германской границе.

Три недели наступательных боев вконец измотали людей. Отстали тылы: боепитание, инженерные подразделения, медсанбаты. Немцы оказывали отчаянное сопротивление — каждая деревня, хутор, высотка брались с боя, ценой больших потерь. Полк таял на глазах.

И все же он первым в дивизии вышел к границе, к этой невеселой, холодной реке...

— Есть связь с «домом», товарищ майор. — Неловко перехватив телефонную трубку забинтованной рукой, связист передал ее Вадимину. — Сам вызывает...

— Как ты там? — Голос командира дивизии едва пробивался сквозь треск и шипение. — Поглядел на Германию? Ну и будет! Еще насмотришься! Через час тебя сменят. Не только тебя, все наше хозяйство отводят, будем пополняться... Ничего! Не все ж нам фрица лопатить, надо и другим попробовать. Готовь материалы к награждению. Завтра в четырнадцать тридцать быть у меня! Ясно? Ну тогда все...

Вадимин положил трубку. Значит, другие пойдут за реку. Через день или через неделю, когда подтянутся тылы и все здесь, на этом берегу, соберется в тяжелый, занесенный для удара кулак. Не его, другие солдаты, ломая хрупкий прибрежный ледок, войдут в воду, подняв над головой автоматы.

— Вперед, товарищи! — крикнет им другой командир полка. — Перед вами логово врага! Добьем в нем фашистскую нечисть!..

Может, он, Вадимин, крикнул бы какие-то иные слова. Дело не в самих словах, а в смысле, стоящем за ними, — впереди Германия, и мы пришли к ее дверям, и грозно стучимся в них.

Обидно в такой момент уходить, уступать место другому. И в то же время Вадимин понимал: все правильно. И полк, и дивизия за последнее время потеряли так много людей, что перестали, собственно говоря, быть дивизией и полком.

Вадимин пытался представить себе лица тех, кого он хорошо знал, с кем воевал не один год и кто не дошел до этой реки, не увидел в разводах тумана ее западный берег, не увидел и никогда теперь уж не увидит германской земли.

Наступал самый трудный для него час, когда надо было брать листки бумаги и писать письма незнакомым ему женщинам, сообщая им, что их сын, муж или отец пали смертью героев, до конца выполнив свой солдатский долг. И писать не казенными, истертыми словами, как пишут о тех, кого не знают и, значит, не могут помнить, а какими-то другими, чтоб отразили они все, что чувствовал, приступая к письму, командир полка Вадимин.

«Дорогая Евдокия Петровна! С Вашим сыном Володей мы долгих два года шли вместе по дорогам войны. И вот случилось самое страшное, и я пишу Вам об этом, и не хочется верить, что нет больше нашего Володи Соловьева...»

Первые такие письма майор Вадимин написал еще осенью сорок второго года. Тогда, в боях на Северном Кавказе, погибли многие из его взвода.

— Извещения составлены по форме и отосланы родственникам, товарищ младший лейтенант, — сказал ему в штабе полка пожилой писарь. — Места похоронения указаны, так что зря вы беспокоитесь, у нас полный порядок...

Вадимин долго ненавидел этого писаря, хотя и понимал, что не за что ненавидеть. Не знал старый канцелярист ребят из его взвода, не слышал их голосов, не видел их глаз, не имел ни малейшего представления о том, как жили они и как погибли. Что же требовать от этого человека, кроме пунктуального выполнения его

писарских обязанностей? Что он мог рассказать о ребятах из взвода младшего лейтенанта Вадимина, если бы даже и захотел, что мог написать? Ничего ровным счетом. Выходит, писать должен сам Вадимин. И он написал первые свои горькие письма.

С тех пор делал это каждый раз, не перепоручая никому. Не думал поначалу о том, что со временем это превратится в его внутреннюю обязанность...

На следующий день в назначенное время он был в штабе дивизии. Небольшой дом на краю поселка полон людей. По всему чувствовалось, что идут сборы в дорогу. Во дворе стояли штабные автобусы, в них грузили ящики с документами, пишущие машинки и прочий штабной скраб.

— А, именинник, здорово!

— С чего бы это мне именины вдруг праздновать? — не понял Вадимин.

— Узнаешь от «самого». Иди, он уже спрашивал тебя.

Взглянув на часы, Вадимин одернул гимнастерку и толкнул обитую кошмой дверь.

— Разрешите, товарищ генерал?

— Входи, входи...

Вначале разговор шел самый обычный: о потерях в полку, о порядке следования до пункта, в котором дивизия получит пополнение, о представлении отличившихся в последних боях к наградам.

Командир дивизии просматривал списки, качал головой.

— Да, совсем маленько осталось нас, кавказцев, Вадимин, совсем маленько... Голованов, Буденко, гляди ты... Голованов, это который? Тот здоровенный, рыжий, с конопушинами, да?

— Он, Иван Васильевич...

— Знаю, как же! На «Голубой линии» тогда еще отличился. Красную Звезду я ему вручил, помнишь?

— Да, Иван Васильевич...

— Сколько ж тебе писем на сей раз писать, Вадимин?

— Много, товарищ генерал...

— Да-а... И ты всякий раз не забывай, пиши: может, чем помочь сумеем, походатайствовать о чем или заступиться там, если какая холодная душа обидит. В тылу-то она, жизнь, не больно сахарная... Так вот по поводу дальнего тыла. Ту важную птицу, что взяли твои орлы

из разведроты, велено доставить прямо в Москву. Полетишь в группе сопровождения... Тут я с командующим о тебе договорился, он разрешил две недели отпуска. Формироваться мы долгойню будем, потому как пополнение в основном из новобранцев, об этом меня предупредили уже. В общем, ребяташек получим из категории «годен, не обучен». Да... Десять дней тебе на дорогу туда-обратно хватит, поезда небось уже с вагонами-ресторанами бегают? — Командир дивизии подмигнул Вадимину, рассмеялся. — Ну и пяток дней дома побудешь. Это тебе за то, что первым вышел к германской границе. Командующий так и велел передать...

* * *

— Аоэ! Кубик приехал!

Эту новость во двор с тремя акациями первым принес Ромка.

— Где ты его видел? — спросил Ива.

— Где видел, там видел! По улице с Рэмой шел, ну! Под ручку, между прочим.

— Ты с ним говорил?

— Нет. Почему я должен говорить?

— Ну хоть поздоровался?

— Они по другой стороне шли. Говорили, смеялись, очень веселые были. Я что, должен перебегать улицу, кричать им: аба, здравствуйте, это я — Ромка! На черта я им нужен?

В какой-то степени он был прав — ну чего и впрямь перебегать улицу с криком «здравствуйте»? Можно поздороваться в другой раз, при более подходящих обстоятельствах.

— Теперь они поженятся, — сказала Джулька. — Обязательно. Кубик потому и приехал. А что такого? Очень даже хорошо!

Во флигеле приезд Вадимина особенного восторга не вызвал. Скорее наоборот.

— Ну и что, подумаешь, какой-то майор всего, — комментировала события мадам Флигель. — Вот если б он был генерал-майор, тогда бы еще звучало. Нет, это не партия для нашей Рэмочки! Что он ей может дать, ну что, я спрашиваю?!

— Мама, не трогай эту тему! — отвечала ей дочь и нервно стучала своей дирижерской палочкой по крышке рояля. — Ты не выучила упражнение, ты играешь его,

как на кастрюле! — Это уже относилось к ученице. — Собирай ноты, урок окончен!

Ученица уходила, щелкал замок двери, звякала цепочка, и разговор продолжался.

— Когда ты трогаешь эту тему, мама, я рискую упасть в обморок! — Дирижерская палочка продолжала выбивать дробь по крышке рояля.

— Ты поцарапаешь «Блютнер».

— Черт с ним, с «Блютнером»! Ты лучше представь себе, что нам скажет Гришенька! Куда мы отдали его единственную дочь? Сначала она добилась этой ужасной фельдшерской школы, из-за которой я трижды чуть не умерла. А теперь — пожалуйста — майор да еще отъезд с ним на фронт! Ты понимаешь, мама, что такое для девочки фронт?

— Ай, да не стучи ты по «Блютнеру»! И не задавай дурацкие вопросы про что такое фронт! Нам надо подумать, как помешать этому ужасу.

— С Рэмочкой говорить бесполезно. Она же давно влюблена в него. О боже, боже!..

— Слушай, а может, нам обратиться куда-нибудь? Ведь он ее учитель, и вдруг влюблена и все прочее.

— Учитель! Когда это было, мама? Он теперь майор. А она младший лейтенант. Куда же ты хочешь обращаться?.. А ведь к Рэмочке проявлял такой интерес Эдик Заварницкий. Скрипач! Сплошной талант! Заслуженный артист республики! Автономной...

— Дай, ради бога, сюда эту проклятую палочку, ты же царапаешь ею инструмент и мои нервы тоже...

Что касается родителей Минаса, то они по-своему восприняли приезд Вадимины. Узнав у Рэмы его адрес, пришли вечером, печальные, тихие, и попросили:

— Вадим Вадимович, вы в прошлом учитель Минасика, и он всегда очень хорошо занимался по вашему предмету. И вот он уходит в армию. Несмотря на слабое здоровье и предрасположенность к хронической ангине... У нас к вам родительская просьба: вы когда-то учили Минасика не только в школе, но и в этой... в Юнармии. Он так увлекался тогда военным делом!.. Вы можете сказать в райвоенкомате, вам не откажут, конечно, пусть Минасик уедет с вами, пусть он будет при вас, при своем учителе.

— Но ведь... — Вадимину было явно не по себе, он не знал, как ответить на такую просьбу. — При мне в общем-то нельзя быть. Как же это: при мне?

Но родители Минаса продолжали смотреть на него печально и с надеждой.

— Я всего лишь командир стрелкового полка... Вот если б Минаса направили в нашу дивизию, в мою часть... В принципе это возможно, в военкомате могли бы в порядке исключения оформить такое направление, но...

— Райвоенком вам не откажет, Вадим Вадимович! Как он может отказать вам? Вы же герой войны, боевой офицер. И потом ведь всё совершенно законно...

* * *

Идея родителей Минаса получила неожиданное развитие. Узнав о ней, Ромка возмутился.

— Ва! — кричал он, размахивая руками. — А почему только Минасик! Мы что, хуже, да? Ничего подобного! Аба, Ивка, идем к Кубику, скажем ему: пускай нас тоже берет!

— Как-то неудобно... навязываться.

— Что вы за люди?! Навязываться-привязываться, неудобно, то, се! Почему неудобно? Мы же не на свадьбу к нему навязываемся, на фронт, ну!

Выходило, что Ромка и на этот раз прав.

— Ладно, — согласился Ива, — пойдем. Когда вот только?

— Сейчас! Что, думаешь, Кубик на год сюда приехал?..

Вадимин встретил их радостно. Разглядывая со всех сторон, удивлялся — совсем взрослыми стали! А давно ли в юнармейцы записывались? Словно на прошлой неделе все это было.

— Ты помнишь их, мама? Они приходили провожать меня к эшелону. С цветами даже.

— С цветами, положим, пришла только Рэма. Я помню вас, мальчики. Тебя вот звать Ромео, верно ведь?

— Верно.

— А сестру твою Джульеттой.

— Правильно! — удивился Ромка. — Интересно, как запомнили? Мы вообще ее Джулькой называем. Между прочим, она его девушка, — и Ромка ткнул пальцем в Ивину сторону.

Тот покраснел, кончики ушей схватило жаром.

«Чтоб тебе!.. — думал Ива, пронзая Ромку испепеляющим взглядом. — Вечно у него язык без костей...»

Ива до того смутился, что просьбу, ради которой они затеяли этот визит, пришлось излагать Ромке. Хотя, как договорились, он должен был просто стоять рядом и по-малкивать.

Ромка, конечно, начал с того, что Минас не идет ни в какое сравнение с ними. Правда, немецкий язык выучил, но на фронте с немцами нечего разговаривать, их можно молча бить.

Вадимин терпеливо слушал хвастливые Ромкины тирады и улыбался. Он бесконечно далек был сейчас от войны, от всего, что связано с ней. Просто перед ним стояли его ученики; полгода назад они были еще школьниками, приходили каждое утро в класс, сидели за партами, писали сочинения, прятали в рукавах шпаргалки и опасливо протягивали учителям свои дневники. Их школа была первой школой в жизни педагога Вадимина, а их класс — первым классом, которым он руководил.

Классный руководитель Вадимин! Прекрасно звучат эти слова! Нет, он не променяет их ни на какие другие, никогда. Если будет суждено ему вернуться, он снова придет в свой класс, чтобы продолжить прерванный три года назад урок. Как много сумеет теперь рассказать своим ученикам учитель Вадимин, потому что многое привелось ему видеть, пережить и понять, очень многое. Рассказывать об этом можно всю оставшуюся жизнь.

Она обязательно будет длинной, невероятно длинной, ведь ему сейчас всего двадцать шесть лет. Сколько еще можно успеть сделать...

А Ромка тем временем продолжал говорить. И то, что следовало, и то, что было, по мнению Ивы, совершенно не к месту.

— Ну что ж, ребята, — сказал Вадимин, когда Ромка наконец замолчал. — Я был бы очень рад взять вас в свой полк. На сей раз не в юнармейский, а в самый что ни на есть настоящий. Попробуем договориться в райвоенкомате. Просьба, ясное дело, будет выглядеть несколько необычно, но чем черт не шутит?

— Когда бог пьяный, — не удержался от реплики Ромка.

— Вот именно... Тем более с вашим райвоенкомом мы еще в школе младших лейтенантов учились. И первый бой приняли вместе возле Крестового перевала. Так что, думаю, поможет.

— Так это тот самый З. Каладзе? — воскликнул Ива.

— Да, Зураб. А ты откуда знаешь?

— Я же во фронтовой газете об этом прочитал! Еще когда мы в госпитале у телефонов дежурили. «Курсанты В. Вадимин и З. Каладзе... огнем ручного пулемета...» — Он повернулся к матери Вадиминой. — Я тогда Рэме отдал газету, и Рэма тут же побежала с ней к вам.

— Спасибо. Это был чудесный подарок...

* * *

Жора-морьяк жил в комнатухе, прилепившейся к стене громадного, нескладного дома.

Для каких-то, видимо, хозяйственных нужд сложили из кирпича комнатуху с маленьким оконцем, глядящим на задний двор, с низкой дверью из толстых досок, украшенных медными нашлапками. Может, жил в этой комнате кто-нибудь из obsługi, может, хранили что-то, об этом никто уже не помнил — не было нужды помнить. Теперь вот в ней согласно ордеру райжилуправления проживал Жора-морьяк, инвалид войны.

— Классная каютка, — говорил он друзьям. — Дверь, правда, малость низковата, но мне ведь и не нужна особенно высокая дверь, сами понимаете. Ну а гости нагнутся, не графья...

Порядок в комнате был флотский. Возле маленькой чугунной печки полка с посудой, кровать, застеленная шелковым одеялом, на стене копии с картин Айвазовского и надраенный до солнечного сияния небольшой корабельный колокол. Да, еще висел портрет Джульки. Была она на нем как живая, хотя Жора писал по памяти. Особенно удались ему глаза, прозрачные, с золотыми солнечными искрами, спрятанными где-то в самой их глубине. Джулька на портрете смотрит чуть вверх и в сторону, и голубые тени от длинных ее ресниц ложатся на крепкие, цвета спелого персика, скулы.

У всех друзей Жоры-морьяка висели в квартирах красивейшие абажуры. Делал он их сам, пропитывая бумагу одному ему известным составом из смеси льняного масла, клейстера и еще там чего-то.

Научил его этому хитрому искусству китаец-кок — плавали вместе почти два года, подружались. Кок был маленький и круглолицый, с черными щелками раско-

сих глаз. Глянешь в них, и непонятно: смеются ли они, сердятся или грустят. Две бездонные, ровно поблескивающие щелочки.

В тесной каюте кока пахло красками, клеем и лаком. В бамбуковом стаканчике стояли острые, как пики, кисти, шуршали разложенные на столе заготовки будущих абажуров. За рейс кок успевал одарить ими команду от капитана до юнги, и все абажуры были разные.

Сначала Жора помогал коку просто так, от нечего делать. Потом увлекся, начал придумывать свои варианты разрисовки и в конце концов до того наловчился, что стало у него получаться не хуже, чем у кока. И тот в знак восхищения Жориными способностями подарил ему на прощание набор кистей и твердые, как камень, палочки китайской туши.

Жора выкраивал абажуры на разный манер, расписывал их, гофрировал бумагу, склеивал ее, подрезал, и в результате этих трудов появлялся под потолком еще один чудесный шар, весь в цветах, неизвестных ни одному ботанику мира. Или парила, спрятав в щупальцах электролампочку, переливаясь всеми морскими красками, красавица медуза или... впрочем, фантазия Жоры-моряка была безграничной. Джулькин абажур, например, скорее всего напоминал сердце.

— Следи, Джулия, — попросил Жора-моряк, даря абажур, — следи за тем, чтоб в ней никогда не перегорала лампочка. Горела бы ярко, вполнекала гореть ей тоже ни к чему...

— Слушай, Жора, — говорили ему друзья. — Ты же настоящий художник! Зачем тебе эти папиросы сдались — рисуй картины, хорошие деньги зарабатывать будешь. Для «загородного универмага» делай! На стенку большие картины: кавказец на коне с красавицей в руках или русалка без комбинации на берегу сидит, лебедя виноградом кормит. Знаешь, как берут? Особенно деревенский народ, он лучше красоту понимает.

— Не пойдет, братва.

— Почему?

— Лебеди, они виноград не едят, вот в чем дело...

Жора-моряк никогда подробно не рассказывал о своем довоенном житье-бытье. Лишь однажды за утренней папиросой поведал кое-что Джульке. Бывает такое настроение, когда хочется поведать о том, о чем раньше он старался умалчивать.

— Я всегда думаю, Жора, — сказала Джулька, —

почему ты домой не вернулся? Там ведь войны не было, все на месте, все целое.

— Там все разбито, Джулия... — Жора-моряк глубоко затынулся, скосив глаза, смотрел, как подрагивает на конце папиросы серый столбик пепла. — Хороший табак, долго пепел держится... В общем, понимаешь, не ждут меня там... такого вот. Я не о родителях, их у меня нет. Я о другом человеке... Возвращаться-то надо кому-то на радость. А какая с меня ей теперь радость? А значит, и возвращаться не следует... — Он докурил папиросу, бросил в жестяной совок, лежавший у края тротуара, — дворники заканчивали свой утренний труд.

* * *

На вещевом складе пожилой старшина выдал каждому из новобранцев по паре нового белья, пахнущие махоркой шинели, гимнастерки и галифе из диагонали, потом английские ботинки с круглыми носами и скатанные на манер бинтов обмотки.

— Портянки в белье, с кальсонами вместе, — сказал он. — Пилотки и ремни в шинельном кармане. Гражданское барахлишко свернете. И не забудьте бирочку с фамилией на него навесить. А теперь айда в баню!..

Самым трудным оказалось правильно намотать портянки. Как ни прикладывали их к ноге, жесткая бязь соскальзывала или сбивалась в комок. Только у Ромки получилось на удивление ловко и с первого же раза.

— Жора-моряк показывал. — Ромка плотно обернул ногу портянкой, сложил ее раз, другой, заткнул кончик и потянулся за ботинком. — Молодец — научил!

— Жора-моряк?! — удивился Минастик. — Но у него ведь...

— Ну и что? — перебил Ромка. — Я к нему зашел попрощаться, а он вдруг спросил насчет портянок: «Умеешь?» Я отвечаю: «Откуда умею, на черта мне эти тряпки, носки лучше!» Оказывается, в армии носки не разрешают. «Давай, — говорит Жора, — снимай сандали, учить буду!» И стал показывать. Полотенце взял — раз-раз и накрутил. Потом меня заставил. «Иначе, — говорит, — мучиться будешь, ноги натрешь...» Я потом еще дома тренировался, бабка старую наволочку дала, очень хорошо получилось...

«Мог бы и нас предупредить, — подумал Ива, глядявываясь к тому, как управляется со своими портянками Ромка. — Обязательно ему выставиться нужно!..»

Ромка несколько раз продемонстрировав свое искусство. Он был доволен собой и особенно тем, что оказался предусмотрительнее Ивы и Минаса.

Дело в том, что они тоже ходили к Жоре-моряку прощаться. И когда разговор у них коснулся сложностей предстоящей службы, Жора, помнится, сказал что-то об этих своенравных портянках. Но Ива поспешил перейти на другую тему — показалось неловким говорить с Жорой-моряком о вещах, которые тому уже никогда не понадобятся.

Прощаясь с ними, Жора сказал:

— Чего бы вам подарить, ребята, на память? Абазур не годится, не тот случай...

— Да не надо ничего... — начал было Минас.

— Тихо! — прервал его Жора-моряк. — Не сбивай с мысли... О! Знаю! Есть у меня две нужные военному человеку вещицы. Конечно, лучше, чтоб у вас не дошло до них дело, потому как страшное оно... И все же всякое может случиться, война еще не кончилась.

Он дотянулся до висящей на стене картины, снял ее. За ней на двух гвоздях висели короткие ножи с черными рукоятками, отделанными медью.

— Немецкая работа. — Жора расстегнул ремешок, вынул один из ножей. Ослепительно блеснуло широкое лезвие. — Настоящая золингеновская сталь. — Он повернул лезвие к свету. — Видали, что написано?.. «Все для Германии», поняли, как они? Здесь еще на ручке орел был со свастикой, да я скovyрнул, нечего ему красоваться... Так что берите на память и... пусть они вам не пригодятся!..

Как выяснилось, Ромка тоже получил подарок от Жоры-моряка. Но об этом Ива и Минас узнали гораздо позже.

* * *

Свой отъезд Ива представлял совсем не так, как получилось в действительности. Он помнил проводы Кубика: забитые эшелонами запасные пути товарной станции, танки на платформах и часовые возле них. Жаль,

конечно, что не было тогда оркестра, столь необходимого в подобных случаях.

А теперь вот оркестр был, зато отсутствовало все остальное: эшелоны, часовые, сидящие в теплушках солдаты. Был обычный пассажирский поезд, который предстояло взять с боя, потому что проездные документы в райвоенкомате выписали, разумеется, в бесплацикартный вагон.

Вадимин и Рэма должны были ехать отдельно, в другом вагоне.

— Очень хорошо, — сказал Ромка, — мы своей компанией поедem...

По старой памяти он предпочитал быть подальше от глаз учителя. Бывшего, не бывшего, какая разница.

Оркестр на вокзале играл без передышки. Не в честь отъезжающих новобранцев, а совсем по другому случаю — в гастрольную поездку отправлялись артисты филармонии. Вот и стоял оркестр возле двух, дополнительно подцепленных к составу вагонов и играл в полную силу подряд весь свой репертуар: арии из оперетт, лезгинку, полонез Огинского. А Иве было грустно. Уж лучше б он замолчал, этот громыхающий оркестр, чем играть то, что не положено играть, когда уезжают из дома солдаты.

Провожających пришло много. Почти весь дом был здесь, на перроне вокзала. Мадам Флигель плакала, держа Рэму за обе руки, родители Минаса тоже плакали, и кое-кто из соседей начал было прикладывать к глазам платки.

«Да будет вам, право! — хотелось крикнуть Иве. — Что вы это? Разве можно так, словно хороните. Мы вернемся назад, все будет в порядке, не бойтесь за нас, мы вернемся!..»

И тут, будто подслушав его мысли, оркестр стих на секунду и заиграл наконец то, что нужно играть, провожая солдат:

В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь, когда растает снег...

Ива стоял на подножке, глядел поверх голов провожающих и первым увидел Жору-моряка. Тот вышел из машины, расплатился с шофером и, тяжело переставляя костыли, пошел по перрону. На Жоре были новенькая

форменка и идеально отутюженные клеши. Медаль «За оборону Кавказа» покачивалась на груди.

«А он, оказывается, высокий ростом... — подумал Ива и, прыгнув с подножки, побежал к Жоре-моряку. — Был человек высокого роста, и никто не знал, привыкли, что он на тележке. Эх!..»

Страшное ощущение какой-то необъяснимой вины перед этим человеком охватило Иву. Он не понимал, в чем именно виноват и почему только сейчас вдруг ощутил это, но тем не менее не в силах был избавиться от охватившего его чувства.

— Мы здесь, Жора! — кричал Ива, пробиваясь через толпу. — Здесь мы, у седьмого вагона!..

Отправление поезда задерживалось, на выходной стрелке упрямо горел красный глаз семафора. Устав плакать, мадам Флигель принялась что-то сердито выговаривать Рэме, и та слушала ее не перебивая, все поглаживая по плечу.

— Без мест останетесь, ни одного свободного уже нет! — кричал Иве и Минасу Ромка.

Он успел занять верхнюю полку и теперь лежал на ней, выставив голову в приоткрытое окно.

— Где ты положил хачапури? — в который раз спрашивала его мать.

— Нигде. Я съел их, пока теплые были...

Родители Минасы без конца клали в его вещмешок свертки и кулечки, вынимали их обратно, перекладывали. На каждом была наклеена бумажка с указанием, что за снедь в свертке и в какую очередь она должна быть съедена. Минас смущенно переминался с ноги на ногу, плохо намотанные портянки натерли ему под лодыжками, гимнастерка жала в плечах.

Наконец раздался пронзительный свисток. Паровоз ответил басом, и сразу потух красный глаз семафора, зажегся зеленый.

«Зеленый цвет прекрасен, это цвет надежды», — любил повторять Ивин отец.

Вот он стоит сейчас на перроне, его отпустили с завода проводить сына, и он впервые привинтил к лацкану пиджака свой орден. А рядом мама. И не плачет, молодцом держится! Ива сделал шаг к подножке вагона. Что-то еще должно было произойти? Обязательно должно. Но что?..

Он оглянулся, словно ища ответа. И тут к нему по-

дошла Джулька. Протянула коробку из белого картона.

— Это тебе на дорогу, — сказала она.

— Спасибо, только зачем?.. — начал было Ива.

Но Джулька прикоснулась к его губам пальцами, как бы заранее не соглашаясь со всеми этими ненужными словами, которые некогда говорить сейчас, за секунду до отхода поезда. Не надо забывать, куда едут в этом поезде, не надо тратить время на вежливые слова...

Прозрачные Джулькины глаза были совсем рядом, Ива смотрел в них не отрываясь.

Забравшиеся в вагон оркестранты продолжали играть, выставив в окна свои трубы, кричала что-то мадам Флигель, но Ива ничего не слышал, он смотрел в Джулькины глаза.

— Я буду ждать тебя — сказала она и поцеловала Иву в губы. При всех, не стесняясь — это же была Джулька.

Поезд тронулся, Ива вскочил на подножку. Джулька пошла рядом. Красивая и независимая, она шла, держа Иву за руку.

Но поезду было некогда, он вез солдат и поэтому спешил. Джулькины пальцы выскользнули из Ивиной ладони. Мелькнули последние столбы вокзального перрона.

— Я буду ждать тебя!..

* * *

Ива часто вспоминал проведенную в пути неделю, что навсегда отделила его от привычной домашней жизни. Все в этой жизни казалось устойчивым и понятным, и можно было с уверенностью предсказывать события, которые произойдут завтра или послезавтра. И, самое главное, вокруг Ивы находились одни и те же люди, хорошо знакомые и не очень, но всегда было понятно, что следует ждать от каждого из них, а чего ждать не следует. Соразмерно с этим знанием строились отношения, и все было в них объяснимо и ясно.

К тому же надо добавить еще одно немаловажное обстоятельство: Ива ни разу за свои восемнадцать лет никуда не уезжал один. До войны он ежегодно отправлялся с родителями к бабушке, в маленький приморский

городок, и на этом, пожалуй, весь его небольшой опыт путешественника исчерпывался.

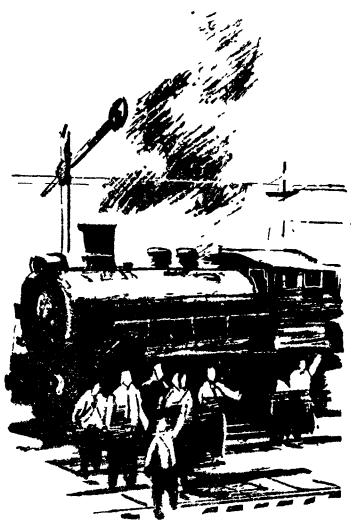
А путешественнику опыт необходим. Совершенно неважно, что это за путешественник — первопроходец, пробирающийся по сибирской тайге или амазонской сельве, или просто человек, едущий в бесплацкартном вагоне обычного пассажирского поезда.

Уже потом, по прошествии времени, Ива понял, что восемь дней, проведенные им в дороге, сделали из него совсем другого человека, куда более решительного и предприимчивого. Даже вернись он сразу после этих восьми дней домой, его просто не узнали бы.

Опыт путешественника — это не сведения, почерпнутые из справочников, и не советы бывалых людей, а прежде всего практика. «Я не могу попробовать для вас яблока, — как говорят в таких случаях англичане. — Яблоко каждый сам должен пробовать для себя...»

А вот Ромка, который тоже никогда и никуда не уезжал из дома один, опыт путешественника имел. Видимо, врожденный. И нюх тоже.

— Слушай, — приставал он к Иве, — что тебе там Джулька дала, что за коробка?





В коробке из белого картона оказалось двенадцать пирожных. Раскрыв ее, Ива ахнул — до того они были великолепны.

— Ва! — поразился Ромка. — Ты посмотри, что придумала! — И добавил с нескрываемым упреком: — Сестра называется! Такие пирожные по пятьдесят рублей штука в коммерческом магазине стоят! А что она мне на шестьсот рублей там купила? Ничего!.. Хорошо, что у тебя сестры нету, Ивка, на черта эти сестры сдались!

Ива почувствовал себя неловко — злополучные пирожные могли, чего доброго, стать причиной разлада между братом и сестрой. Но Ромка рассудил иначе.

— Очень повезло, что она так в тебя влюбилась, — заявил он. — Иначе эти пирожные сейчас кто-нибудь другой кушал бы, а не мы.

— Да, да, конечно, — спохватился Ива. — Давайте, ребята, берите. Минас, чего ж ты?

— Два отложим, — продолжал Ромка, выбирая пирожные поменьше. — Даже три. Кубику отнесем для Рэмы, ну. Остальное как раз по три штуки получается...

В вагон к Кубику ходили по очереди. Вначале пошел Ромка с пирожными, а Ива с Минасом сторожили завоеванные полки. Потом Ромка остался караульщиком, отказавшись от помощи Минаса.

— Он все равно ругаться не умеет. Очень добрый, между прочим!

В вагон к Кубику ходили раз в день и сидели там недолго, чтобы не надоедать своим присутствием. Тем более что и Кубик был не тот, как когда-то в школе. Одно дело учитель с журналом в руке или даже командир юнармейского полка, а совсем другое — боевой майор с тремя орденами и гвардейским значком на кителе. То был уже в лучшем случае «бывший Кубик». Да и Рэма в погонах младшего лейтенанта медицинской службы выглядела если и не начальственно, то все же очень непривычно. Все время где-то подспудно жила мысль: она офицер, значит, на людях к ней можно обращаться только на «вы», а при встрече приветствовать согласно Уставу. Это не совсем укладывалось в голове и как-то мешало свободному общению. А здесь еще Кубик то обнимет ее за плечи, то в щеку чмокнет, черт знает что за положение!

Поэтому в гостях особенно не задерживались, разго-

воры вели чинные, и только Ромка болтал обо всем, что в голову взбредет...

Расшатанный вагон продолжал свой бег на запад. Тронутые первыми весенними ветрами, уплывали назад почерневшие поля. Поезд с гулом проносился по мостам, ему смотрели вслед разрушенные бомбежками вокзалы, лежащие под откосами мертвые паровозы, одноглазые сторожки путевых обходчиков.

Поезд несясь сквозь ночь, и спящие в нем люди видели сны; каждый смотрел свой сон, короткий или длинный, тревожный или радостный.

Похрапывала сварливая проводница, спал майор Вадимин, сладко причмокивал во сне Ромка.

* * *

Границу переехали ночью. Ива не спал. Прижавшись лицом к черному стеклу, он смотрел, как медленно проплывает внизу, под пролетами временного моста, заросшая ивняком речка. В молочном свете луны прорисовывался силуэт старого моста. От него остались лишь бычки да рухнувшие в воду искореженные взрывом фермы.

Граница... Ива испытывал некоторое разочарование. Все выглядело как-то буднично — ни полосатых столбов, ни часовых, ни той торжественности, которая обязательно должна быть, когда человек пересекает рубеж двух государств, одно из которых — его Родина. Тем более впервые пересекает.

Торжественности, увы, не было. В вагоне все спали. Теперь в нем находился только военный люд, и дважды в день по составу проходили патрули, придирчиво проверяли документы.

— Куда следуете?.. Из какого госпиталя возвращаетесь?.. Кто старший?..

Когда спрашивали, кто старший, Ромка неизменно показывал на Иву, и тот сначала сбивчиво, а потом все увереннее объяснял, кто они такие, куда следуют и зачем.

Патрули слушали недоверчиво, дважды приходилось прибегать к помощи Вадимины.

«Граница... — думал Ива. — Это надо ведь, еще немного, и мы будем в другом государстве! Как же можно спать в такую минуту?!»

Он попытался разбудить Ромку, но Ромка проснуться не пожелал. Только пробурчал, не открывая глаз:

— Отстань, ну! Завтра посмотрим твою границу, все равно ночью ничего не видно.

Все осталось позади: сердитая проводница и сам поезд, составленный из расшатанных, давно не видавших ремонта пассажирских вагонов. Теперь Иву и его спутников вез эшелон, обычный воинский эшелон, в котором не было никаких проводниц и быть не могло.

Глубокой ночью он подошел к границе, остановился около наскоро наведенного моста через безымянную речку.

— Граница! Ну чего ж ты спишь, Минас?! Граница ведь!.. — Ива потряс его за плечо. — Нашли тоже время спать!

Минас приподнял голову. В неверном свете луны уплывали назад сонная речка, развороченные взрывом устои моста, упавшие в воду фермы.

Паровоз вскрикнул тревожно, словно и он хотел разбудить кого-то, заставить взглянуть на исчезающий в тумане дальний берег реки. Там оставалась родная земля, и, покидая ее, каждый должен просить у судьбы, чтоб вернула его обратно живого и хорошо бы невредимого. Все остальное уже не так важно...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ

Вадимин тоже вспоминал восемь дней, проведенных в пути. С мирных времен не приводилось ему так славно путешествовать. Конечно, главное заключалось в том, что ехал он не один, а с Рэмой. И тем не менее...

Трое суток на всех станциях, полустанках и разъездах, где приходилось стоять поезду, оркестр филармонии устраивал импровизированные концерты. Через два дня постоянные пассажиры наизусть знали всю его программу.

— Это же двойная выгода! — говорил дирижер, худой и юркий, словно черный волчок. Поезд только еще подходил к очередной станции, а оркестранты уже теснились в тамбурах, и дирижер во фраке, с развевающимися фалдами стоял на подножке, зажав в руке полированную палочку. — Это же двойная выгода! — кричал он в ухо администратору. — Это репетиция и одновременно работа с населением, которое жаждет от нас высокого искусства! Если бы еще наша Вавочка спела, так то был бы грандиозный фурор!

Но Вавочка на вокзалах петь не желала, и оркестр старался компенсировать ее отсутствие удвоенным собственным усердием. Он играл вальсы из оперетт, военные марши, сочинения своего дирижера, по особому заказу слушателей — цыганочку с выходом.

Вадимин слушал эти концерты и вспоминал зиму сорок второго года, заснеженные пути где-то под Пензой и эшелон, в котором привелось ему тащиться после госпиталя к месту нового назначения. В том эшелоне тоже ехали артисты филармонии: эвакуировались куда-то в глубь страны. Только концертов на станциях они не давали, не до концертов им было.

В пронизанных декабрьским ветром теплушках плакали дети; на остановках женщины спешили к дощатым базарчикам в надежде выменять цыганскую шаль или нитку искусственного жемчуга на миску горячей картошки и пяток яиц.

И только старик в наброшенном на плечи клетчатом пледе всякий раз шел к открытой платформе, на которой стоял большой концертный рояль. Наверное, это был очень дорогой инструмент, возможно, на нем играли некогда знаменитые пианисты, Вадимин не знал этого. Он только видел, как старик заботливо, точно живого, укрывал рояль потертым театральным занавесом. Подтыкал углы, привязывал какие-то веревочки, чтоб занавес не сдуло на ходу. Иногда старик доставал ключ и, отперев рояль, осторожно трогал клавиши. Казалось, он проверяет, жив ли его подопечный, не замерз ли до смерти на скованной морозом платформе, среди каких-то ящиков, бочек и прочего хлама. Рояль отвечал на прикосновение медленных стариковских пальцев печально и глухо.

— Вы поймите, — втолковывал Вадимин начальнику эшелона, — надо обязательно найти что-то, чем можно укутать рояль. Иначе он пропадет, это же рояль!

— Слушай, лейтенант, шел бы ты со своей бандурой знаешь куда?.. Не знаешь? Вот туда и иди! — Начальник эшелона яростно косил на Вадими́на красным от бессонницы глазом. — Моя забота — людей от холода спасти, чтоб они не пропали, а ты... О людях думать надо, лейтенант, а не о музыке всякой, война на дворе!

— Так ведь рояль, он не сам для себя, он для людей существует. Война не вечно будет.

— Вот как только кончим ее, так враз и наделаем

таких пианинов сколько душе потребуется. А покамест не время, понял, лейтенант?..

И все же раздобыл где-то начальник эшелона три тюка соломы, велел натолкать ее внутрь, под занавес, все теплее будет, а сверху две попоны бросить, авось и доберется нормально бандура капризная до нового своего местожительства...

«Другие были поезда в сорок втором, — думал Вадимин, в который раз слушая полонез Огинского в исполнении филармонического оркестра, — другие разговоры, другие заботы, другая музыка. Все это уже в прошлом. И у каждого это прошлое свое, и на всех оно единое...»

* * *

Полком Вадимин был в общем доволен. Правда, пополнение на две трети состояло из новобранцев, ребят необстрелянных еще, зато полк с полным основанием можно было назвать комсомольским.

Вадимин любил, когда вокруг него были совсем молодые, мальчишеские лица. Это неуловимо напоминало ему школу, необычную школу, где учатся одни мальчишки, круглоголовые, коротко остриженные, одетые в одинаковую форму. А он точно директор ее и учитель этих послушных ему учеников. И очень важно, чтобы они счастливо окончили суровую школу войны.

Эти мысли приходили к нему и до знакомства с новым составом полка, еще в поезде, когда, робко постучав в дверь, в купе входили Ива с Миной. Или — менее робко — Ромка.

Где-то в глубине души Вадимин был рад, что благодаря усилиям Зураба Каладзе ему удалось взять с собой ребят и этим почти наверняка уберечь их от огня — вряд ли дивизию успеют так быстро сформировать, скорее всего война для нее уже окончилась.

Он понимал, что это несправедливо по отношению к кому-то другому, кто остался в учебном полку и в самое ближайшее время может оказаться на передовой; кто знает, как сложится дальше его судьба? Никто не знает — последние сражения этой войны будут самыми жестокими.

И в то же время ребята тут ни при чем. Он же не рассказывал им о положении дел в дивизии, о возможных сроках ее формирования и обо всем прочем. Нет,

конечно. Но сам-то он все знал и тем не менее согласился взять ребят с собой.

«Я поступил как учитель, как неисправимый учитель, боящийся за своих учеников, только-то и всего. Это единственное, что может служить оправданием моего поступка...»

Новобранцы принимали присягу на выложенной гранитной брусчаткой городской площади. Город был почти полностью разрушен, жители покинули его.

Вокруг площади тяжело стояли старые угрюмые дома. Ратуша, городской суд, собор с колючими башенками вдоль фасада. По непонятной случайности эти здания уцелели, лишь кое-где огонь оставил на каменной кладке черные следы да взрывной волной выбило окна. Полностью сохранился лишь центральный витраж над главным входом в собор. Неизвестные святые с постными бюргерскими лицами теснились на нем, смотрели с высоты на выстроенный в каре полк, на боевое Красное знамя с орденской лентой, на идущего вдоль строя командира дивизии.

Над площадью звучали непонятные этому городу, не слышанные им за все шесть веков его существования русские слова. Солдаты давали клятву на верность служения Родине, далекой сейчас от них и в то же время как никогда близкой.

Ива повторял эти слова и одновременно слышал, как произносит их стоящий слева Ромка, стоящий сзади него Минас и еще тысяча вчера незнакомых им ребят, связанных отныне в неразрывное целое великой солдатской клятвой.

Если нужно будет Родине для счастья, для ее свободы и независимости, они все, солдаты Рабоче-Крестьянской Красной Армии, не задумываясь, отдадут жизни, но выполнят до конца высокий свой долг. А если нет, то пусть... Впрочем, никаких нет! Они выполняют обязательно, несмотря ни на что, какие тут могут быть «если»?!

Оркестр громыхнул медью, перекрыл еще звенящую над площадью команду Вадимины:

— ...а-арш!..

Тысяча ног одновременно ударила по граниту брусчатки, полк, разворачиваясь в колонну, уходил с площади.

Святые испуганно теснились на уцелевшем витраже собора, смотрели вслед уходящему с их площади полку...

Военная карьера у Ромки поначалу не очень ладилась. В конце первой недели службы он схлопотал от ротного старшины три наряда вне очереди за пререкания с поваром батальонного хоззвода и насмешки над ним.

— Какой ты повар?! — кричал Ромка. — Ты вредитель по продуктам, берешь со склада хорошие, делаешь плохие и еще нас потом заставляешь их кушать, чтоб следов не осталось. В нашем городе таких поваров, как ты, в реку с моста бросают. А чтоб не всплыли, кастрюлю с твоим сачмэли * на шею вешают, — и Ромка сунул повару термос с недоеденным гуляшом.

Повар был пожилой, к тому же в звании старшего сержанта и при двух медалях. Он смертельно оскорбился, ибо за годы военно-поварской деятельности хоть и не слышал особенных похвал, но и таких слов, как это самое «сачмэли», тоже зарабатывать не приходилось. Да еще от кого? От сопляка какого-то нахального, который в армии всего неделю без года, а уже на старослужащих, ветеранов полка, можно сказать, копытом стучит!

Короче говоря, повар пожаловался на Ромку старшине роты и пригрозил, что если тот не «врежет этой салаге на полную катушку», то дело и до комбата дойти может, а то и до командира полка.

— А ты сразу ж до генерала подайся, — посоветовал повару старшина. — Ото ж йому интересно буде у твоему гуляше поколупатесь.

Однако Ромку все же вызвал и строго допросил.

— Як тебе срам не бере, таки молодой хлопец и до старого дурня з похабным словом полиз? Як ты там його обозвал?

— Я не обзывал, товарищ старшина!

— Не пре-рекайтесь! А хто його при рядовом составе сачмалем костырнул?

— Сачмэли — это не ругательство...

— От-ставить пререкайтесь! Не думай, як що ты со средним образованием, той мы ж тут усе таки же дурни, як той повар. Мы тэж иностранну мову разумием. И германьскую и яку другу, да, да... А повар той усю войну

* Еда, обед (груз.).

у котла хотовся и дило свое хочь и погано, алеш справляет. Ото поставлю тебе на його место...

— Пожалуйста, товарищ старшина! Такие хинкали сделаю, прямо с пальцами срубаετε!

— Фатит пререкаться! Яки языкатый!.. «3 пальцами срубает!»!.. Та хто ж тоби кухню доверит? Батальон без харча оставить? Тут хучь какой, а есть.... — И, подумав, добавил: — Три наряда вне очереди!

— За что три наряда?!

— Кру-хом!..

— Ничего! — бормотал Ромка, елозя мокрой тряпкой по цветному паркетному полу, — батальон размещался в старом трехэтажном особняке; половина дома была разрушена, а уцелевшую часть использовали под казарму. — Ничего... Я этому старшине докажу, кто повар, а кто вредитель по продуктам!..

Еще до этого случая, обследовав пригород, сильно разбитый артиллерийским обстрелом, Ромка в одном из палисадников обнаружил пробившиеся росточки хорошо знакомых ему трав.

— Ва! Здесь, оказывается, кавказцы жили! — сообщил он Иве и Минасу. — Смотрите, что я нарвал: киндза! Ну нюхай, киндза, ну!.. А это что? Это цицмати и тархун. Наверное, какие-то предатели Родины жили. Я даже подумал: может, князь Цицианов, а?

— Нет, не Цицианов, — возразил Ива. — Скорее биржевой маклер Сананиди, который снимал у старого Туманова флигель. Тоже ведь сбежал, раньше Цицианова.

— Смеешься, да? Веселый какой! Самый веселый в Красной Армии человек... — Ромка пожевал траву. — Наша, настоящая.

— Видишь ли, — сказал Минас, — это травы все не кавказские, они имеют распространение во всей Европе. Цицмати — это кресс-салат, тархун — эстрагон.

— Хватит, ну, профессор! — прервал его Ромка. — Пресс-салат-макарон! Лекции любишь читать... Скажи лучше, грецкие орехи у тебя остались? Те, что папа-мама в вещмешок положили?

— Очень немного, с полкило.

— Ладно, давай полкило! Я ему докажу, кто повар, а кто вредитель по продуктам...

Бродячую курицу Ромка поймал в том же палисаднике, где накануне обнаружил «кавказские» травы. Ку-

рица оказалась худющей, видно, после бегства хозяев кормиться ей было нечем.

— Совсем дохлая курица попалась! — сокрушался Ромка. — Но раз другой нету, из нее буду делать...

Где и как он состряпал сациви, не знал никто. Скорее всего в разрушенной части особняка после отбоя.

Ромка принес котелок старшине, снял крышку.

— Вот, пожалуйста...

— Шо це?

— Это и есть сачмэли. Пусть ваш повар такое сделает, если шно имеет *.

Старшина с подозрением посмотрел на Ромку, потом, не меняя выражения, заглянул в котелок. И снова на Ромку.

— Сам зробыв?

— Конечно, сам...

Вынув из-за голенища ложку, старшина обтер ее платочком и ковырнул соус; подцепил кончиком самую малость, попробовал раз, другой.

— Значит, сачмэли?

— Так точно!

— А з хлебом можно його?

— Почему нельзя? Прямо туда макайте, а ложку назад спрячьте, это же не ши...

Старшина съел полкотелка. Остальное оставил на ужин.

— Яка добра еда то сачмэли. Тильки де ж той повар курей на усю роту напасет? Ты цю сачмелю з перловки зробы, тогда и прерыкайся с им. Понял?.. Ну добре, взыскание отменяю.

— Апус! ** А я уже отработал все три наряда.

— Ничего! Нехай загашник буде...

Неожиданно для всех Минаса избрали комсоргом роты. Что именно послужило основанием для такого выбора, сказать трудно, но чем-то он расположил к себе ребят. Голосовали за Минаса дружно, а он смущался и краснел и все хотел дать самоотвод, но Ива удержал его от этого:

— Будет тебе, какой еще самоотвод?

— У меня может не получиться!

— Получится...

Так и избрали его единогласно.

— Ва! Умеют же устраиваться люди! — не преминул

* В смысле: если осмелится.

** Увы! (груз.).

прокомментировать это событие Ромка. — Теперь его от строевой подготовки точно освободят.

Но Минаса не освободили. Вместе со всеми он рубил шаг на плацу, преодолевал штурмовые полосы, бил по мишеням из автомата, швырял учебные гранаты в сколоченный из досок танк, на полном ходу спрыгивал с настоящего и, потирая ушибленные колени, бежал в атаку с автоматом наперевес.

— Урраа!..

Рота училась воевать.

Вечером, устроившись на холодном мраморном подоконнике, Минас писал письма: маме с папой, обоим бабушкам и тете Маргарите.

* * *

На Берлинском направлении начались ожесточенные бои. Глубоко эшелонированная немецкая оборона, сдерживая наступательный порыв русских, прогибается, словно гигантская пружина, и, несмотря на невероятную мощь ударов, не дала пока ни одной трещины.

Бои идут днем и ночью. На одном из участков обороны против русских танков был брошен истребительный отряд из формирований гитлерюгенда. Четырнадцати-пятнадцатилетние солдаты, вооруженные фаустпатронами, сумели удержать позиции на окраине города, являющегося важным в тактическом отношении узлом общей оборонительной системы.

Радиостанции союзных войск работали круглосуточно. В эфире было тесно. Шифрованные и открытые тексты, нервный писк морзянки, бесчисленные позывные — все это несло над землей, точно нити перепутанной пряжи, и каждый радист старался ухватиться только за свою ниточку, вытянуть ее из общего клубка, не оборвать, пробраться по ней до самого начала и до самого конца, понять все и, если нужно, запустить в эфир свою ответную нить...

Берлин бомбила с востока советская авиация и с запада союзная. Он был в огне и в дыму. Казалось, что весеннее солнце покинуло его улицы и теперь не будет больше ни рассветов, ни закатов, останется лишь багровая, высвеченная пожарами тревожная ночь осажденного города. Громадного и одинокого...

Именно в этот город в неуклюжем «майбахе» привезли остатки истребительного отряда гитлерюгенда,

того самого отряда, что сумел удержать подступы к узлу обороны.

На темных от пыли и дыма фасадах берлинских домов проступали надписи:

«Наши стены разбиты, но сердца крепки!»

«Берлин останется немецким!»

«Капитулировать? Нет, никогда!»

Усталые мальчишки в слишком свободных для их нешироких плеч мундирах шагали по брусчатой мостовой. Редкие прохожие останавливались на тротуарах, смотрели им вслед.

— Адольф Гитлер — наш рыцарь, наш славный герой! — пели мальчишки. — Для Гитлера мы живем, и за него мы у-мирае-ем!..

Их разместили в тесной, пропахшей дезинфекцией гостинице. Раздали по бутерброду с настоящим маслом и по кружке жидкого кофе. За плотными шторами, за тонким оконным стеклом не спал город, громадный и одинокий. И вместе с городом не спал худой, коротко стриженный подросток с нервным, лишенным румянца лицом. Он отличился там, на изрытом снарядами плацдарме, — поджег три танка. Сам не знал, как это у него получилось и каким чудом удалось ему выйти живым из бушевавшего вокруг огненного шквала.

Звали подростка Фриц Нойнтэ. Он терпеть не мог свою фамилию, Нойнтэ. Его дразнили из-за нее Девяткой, Фриц Девятка...

Он не знал своих родителей. В приюте, когда подрос, ему рассказывали, что отец его был убит еще в тридцать втором году во время уличной стычки.

— Это был истинный немец, штурмовик, герой! Его убили коммунисты, люди Тельмана, пытавшиеся предать Германию. Запомни, Фриц Нойнтэ, это они сделали вдовой твою мать, добрую патриотку. Ей не удалось пережить горе, и вот тебя, круглого сироту, совсем еще малютку, привезли сюда, к нам. И ты стал сыном великого нашего фюрера, а значит, должен сделать все, чтобы отблагодарить его за заботы о тебе, Фриц Нойнтэ, запомни это, мальчик!..

За стенами гостиницы никак не мог заснуть каменный город. Тяжелая дрема навалилась на него, но тут же начинали выть сирены, и он просыпался и испуганно шарил по ночному небу мутными глазами прожекторов.

В тесном номере гостиницы никак не мог уснуть подросток по имени Фриц Нойнтэ. Ему мерещилась узкая берлинская улица и лежащий на тротуаре отец в коричневой рубашке, со свастики на рукаве, убитый коммунистами отец, истинный немец, герой...

На следующий день Фриц Нойнтэ будет стоять под морозящим дождем на небольшой площади в центре Берлина. Площадь пуста. Лишь шеренга мальчишек в солдатских мундирах да черная цепочка эсэсовцев, перекрывших ближайшие улицы и проходные дворы.

Потом подъедет автомобиль, и сутулый человек шаркающей походкой пересечет площадь. Он будет медленно идти вдоль замершей шеренги, всматриваясь в мальчишеские лица, кривя в улыбке тонкие бесцветные губы.

Остановившись возле Фрица Нойнтэ, он погладит его по щеке холодной подрагивающей рукой и скажет какие-то слова: Фриц от волнения не расслышит их.

Не отрываясь, он будет смотреть на бледные, с обкусанными ногтями пальцы фюрера, на Железный крест, который эти пальцы приколют к серому сукну мундира и, секунду помедлив, расправят складку над карманом.

— Как тебя зовут? — донесется сквозь звон в ушах.

— Фриц Нойнтэ, мой фюрер...

— Прекрасная фамилия! Девять — счастливое число, запомни это, Фриц Нойнтэ...

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ

В ночь на третье апреля Вильгельм Крюгер вылетел в Берлин. Задание выполнено — все, что представляло особую ценность, было вывезено его спецгруппой в заранее подготовленные тайники и надежно укрыто. Круг людей, посвященных в подробности этой операции, сузили до предела, убрав всех второстепенных исполнителей.

Крюгер справедливо предполагал, что не он один занят выполнением столь деликатных поручений. Кто-то работал параллельно, кто именно, знать не следовало. Опасно знать больше, чем это необходимо для выполнения полученного тобой задания, можно попасть в нежелательные свидетели, и тогда конец.

Не ведал он ничего и о том, что именно находилось

в запломбированных металлических ящиках, которые его группа доставляла к тайникам. Может быть, архивы, а возможно, и золото или другие ценности, Крюгера это не касалось. Вес ящиков был примерно одинаковым, рассчитанным на то, чтоб ящик без особого труда смогли бы поднять за ручки и нести два человека.

Трехмоторный «Юнкерс-52», оторвавшись от бетонной полосы, взмыл вверх, круто набрал высоту и лег на курс. Горизонт гигантской дугой опоясывали зарева пожаров. Вальтеру казалось, что горит вся Восточная Пруссия, что огненное кольцо, неумолимо сужаясь, вот-вот обхватит каменную грудь Кенигсберга, и город исчезнет, расплавится, превратится в прах и пепел.

Как же получилось, что русские сумели все же прорваться через оборонительные пояса и выйти к побережью Фриш-Гофа, отбросить в море основные силы восточнопрусской группировки? Где, когда, кем была допущена ошибка в расчетах, и кто ответит за нее перед лицом германской истории?..

«Что ждет меня в Берлине?.. — Вальтер вынул из кармана френча пачку сигарет, но курить не стал, бросил сигареты на сиденье. — Меньше всего хотелось бы застрять там сейчас. Все, что угодно, только не это!..»

В Берлине его задержали всего на сутки. Тот же человек, с которым он встречался при получении первого своего задания, сухо кивнул, показал на кресло.

— Поздравляю вас, Крюгер. — Голос был монотонный и какой-то скучный. — Вы показали себя с лучшей стороны, вами довольны.

— Благодарю вас, господин группенфюрер!

— Ладно, Крюгер, сейчас не до любезностей! Вам предстоит еще раз продемонстрировать свои несомненные достоинства. Времени в обрез, как вы сами понимаете. Но сюда... — Он ткнул указкой в какую-то точку на карте. — Подойдите ближе, Крюгер.

Карта висела в неглубокой нише. Острие указки твердо упиралось в коричнево-зеленую полосу, тянущуюся вдоль границы Австрии и Чехословакии.

— Сюда русским еще надо добраться. И сделать это не так-то просто — на их пути будет стоять миллионная группировка «Центр» Шернера. А это неуступчивый по характеру человек... — Он бросил указку на стол. — Груз чрезвычайной важности, Крюгер, имейте в виду. Предусмотрена очень остроумная система ми-

нирования, с учетом геологической структуры горной местности. Когда все будет готово, взрыв сместит пласт, как это случается во время тектонических сдвигов. И даже вам, Крюгер, не удастся потом определить то место, где останутся под землей не тронутые взрывом камеры тайников. Лишь тот, кому известны соответствующие координаты, сможет с уверенностью ткнуть пальцем в землю и сказать: здесь!

«Вот и прекрасно! — подумал Вальтер. — В подобной ситуации чем меньше знаешь, тем лучше...»

— Повторяю, Крюгер: времени в обрез, надо форсировать работы. Займитесь подбором группы, обеспечением прикрытия и так далее. На месте вам надлежит быть утром восьмого мая. Удачи, Крюгер!..

Вальтер рассчитывал, что успеет еще вернуться на день в Кенигсберг, закончить кое-какие личные дела.

— Да вы что! — сказали ему на внутреннем берлинском аэродроме. — Шестого в полдень русские начали штурм города. Там сейчас крошечный ад! Бедняга Отто Ляш *, живым ему оттуда не выбраться.

«Многим и отсюда не удастся выбраться, — усмехнулся про себя Вальтер. — Но, кажется, я не окажусь в их числе...»

Он еще раз представил затемненные улицы мрачного города-крепости, фигуры патрулей на перекрестках, надписи на стенах вроде «Лучше смерть, чем Сибирь!» — и невольно подумал, что ему вновь повезло, он и на этот раз вовремя ушел от огня, в котором в ближайшие дни сгорит город его молодости — старый добрый Кенигсберг...

Звезда, счастливая звезда Вильгельма Крюгера — верная хранительница его и защита!..

В мае 1933 года в Берлине гестапо арестовало мужа и жену Верцлау.

Их сын, двухлетний Фридрих, вместе с матерью был препровожден вначале в женскую тюрьму на Принц-Альбрехтштрассе, а затем в специальную школу-приют, где получил новую фамилию Нойнтэ — он оказался девятым в списке, отсюда и появилась эта необычная фамилия.

* Генерал Отто Ляш был комендантом крепости Кенигсберг. 9 апреля 1945 года он подписал капитуляцию.

Было ему всего два года. Через пять он окончательно забыл лицо матери, запах ее рук и волос, ее глаза и голос. Отец еще иногда приходил к нему во сне — громкоголосый, широкоплечий, с дымящейся трубкой в белых зубах. Фриц всякий раз радовался этой встрече, но утром, проснувшись, никак не мог вспомнить, кто же снился ему в эту ночь...

В семь лет Фриц уже «пимпф»*. В этот же год в берлинской тюрьме был казнен Эрик Верцлау, коммунист-подпольщик, отец Фрица.

Потом казнили мать, Эльзу Верцлау, в той же женской тюрьме на Принц-Альбрехтштрассе, куда когда-то привезли в черной гестаповской машине двухлетнего Фрица.

Фридрих Нойнтэ с аппетитом ел по праздникам «айн-топф»**, пел со всеми свою любимую «Lang war die Nacht***», а ложась спать, обязательно бросал взгляд на вырезанную из журнала картину «Прекрасная смерть Герберта Норкуса». На ней юный Герберт с лоскутком флага, зажатым в высоко поднятой руке, падает на мостовую — он насмерть сражен пулей коммуниста. Тот пытается бежать, но возмущенные прохожие, олицетворяющие на картине немецкий народ, не дают ему скрыться, уйти от возмездия.

К Герберту спешат друзья. Черные флажки юнг-фолька и красно-белые гитлерюгенда трепещут над их головами.

Фриц Нойнтэ очень любил эту картину. Она всегда напоминала ему об отце. Ведь его тоже, как Герберта Норкуса, убили коммунисты, а боевые друзья в коричневых рубашках, склонившись над бездыханным телом, поклялись мстить врагам Германии, и слезы горя стыли в их голубых глазах.

Так рассказывал Фрицу воспитатель. Его голос всякий раз начинал дрожать, когда он добирался до голубых арийских глаз штурмовиков, в которых стыли прозрачные, как горный хрусталь, слезы.

А Фриц видел отца, широкоплечего и русоголового, лежащего с раскинутыми руками поперек мокрого от дождя тротуара...

В тринадцать лет Фриц стал функционером гитлер-

* Ученики младших классов, объединенные в детскую нацистскую организацию.

** Бесплатный обед для школьников, состоящий из одного блюда,

*** «Ночь была такой долгой» — популярная песня тех лет.

югенда, в четырнадцать — бойцом истребительного отряда. И сам фюрер приколот ему на грудь высший знак солдатской доблести — Железный крест.

Теперь уже никто не смел называть его Фрицем Девяткой. Он стал знаменитостью не только в своем отряде; «Берлинский фронтовой листок» назвал Фрица Нойнтэ бесстрашным истребителем большевистских танков и славным защитником цитадели великого рейха. Ни мало ни много...

«Если этот хрупкий, болезненный мальчик, преисполненный великой сыновней любви к фюреру, сумел остановить три стальные машины, — писалось в «листке», — то разве могут взрослые мужчины, солдаты великой Германии, хоть на секунду усомниться в своей силе, в своей неперменной победе над вконец выдохшимися, обескровленными нашей обороной русскими?! Окажись среди нас хоть один такой трус и предатель, его тут же постигнет суровая кара от рук своих же товарищей по оружию, его ждут позор и веревка!..»

У Фрица Нойнтэ никогда не было друзей. Пока он был просто Фрицем Девяткой, товарищи дразнили его, дело часто кончалось дракой, и так как он всегда оказывался в меньшинстве, то доставалось только ему. Теперь, когда Фриц неожиданно для всех прославился, бывшие враги превратились в лстивых завистников. Они всячески липли к нему, рассчитывая погреться в лучах чужой славы; и даже отрядный фюрер, долговязый Гуго Майер, сын лейпцигского аптекаря, стал говорить о Фрице.

— Нойнтэ мой лучший друг! Мы побратались с ним перед лицом смерти там. — Он многозначительно тыкал пальцем куда-то вдаль. — Это произошло в ту ночь, когда на нас перли русские танки...

— Да что ты врешь? — не выдержал однажды Фриц. — Я был один! А ты с полными штанами улепetyвал по ходу сообщения, бросив свой фауст. Я был один, и это знают все!..

Он действительно был один тогда. Танки появились как-то неожиданно, сразу, словно выросли вдруг из развороченной, дымящейся земли. На какую-то секунду Фриц оцепенел от ужаса, а потом, сам не ведая, что делает, выстрелил в упор, не целясь. Танк вспыхнул и, вздыбившись, остановился. Горячая волна ударила Фрица в грудь. Он упал на дно траншеи, пополз по ней на четвереньках. Рука натолкнулась на брошенный Май-

ером фаустпатрон. Фриц схватил его, точно в этой заляпанной грязью стальной трубке было спрятано спасение от окружавшего грохота, огня и гари.

Еще один танк навис над бруствером траншеи; мгновение — и все рухнет вниз, сомнет, раздавит, уничтожит. Фриц втиснул свое обмякшее от страха тело в боковую нишу, зажмурил глаза, дернул спуск. И потерял сознание.

Третий танк повернул и, строча на ходу из пулемета, пошел в обход. Пули цокали по бетонной стене стоявшего за траншеей дота, вздымали фонтанчики грязи на бруствере, впивались в мешки с песком. Но Фриц не видел и не слышал этого — он лежал в глубине ниши маленьким жалким комком в перепачканном мокрой глиной мышинном мундире.

Третий танк обошел траншею стороной, но и его приписали Фрицу Нойнтэ, героическому защитнику подступов к германской столице.

* * *

С востока подход к выбранному для тайника месту прикрывала почти отвесная горная гряда, густо заросшая лесом. Единственная узкая дорога шла по расселине, серпантинном взбираясь на плоское плато, тоже лесистое и безлюдное. Автомобильная дорога проходила низом с западной стороны плато. Вальтер пометил на карте место, где должны будут остановиться восемь «цугмашин» * с грузом. До штолен, в глубине которых подготовлены тайники, ящики придется переносить вручную.

Листки бумаги были испещрены цифрами — Вальтер рассчитывал все с предельной пунктуальностью: метры, минуты, килограммы. Необходимо было соблюсти абсолютную точность, заранее учесть любые неожиданности, разработать запасные варианты.

Дорогу, ведущую к плато с востока, можно легко перекрыть небольшим заслоном. В этой теснине батальон способен удержать дивизию. Но все дело в том, какой батальон? Люди стали ненадежны, даже эсэсовские части потеряли былую стойкость; каждый мерзавец норovit сберечь шкуру, надеясь затеряться в послевоенной неразберихе, прикинуться овцой, которая отродясь не

* Среднее между большим крытым грузовиком и бронетранспортером.

носила никакого мундира, разве что фолькштурмовский*.

«Как можно меньше людей... — думал Вальтер, просматривая свои расчеты. — Как можно меньше! Не должна оставаться куча свидетелей, иначе вся эта затея не стоит и выеденного яйца... И в то же время кто будет таскать наверх ящики, кто блокирует шоссе на время разгрузки «цуг-машин», а потом отгонит их подальше и уничтожит. Кто?!»

Он выписал на отдельный листок конечные результаты подсчетов. Остальные бросил в камин. В полупустом каменном доме было холодно и сыро. В вестибюле медленно прохаживался часовой, цокал подкованными сапогами по выложенному мраморными плитами полу. Это цоканье, мерное и какое-то зловещее, разносилось по всему дому, раздражало Вальтера. Открыв тяжелую дубовую дверь, он вышел из кабинета, крикнул часовому:

— Ты можешь не топать, как лошадь, черт тебя поberi вместе с твоими сапогами!..

«Нервы сдают, — подумал он, возвращаясь обратно. — Никуда не годятся, этак можно проиграть последнюю ставку. А проиграть ее глупо...»

На столике у дивана с приготовленной постелью лежали стопка газет и последние сводки. Вальтер бегло просмотрел их. С каждым днем положение все безнадежнее, надо спешить. В «Берлинском фронтовом листке» его взгляд задержался на фотографии: фюрер награждает бойцов истребительного отряда гитлерюгенда.

Напряженные мальчишеские лица, автоматные ремни, брошенные на тонкие шен, и сами автоматы, словно большие черные игрушки.

«Вот кто закроет меня с востока! — Вальтер натянул снятые уже было сапоги, застегнул пуговицы мундира. — Как мне раньше не пришла в голову эта мысль? Батальон таких вот восторженных сопляков намертво встанет перед русскими и будет стоять сколько потребуется. Особенно если им напомнить о Фермопилах, чтоб они вообразили себя спартанцами «третьего рейха». И, самое главное, они ничем не станут интересоваться. А если кто и уцелеет случаем, то это никакой не свидетель...»

* Воинские соединения фашистской Германии из гражданского населения непризывных возрастов, своеобразное ополчение.

Он подошел к телефону, вызвал шофера и сопровождающих мотоциклистов.

Через несколько минут, блеснув синими щелками фар, машина Вальтера вырвалась на ночное шоссе. За ней, треща моторами, неслись четыре мотоцикла с сонными автоматчиками в колясках.

МАРШ НА ЗАПАД

Дивизию передислоцировали ближе к фронту. Она все еще находилась в резерве, что очень огорчало Иву.

— Мы так и проторчим в третьем эшелоне до конца. Такие бои за Берлин идут, а до нас только отзвуки канонады доносятся. Сидим, слушаем лекции Минаса, а кто-то в это время воюет за нас.

Минас провел ротное комсомольское собрание с повесткой дня «Немецкий народ, его история, культура и искусство».

Доклад он делал сам, готовился долго с присущей ему добросовестностью. Даже выучил наизусть два стихотворения Гёте на немецком и на русском языке.

— Профессор, ну! — прокомментировал его доклад Ромка. — Как артист говорил, целый час. Сагол *, Минас, не ожидал!..

О докладе узнал замполит батальона, прочел его, похвалил Минаса.

— Большой упор делайте на то, что Германия и фашизм — понятия разные. Германия — это Маркс, Энгельс, Тельман, те же Гёте, Бах. А фашизм — всего лишь Гитлер да его свора... А вообще доклад грамотный, на уровне. Проведем во всех ротах такие собрания...

Берлин пал второго мая, а шестого утром Ивина дивизия вошла в его пригород. В центре города еще висела в воздухе тонкая каменная пыль, смешанная с копотью. Пожары не утихали, дымная завеса плыла над пустыми коробками домов.

Солдаты из берлинской комендатуры устанавливали на перекрестках фанерные щиты с планом города, у полковых кухонь выстроились очереди — аккуратно причесанные дети с кастрюлями и суповыми мисками в руках. Закопченные простыни и скатерти свешивались из окон уцелевших домов.

* Сагол — молодец (груз.).

Два дня полк разбирал остатки баррикад, мешавших движению войск.

— Ну вот, — продолжал негодовать Ива, — теперь мы занялись дворницкой работой. Закончим — старшина другую сыщет.

Со старшиной у Ромки наладились отношения самые дружеские. Единственно, что мешало им, так это трудная Ромкина фамилия.

— Ну яка вона в тэбэ хвасонистая! Чхи... чхики... Тьфу! Начхаешься, поки вымовышь! То в разговоре даже, а як у строю тэбэ клыкаты? У строю треба, щоб швыдко було...

Долго допытывался старшина, что означает Ромкина фамилия в переводе на русский. Но тот почему-то отнекивался, темнил:

— Фамилия, ну! Чхиквишвили, и все.

— Не, ты погоды! Ось мое фамилие — Шинкаренко. Вид шинка походить, мобудь. Шинок — чи як закусочная була в давнину.

— Хинкальная, да?

— Закусочная, говорю! Лбо кафе. А твое это... Чхи... Чхики...

— Чхикви — по-грузински сойка, — вмешался в их разговор Минас. — Птица такая есть — сойка из отряда воробьиных. По-латыни «гарулус гландариус».

— Сам ты гориллус! — обозлился на него Ромка. — Все знает, профессор несчастный, всюду свой нос сует. Моя фамилия Чхиквишвили, и твои сойки из отряда воробьиных совсем ни при чем!

Особенно его обидел этот самый «отряд воробьиных». Если на то пошло, сойка крупная птица, какое она отношение к воробьям имеет? Треплется, профессор несчастный, а проверить нельзя!

— «Отряд воробьиных», «отряд воробьиных»... — долго не мог успокоиться Ромка. — А ты — Аветисян — это из отряда горных орлов, да?..

Однако старшина ухватился за разъяснение, данное Минасом.

— Ишь ты! — обрадовался он. — Сойка, значит? А «швили» це ще?

— Сын... — Минас невольно улыбнулся — получилось, что Ромка вдобавок к «отряду воробьиных» еще и «сойкин сын».

— Я твою маму пока не трогал! — заорал Ромка.

— Не пре-ре-каться! -- осек его старшина. — Але

для пользы службы будешь Сойкин. Чего на менэ очами клыпаешь? Сойкин, и всэ тут!..

— Ну смотри, Минас! Я тебе это запомню, — пригрозил Ромка. — Я тебе не такую еще фамилию придумаю!..

Восьмого под вечер, отпросившись у командира взвода, Ива, Минас и Ромка пробрались к рейхстагу. Он возвышался над ними огромный, пустой, с заложенными кирпичом проемами. В его стенах зияли пробитые снарядами дыры; исклеванные осколками и пулями стены казались рябыми, как изрытое оспой, угрюмое лицо слепого.

Над искореженным переплетом купола реяло большое красное знамя. Оно было единственным ярким пятном на потрясающей воображение панораме разрушенного города, написанной серым и черным.

Бронзовый кайзер грузно сидел на породистом сытом коне. Коня вели под уздцы, он слегка приседал на задние ноги, точно боялся чего-то. В его прошитом автоматными очередями брюхе тихонько посвистывал ветер.

— Давайте тоже распишемся на рейхстаге, — предложил Ива.

— Но мы ведь не участники штурма, — запротестовал было Минас.

— И что с того? Расписаться можно всем, кто был здесь в дни войны. Места хватит.

Ива первый вывел на уцелевшей штукатурке свою фамилию и имя. Передал кусок угля Минасу.

— Давай пиши...

На следующий день война окончилась. Весь мир салютовал этому дню. В небо неслись разноцветные трассы автоматных очередей, оставляя дымные следы, взмывали ракеты, лопались высоко над головой, рассыпали веера тлеющих угольков.

И вместе со всеми, подняв к небу пистолет, стрелял Ромка Чхиквишвили.

— Аоэ! Победа!..

— Откуда у тебя пистолет? — спросил Ива.

— Какое твое дело?.. Жора-моряк подарил. Между прочим, мировой пистолет, «вальтер», трофейный. Такой у Каноныкина был, помнишь?..

Опять Каноныкин! Как не любил Ива вспоминать об этом человеке! И надо же было обязательно ляпнуть: «как у Каноныкина»! Да еще в такой день...

Ромка выпустил всю обойму. Глаза его горели.

— Мировая машинка! И патронов к ней сколько хочешь есть. — Он вставил новую обойму. — Аоэ! Победа! Ао!..

Бах!.. Бах!.. Бах!.. — гулко хлопали выстрелы; трасирующие пули цветными искрами гасли в вышине.

Берлин пал второго мая. Германия капитулировала девятого.

По улицам, заваленным обломками зданий, сплошным потоком проходили войска. Вздывая клубы кирпичной пыли, шла пехота. Ее обгоняли колонны танков, самоходных орудий и автозаправщиков. Тянулись обозы; штабные машины, нетерпеливо сигналив, пробивались через пробки, то и дело возникавшие на улицах.

Охрипшие регулировщицы отчаянно размахивали флажками, пытались внести хоть какой-то порядок в этот непрерывный, неоглядный, бесконечный людской поток, в эту фантастическую симфонию красок и звуков.

Над головами идущих солдат парили белые полотнища. Они свешивались с балконов, с крыш, с подоконников. Белые полотнища в облаках кирпичной пыли будто паруса на фоне утренней зари...

Пожилой красноармеец, придерживая пилотку, подбежал к разбитой стене рейхстага. Достав из кармана припасенный заранее кусок мела, вывел крупными буквами: «Здесь был Арчил Чхиквишвили из Грузии». И бросился догонять ушедших вперед товарищей.

Было б у него побольше времени, он непременно обошел бы со всех сторон мрачную, расстрелянную в упор громаду рейхстага. И наверняка увидел бы знакомые имена:

«Иван Русанов, Минас Аветисян, Ромео Арчилович Чхиквишвили. 8 мая 1945 года».

И ниже, в стороне, не очень уместное:

«Рэма + Вадим».

Если присмотреться получше к последней надписи, то можно было без труда узнать в ней Ромкину руку.

Девятого мая утром дивизия, в которую входил полк Вадими́на, ускоренным маршем двинулась на Прагу. Война кончилась для одних, но для других она продолжалась еще трое суток. Настоящая, большая война, втянувшая в свой яростный водоворот несколько миллионов людей.

Полк Вадими́на посадили на танки.

«Внимание! Внимание! Говорит чешская Прага! Говорит чешская Прага! Большое количество германских танков и авиации нападает в данный момент со всех сторон на наш город. Мы обращаемся с пламенным призывом к героической Красной Армии с просьбой о поддержке. Пришлите нам на помощь танки и самолеты, не дайте погибнуть нашему городу Праге!»

Этот призыв о помощи ушел в эфир шестого мая. К центру города, смятая сопротивление защитников баррикад, пробивались фашистские части.

Восстали чехословацкие патриоты, рабочие с ведущих пражских предприятий, с заводов «Шкода-Симхов», «Микрофон», «Эта», «Авиа»...

Впервые после шести лет борьбы в подполье открыто вышла «Руде право», газета чехословацких коммунистов. С ее страниц ко всем членам партии обратился Центральный Комитет КПЧ.

«Коммунисты! — говорилось в этом воззвании. — Вчера началось наше непосредственное участие в боях. Докажите, что в открытой борьбе против врага вы будете столь же стойкими, смелыми и находчивыми, как и во время шестилетней жестокой борьбы с извергами гестапо. Будьте всюду лучшими из лучших и славно пронесите к цели свое знамя, пропитанное кровью тысяч своих товарищей. Железная дисциплина большевистской партии и воодушевление братской Красной Армии служат вам ярким примером. Вперед, в последний бой за свободную, народную, демократическую Чехословацкую республику!»

На улицах Праги рвались снаряды. В пражской тюрьме эсэсовцы торопливо казнили заключенных.

Новоиспеченный генерал-фельдмаршал Шернер, возглавивший группы армий «Центр» и «Австрия», обещал сровнять Прагу с землей. Фанатичный и жестокий, он выполнил бы данное им обещание с пунктуальностью старого педанта. Он отказался выполнить указание адмирала Деница прекратить боевые действия девятого мая в 00 часов 00 минут*.

* Как выяснилось позже, адмирал Дениц, возглавивший фашистское правительство в Германии после самоубийства Гитлера, отдав приказ о капитуляции, одновременно через офицера связи передал Шернеру указание как можно дольше продолжать сопротивление для того, чтобы основная часть уцелевших еще группировок успела бы пробиться к англо-американской зоне.

«Внимание! Внимание! Говорит чешская Прага! Говорит чешская Прага!..» — передавало радио восставших чехов.

Неведомый миру радиодиктор просил помощи на русском языке от имени восставшего народа.

«Не дайте погибнуть нашему городу Праге!»

Шестого мая на помощь чехословацким повстанцам двинулись танковые соединения Советской Армии.

Дивизии, где сражался Ива, предстояло перекрыть возможные пути отступления остатков разбитых фашистских группировок, не дать им вырваться из кольца.

Полк Вадимины занимал оборону на подступах к невысокому горному кряжу. Разведчики доложили, что обнаружен отряд, засевший в теснине, подступиться к которой чрезвычайно трудно. Ответный огонь ведет вяло, огневые точки не обнаруживает.

— Что за чертовщина? — пожал плечами Вадимин, разглядывая карту. — Зачем им там сидеть да еще нагло? Непонятно.

Он выслал в район расположения таинственного отряда роту, приказал провести разведку боем, но осторожно, не рискуя людьми. Разведка показала, что вышибить отряд противника из теснины, в которой он засел, точно пробка в бутылочном горлышке, без значительных потерь невозможно — атаковать придется в лоб, обходных путей нет.

— И артиллерией его особенно не потревожишь, — докладывал Вадимину командир роты, — укрыты хорошо, стервецы, камень вокруг... «Языка» попытались взять — не вышло, не подпускают, больно плотный огонь, сверху бьют, разве тут схоронишься?

Вадимин приказал блокировать отряд и вести наблюдение за каждым шагом противника.

— Эсэсовцы, что ли? — спросил он командира роты.

— Да нет, товарищ подполковник, пацаны одни. Эти, как их...

— Гитлерюгенд?

— Ага, они самые.

— Будьте предельно внимательны! Я пришлю вам людей из группы разложения войск противника.

Он представился командиру роты просто и неприужденно:

— Будем знакомы — лейтенант Карл Зигль. А это

мои помощники — радиотехники, звуковики: Отто Штейнер и Альберт Хуш.

Комроты впервые видел немцев, одетых в советскую военную форму. Удивление его было настолько очевидно, что лейтенант Зигль рассмеялся:

— Да, это так, мы чистокровные немцы. Отто Штейнер — коммунист с 1929 года, политический эмигрант, жил и работал до войны в Москве. Что касается Альберта, то он на второй день войны перешел линию фронта и сдался в плен. Убежденный антифашист... Ну а я сын немецких коммунистов, с тридцать третьего года нахожусь в России, с сорок второго — в Красной Армии. Вопросы к нам будут?

— Да какие могут быть вопросы? — засмутился комроты. — Милости просим, располагайтесь. Обедали?

— Спасибо, закусили. Введите нас в курс дела, товарищ старший лейтенант, дайте в помощь пяток толковых ребят, и, я думаю, мы раскусим этот орешек, — он кивнул в сторону густо заросшего лесом почти отвесного склона горы.

Через час группа в восемь человек во главе с лейтенантом Зиглем выдвинулась за расположение роты и начала медленно, прячась за гранитные валуны, пробираться вперед.

Лейтенант облюбовал полуразрушенный охотничий домик, сложенный из толстых бревен. Отсюда можно было без труда наблюдать за тем, что делается у засевших в расселине гитлерюгендов.

Метрах в пятидесяти от домика скатившиеся когда-то с горы обломки камней образовали невысокую преграду, вполне пригодную для того, чтобы расположить за ней аппаратуру и вести передачу. Справа и слева от этих камней залягут автоматчики, и можно будет спокойно работать.

Так рассудил лейтенант Зигль, и все согласились с ним.

Ива лежал на мягкой весенней траве, надвинув на глаза каску. Два камня, покрытые розовато-сизым лишайником, служили ему надежным бруствером. Он просунул меж ними автоматный ствол, положил справа от себя гранату.

Горный склон окутала предвечерняя тишина. Длинные синеватые тени легли на землю. В прозрачном весеннем воздухе горы казались Иве выше и круче. И хотелось встать, снять с головы тяжелую каску и пойти

навстречу этим синим теням, не думая о том, что кто-то, притаившись за валуном, может ударить по тебе автоматной очередью.

Зачем делать это? Ведь война кончилась, и лишняя автоматная очередь ничего уже не изменит. Разве трудно понять такую простую и бесспорную истину?..

Неожиданно слева от него раздался многократно усиленный динамиком голос лейтенанта Зигля. Он заговорил по-немецки. Ива понял только два первых слова: «Ахтунг!.. Ахтунг!..»

Карл Зигль говорил горячо и убежденно. Ива улавливал лишь отдельные слова, смысл сказанного не доходил до него, и тем не менее он ощущал — убежденно говорит человек. И ждал, что на склоне горы возникнут фигуры с поднятыми руками или кто-нибудь примется размахивать белой тряпкой в знак того, что слова лейтенанта достигли цели и подростки, одетые в солдатские мундиры, выбрали жизнь.

Но склон оставался безлюдным, настороженно пустым.

Потом что-то негромко хлопнуло, и в сторону молчащего склона медленно полетел круглый предмет. Ударившись о землю метрах в пятидесяти от преграды, за которой была спрятана радиоаппаратура, он лопнул, и сотня небольших листков, похожих издали на белых бабочек, вспорхнула вверх. Ветер понес их к склону горы, и листки долго еще мелькали вдали, словно никак не решались сесть на подернутую реденьким туманом траву...

— Он здорово говорил, правда? — спросил Ива у Минаса, когда они вернулись в расположение роты. — Ты все понял?

— Почти. Говорил он отлично.

Лейтенант Зигль доложил по телефону в штаб полка о первой передаче.

— Мы бросили им листовки-пропуска с помощью нехитрого механизма, честь изобретения которого принадлежит нашему Штейнеру... Слушали нас внимательно, это точно... Я предупредил их, когда начну следующую передачу. Ровно в шесть утра... Рискованно! Ничего, переживем! Уверен — за ночь немало листков перекочует в карманы мундиров. Уверен!..

Пока Карл Зигль докладывал штабу полка, Оттс Штейнер коротким ножом со сменными лезвиями резал какую-то фигурку из липового чурбачка. Штейнер гово-

рил по-русски так же чисто, как и Карл Зигль, и только манера старательно выговаривать каждое слово выдавала в нем иностранца.

— Совсем недалеко отсюда, — рассказывал ребятам Штейнер, — в Рудных горах есть маленькая деревня Зайфен. Когда-то ее жители добывали в ручьях олово, чем и кормились. А в долгие зимние вечера вырезали из дерева щелкунчиков, вот таких человечков с большим ртом. — Он показал почти готовую уже головастую фигурку. — Это не просто безделка. Положи ему в рот орех, нажми — и готово, можно лакомиться ядрышком... С годами олово все выловили, и щелкунчики стали единственными кормильцами бывших рудокопов. Эти фигурки резали мой дед и мой отец. И я сам в детстве, пока не уехал в Гамбург и не поступил на завод. Там я впервые встретил Эрнста.

— Какого Эрнста? — спросил Ромка.

— Тельмана... Они убили его. В Бухенвальде. Трусые!.. Они сполна ответят нам за смерть Эрнста!.. — Штейнер сказал эти слова другим голосом, совсем непохожим на тот, которым рассказывал о Зайфене и щелкунчиках.

Ива смотрел на его тронутое морщинами лицо, на аккуратно подстриженные седые виски, на большие неторопливые руки с зажатым в них щелкунчиком, и ему показалось, что он знает этого человека давно и не раз уже слышал его рассказ о рудокопах и резчиках по дереву.

— Скажите, пожалуйста, лейтенанту Зиглю, — попросил его Ива, — что мы хотим еще раз пойти с вами. Если можно, конечно.

— Почему же нельзя? Совсем наоборот. Я обязательно предупрежу Карла... А это вам. Возьмите на память, — и он протянул Иве улыбающегося во весь рот щелкунчика.

* * *

Карл Зигль не ошибся, когда утверждал, что его внимательно слушали во время передачи.

Внимательнее всех, пожалуй, Вальтер. Он спустился в расположение отряда специально, чтобы проверить, как организована оборона, насколько прочно сумеют уцепиться за расселину эти желторотые вояки.

Вальтер уже знал про разведку боем. Значит, рус-

ские не решились атаковать в лоб, поняли, что это обойдется им недешево. Ну а пока они придумают какой-то другой вариант, Вальтер успеет закончить дело и уйти отсюда.

К утру придут машины с грузом. Перебросить его наверх — дело трех с половиной часов и ни минуты более, на завершение задания еще тридцать минут. Отряду необходимо продержаться до полудня. Он уже собирался уходить, когда в настороженной вечерней тишине раздался голос Карла Зигля.

«Это же немец! — подумал Вальтер. — Конечно, немец, он не врет, заявляя о себе как о коренном берлинце! — Злость охватила Вальтера. Он понимал, что это ни к чему сейчас, не время давать волю эмоциям, но ничего не мог поделать с собой. — Немец! Такие вот немцы начнут теперь вершить судьбу Германии, распоряжаться ею по своему усмотрению, оболванивать простаков рассказами о социальном равенстве, о всеобщем братстве трудящихся. А нас станут преследовать, требовать отмищения».

— Скорее всего врет. Какой он там немец? — Пока Вальтер был в расположении отряда, Гуго Майер все время крутился рядом, стараясь всячески привлечь внимание к себе. — Научился болтать, как попугай, одно и то же. Да и выговор у него...

— Выговор у него берлинский... И вообще: что вы встречаете, Майер? Я не спрашивал вашего мнения.

Майер козырнул, отступил на шаг, пропустил мимо себя Вальтера.

«Почему меня все раздражает? — с тревогой думал тот. — И болван Майер, и обвислые мундиры этих мальчишек, и вообще все на свете. Вот уж никогда не думал, что начнут сдавать нервы. Все, что угодно, только не это!.. Я всегда умел подчинять себе таких вот юнцов, руководить их чувствами, предугадывать перемену настроений и использовать это. А сейчас ору, примитивно и глупо, цукаю, как пехотный ефрейтор. Надо взять себя в руки, это ни к чему...»

Майер продолжал следовать за Вальтером, пытаясь понять причину его неудовольствия. Все, казалось бы, в полном порядке. Отряд сидит в расселине прочно, он словно кость в горле у русских. Все обходные пути взорваны или заминированы, тут можно до рождества обороняться.

«Видно, его обозлила эта радиоболтовня. То, что

там, у микрофона, немец... А может, сделать подарок командиру? — подумал Майер. Мысль понравилась ему. — В самом деле — показать, на что способен Гуго Майер. Такой подарок стоит Железного креста, надеюсь, он поймет это...»

Лучи заходящего солнца вызолотили вершины гор. В кустах боярышника замолкли дрозды. Было тихо и как-то очень мирно в этом прекрасном предгорье, расцвеченном щедрыми весенними красками.

Только раз, уже в сумерках, со стороны расселины донеслась беспорядочная стрельба. Стадо косуль выбежало на открытое место, к берегу ручья, и заметалось под выстрелами. Несколько секунд, и животные исчезли так же неожиданно, как и появились. Легко взлетая в воздух, словно паря в нем, они скрылись вслед за вожаком в зарослях ежевики.

К шести утра лейтенант Зигль вместе со своим маленьким подразделением был на месте. Боевое охранение доложило, что ночью противник активных действий не проявлял, сидел тихо, разве что ракеты пускал, пока луны не было. Поэтому возможность засады в районе ведения передач исключается.

Альберт Хуш настраивал аппаратуру; Отто Штейнер





проверял связь с НП* командира роты — где-то оборвался кабедь, и он пополз вдоль него, чтобы найти обрыв.

Ива лежал за бруствером из камней, положив перед собой автомат. Гранаты из сумки не стал доставать, не понадобятся они сегодня. А может, и никогда больше не понадобятся.

Минас и Ромка были возле Зигля. Все в порядке, время шесть ноль-ноль, пора начинать передачу.

Из-за горного края медленно и торжественно выплывало солнце, словно балерина в пурпуровой пачке...

— Ахтунг!.. Ахтунг!.. — начал передачу лейтенант Зигль.

Зигль не успел сказать и десяти фраз, как у края расселины замелькали бегущие фигурки. Тут же ударил пулемет. Один, следом другой. Бегущие бросились врассыпную, залегли, снова поднялись и побежали. И опять залегли. Так продолжалось минут десять, пока те, кто бежал впереди, не вырвались из зоны пулеметного огня.

Теперь они были хорошо видны. Особенно долговязый парень в расстегнутом мундире. Он неся в середине реденькой цепочки, высоко вскидывая острые колени. Подняв в правой руке автомат, а в левой зажав листовку-пропуск, парень кричал во все горло:

— Nicht schieessen! Nicht schieessen, Genossen! **

Остальные бежали молча, только размахивали над головами листовками.

— Пойдем, Альберт, навстречу, — сказал Зигль Хушу и, поднимаясь из-за груды камней, крикнул Минасу: — Переходите на мое место и объявите им, чтоб бросили оружие!

Когда в двадцати шагах от бегущего Гуго Майера вдруг выросли фигуры русских, нервы его сдали. Бросив на левую руку автоматный ствол, он дал короткую очередь. Так и стрелял, сжимая в кулаке смятую листовку.

— Назад, Карл!..

Альберт Хуш успел метнуться к лейтенанту, прикрыть его.

Иве показалось, что Хуш обнял друга и только потом уже упал, подминая под себя медленно оседающего на землю Зигля.

* Наблюдательный пункт.

** Не стреляйте! Не стреляйте, товарищи! (нем.)

— Бросайте оружие! — гремел в динамике голос Минаса. — Еще не поздно, бросайте, говорю вам!..

«Нет, поздно! — подумал Ива и швырнул гранату в набегающую цепь. — Поздно!.. Поздно!..» — Он бил из автомата, отрезая атакующих от лежащего меж камней Зигля.

Вся та маленькая военная наука, которую он успел понять за годы войны, начиная с Юнармии и кончая недавними занятиями в полку, как-то сама пришла к Иве в первые же минуты этого неожиданного боя. Первого и последнего в его жизни.

«Лейтенант ранен... а может, убит... Значит, старший теперь я. Да, я. Не Минасик же и не Ромка. Надо принять командование. Надо вести бой...»

Слева и справа от Ивы стучали автоматы — подразделение Карла Зигля приняло неравный бой.

— Чхиквишвили! — крикнул Ива. — Раненых в укрытие! Быстро! Я прикрою тебя огнем.

Голос Ивы сорвался на верхней ноте, Ромка удивленно вскинул глаза и сразу же пополз вперед, к неподвижно лежащему лейтенанту.

— В охотничий домик их! Обоих! Слышишь?

— Слышу, ну!..

Хуш был мертв, и Ромка испуганно отдернул руку, прикоснувшись к залитой кровью гимнастерке.

— Товарищ лейтенант! Вы живы, товарищ лейтенант? — Ромка приблизил свое лицо к бледному, без кровинки лицу Карла Зигля. — Товарищ лейтенант...

Тот застонал в ответ, и Ромка ощутил вдруг в сердце великую радость и одновременно великую жалость к этому человеку, жизнь которого зависит сейчас от того, сумеет ли Ромка Чхиквишвили, не струсив, под огнем дотащить его на себе до охотничьего домика, перевязать там, дать напиться из фляжки.

А почему не сумеет? Сумеет, конечно! Он же ловкий, сильный. И очень находчивый, все говорят.

Был бы Хуш живой, он его тоже потащил бы, обязательно. Но Альберт Хуш мертв, и ему уже ничего не нужно.

Ромка осторожно приподнял лейтенанта за плечи, потянул на себя. Метр, еще метр... Ноги Карла Зигля в аккуратно вычищенных сапогах бессильно волочились по земле. На этих сапогах Ромка сосредоточил все свое внимание. Ему необходимо было отвлечься, перестать думать о свистящей, рвущейся, грохочущей вокруг опас-

ности, о том, что он сам в любую секунду может вот так же, как и лейтенант Зигль, стать беспомощным, бесильным, умирающим.

Метр... Еще метр...

— Товарищ лейтенант! Вы живой?.. Еще немножко, товарищ лейтенант, совсем немножко, ну!

Он опять смотрел на тянущиеся по земле ноги в начищенных сапогах и вспоминал наставления старшины Шинкаренко:

«Рядовой Сойкин! Выйды из строю! Ось ты, бачу, сапогы свои тильки для старшины надраив. Носкы блищат як солнце, а задники у них пагани дуже, вси як у болоти. Так що иды, хлопче, почисты тэпэр сапогы для сэбе...»

— Огонь! — визгливо выкрикивал Майер из-за вала. — Обходите их, идиоты! Смелее вперед!..

Ива услышал его голос, попробовал добросить до вала гранату, приподнялся, опираясь на руку, бросил с размаха, и в ту же секунду что-то тяжелое и тупое ударило его сзади по каске. Нестерпимо яркий свет полыхнул в глазах.

«Обошли, сволочи!.. — подумал Ива, проваливаясь в мягкую пустоту. — Обошли...»

Минас стрелял из-за высокого каменного барьера, надежно защищавшего его. Он видел, как Ромка подползает к дверям охотничьего домика, как переваливает через высокий порог обмякшее тело Карла Зигля.

Полевой телефон лежал рядом с Минасом. Время от времени, когда наступали короткие паузы, он снимал трубку и прижимался к ней ухом. Но трубка молчала.

«Что же со связью?.. Где Отто Штейнер?.. Как там Ивка?..» Эти короткие, словно выбитые морзянкой мысли вспыхивали и гасли. Минас вжимался щекой в теплое дерево автоматного приклада; длинные очереди невидимой огненной чертой продолжали отсекал от охотничьего домика лезущих вперед гитлерюгендов — открытая поляна перед домом простреливалась Минасом из конца в конец.

— Слушай, Гуго! — крикнули сзади. — Надо отходить — к ним двинулась подмога!

Как бы подтверждая эти слова, за спиной Майера взметнулись веера разрывов. Мины падали часто, казалось, что сзади кто-то огромный и насмерть простуженный заходится сухим, раздирающим грудь кашлем.

— Пулеметы на фланг! — приказал Гуго. — С фа-

устпатронами вперед! Возьмем того, кто орал по радио, и тогда отойдем... Нойнтэ, Шмитт! Ликвидируйте автоматчика за теми камнями! И не смейте трусить, подонки!

Мейер кричал и ругался, чтоб хоть как-то заглушить тошнотворное чувство страха, охватившее его с той самой минуты, когда он, подняв над головой зажатую в кулак листовку русских, побежал навстречу несущемуся из динамика голосу.

В какой-то момент мелькнула мысль: может, и впрямь плюнуть на все, крикнуть спасительное «Гитлер капут!», а там будь что будет: обещал же этот немец в своей передаче жизнь и возвращение домой. Но сзади топало полсотни парней, кто-то падал, изображая убитого, все шло по сценарию, придуманному накануне им, Гуго Майером, и стоит ему теперь отклониться от этого сценария, как тот же Нойнтэ, этотдохлый герой, не задумываясь, вмажет в спину горсть свинца.

Все правильно — он бы тоже вмазал этому выскочке Фрицу, как вмажет сегодня же Герберту Траубе за то, что тот припрятал большевистскую листовку, рассчитывая спасти свою тухлую шкуру. Он повесит его перед строем, сам, своими руками!..

«Что же там возятся Шмитт и Нойнтэ? — Майер поднес к глазам бинокль, попытался разглядеть, откуда бьют минометы, и увидел приближающуюся цепь русских. — Боже! Их слишком много! Нам не продержаться и десяти минут!.. Где же эти скоты, Шмитт и Нойнтэ?! Пока они не прикончат этого за камнями, нам не ударить по дому. А немец, конечно, в доме. В доме он!..»

— Все с фаустпатронами — вперед! — приказал он. — Вперед, говорю! Хватит держаться зубами за землю! К дому! Быстро!..

Вначале Минас увидел Шмитта. Тот перемахнул через барьер из камней и сразу же, крутанувшись на месте, упал навзничь. Каска сползла ему на глаза. Минас растерянно оглянулся и понял: это Ромка успел — из забранного решеткой окна охотничьего домика торчал ствол его автомата.

«Сагол, Ромка, не ожидал!» — хотел было крикнуть Минас, но не успел — Фриц Нойнтэ прыгнул на него сверху.

Он был худеньким, этот Нойнтэ, Минасу удалось сбросить его с себя, прижать к земле.

«Нож! — пронеслось в голове. — Жорин нож!..»

Вываить нож было делом секунды, он висел на поясе как раз под правой рукой. Минас ощутил шершавую надежность рукоятки, оставалось только ударить. Он на мгновение встретился взглядом со шуплым парнишкой в ненавистном мышинном мундире, ненавистном еще с той поры, когда появились на экранах первые военные кино-сборники и Минас с Ивой и Ромкой ходили смотреть их в кинотеатр «Кавказ».

В глазах Фрица Нойнтэ не было ни страха, ни злобы. Было ожидание. Ожидание удара, отвести который невозможно. Смерть занесла над ним блеснувший на солнце нож. И Фриц смотрел ей в глаза и ждал удара...

Минас опустил руку. Вернее, она сама опустилась. С каким-то неосознанным еще облегчением. Как будто бежал, закрыв глаза, и вдруг открыл их и остановился на самом краю страшной пропасти. Страшной... И Жора говорил, когда дарил нож: страшное это дело...

— Сдаешься? — спросил по-немецки Минас. — Сдаешься или нет, говори!

Нойнтэ ответил тихо, словно про себя:

— Да... — И вспомнил Герберта Траубе.

— Держись, Фриц! — раздалось вдруг сверху, и несколько человек свалились на Минаса, сбили с ног, ударили по голове прикладом. — Молодчага, Нойнтэ, ты здорово ухватился за него! А мы уж думали — капут тебе. Давай вперед! Майер там бесится!..

По наступающей роте с двух сторон вели огонь заставшие за валунами пулеметчики. Во что бы то ни стало они должны были сдерживать ее, пока фаустники не ворвутся в этот проклятый охотничий домик, не выволокут из него немца, который призывал отряд бросить оружие и разойтись по домам.

Бросить оружие!.. Бросить оружие... Эта мысль приходила, наверное, каждому, пугала своей простотой, надолго лишала покоя.

«Выходит, я трус, я не немец, раз готов сдаться русским, как сделали это потерявшие честь солдаты вермахта! Они предали фюрера и фатерлянд, но я останусь верным до последнего вздоха... А Герберт Траубе припрятал листовку... Почему он это сделал?.. Испугался?.. Но ведь и я боюсь. Я тоже боюсь, черт меня побери!..»

Им было по четырнадцать, по пятнадцать. Лишь некоторые успели отпраздновать свое шестнадцатилетие.

Им льстили, их называли храбрецами, верными геро-

ями «третьего рейха», надеждой нации. Им прикалывали на мундиры Железные кресты и серебряные медали.

А они боялись. Боли, крови, смерти, друг друга.

Зажмурив глаза, бросались в огонь мальчишки, жестоко обманутые своими равнодушными к человеческим страданиям вождями...

Фаустпатрон разорвался в окне, разметал в стороны тяжелую железную решетку, раскрошил дубовые бревна. Второй, влетев в комнату, снес лестницу и выложенный изразцами камин. Но Ромка продолжал стрелять скупыми одиночными выстрелами — последний диск в автомате. Лежа за каменным порогом дома, он старался упредить фаустников, не позволить им привстать на колени и приладить к плечу такую безобидную на вид трубку.

За лейтенанта Зигля Ромка был спокоен: он успел перебинтовать его и спрятать в подвале дома. Стены подвала были выложены тесаным камнем, такие и пушкой не прошибешь...

Выбравшись наверх, Ромка на всякий случай привалил крышку люка тяжелым резным шкафом. Это уже потом разорвались первые фаусты и ударило по ногам, будто подсекли их сзади. Боли Ромка не почувствовал, только тяжесть, свинцовую, неподъемную тяжесть. Он подполз к порогу и продолжал стрелять до тех пор, пока не услышал за спиной голос ротного старшины:

— Е тут хто-нэбудь живий?

— Есть... — ответил Ромка и, заплакав, прижался лицом к горячему стволу автомата.

ВАРИАНТ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ВИЛЬГЕЛЬМОМ КРЮГЕРОМ

«Цуг-машины» с грузом и охраной запоздали на восемь с половиной часов. Они пришли в условное место только на рассвете. Несколько раз им приходилось менять маршрут — советские танки успели перекрыть почти все дороги. И все же караван пробился и прибыл, куда ему было указано.

Вальтер проверил груз. Он находился в полном порядке. Если б еще не опоздание... Впрочем, в расчетах была предусмотрена возможность задержки каравана в пределах десяти часов. Просто теперь вступал в силу один из запасных вариантов: прибывшая спецхрана

ликвидирует все «цуг-машины», кроме одной, и сразу же отправится на ней восвояси. Переброску груза к тайнику,крытие заключительной операции — все это выполняют те полсотни мальчишек, которых Вальтер приказал Гуго Майеру привести к семи утра.

— Нельзя оставлять тут на слишком долгое время такую кучу людей, — сказал он начальнику спецхраны Петцолду. — Ваши люди должны убраться, как только придут парни снизу. Нельзя рисковать, не тот случай...

Майер со своей группой опоздал почти на час. Он предстал перед Вальтером запыхавшийся и потный; из-под каски выбился кончик перемазанного кровью бинта.

— Где тебя носило, Майер? — Вальтер ткнул ему в нос часы. — Ты знаешь, как называется этот прибор?

— Они насели на нас... — начал было оправдываться тот. — Я хотел... ну того немца, предателя...

Вальтер не спускал с него глаз, и от этого Майеру не шли на ум нужные слова. Черт его дернул впутаться в такую дурацкую историю! Уж лучше было бы и впрямь добежать до русских без выстрела и сунуть им в руки спасительную листовку.

— Кто тебе позволил сделать это?! — Голос Вальтера от ярости вибрировал. — Кто разрешил?!

— Но ведь... Мы уничтожили установку, перебили обслугу, — заторопился Майер. — И взяли того, кто орал в микрофон. По-немецки. Только он не немец, я был прав...

Вальтер из последних сил сдерживал себя. Как хотелось ему вклеить Майеру пулю прямо в его потную веснушчатую рожу. Но нет, этого нельзя делать. Нужно быть по-отечески строгим и не более. От настроения этих мальчишек, от их веры в него, в Вальтера, веры без страха перед ним, сейчас зависит все.

— Сколько ты положил людей?

Майер был готов к этому вопросу. Он решил заранее, что назовет цифру «пять». Ну «семь», не больше. Кто мог думать, что разговор произойдет перед строем. Полсотни свидетелей, и любой из них может предать его, сказать Вальтеру, сколько в действительности осталось там, у полуразрушенного охотничьего домика.

Взгляд Вальтера, сухой и холодный, пронизывал насквозь. Рыжие глаза Майера забегали, он шмыгнул носом и пробормотал:

— Около тридцати... Тридцать два...

— Сколько осталось в прикрытии?

— Двести семьдесят шесть... Нет, двести семьдесят пять. Один, Герберт Траубе, он хотел предать, спрятал листовку русских, чтоб перебежать с нею к ним. Мы повесим его сегодня же вместе с этим агитатором. Но я думал, может, вы сначала хотите допросить их, так они здесь.

— Кто твой отец, Майер?

— Владелец аптеки. В Лейпциге. Это та аптека, что на углу...

— Вот и продавать бы тебе клистиры! — В строю хихикнули. — Всем десять минут отдыха! — сказал Вальтер как можно мягче. Даже улыбнулся. — Ну а что касается тебя, — добавил он вполголоса, — то если там, внизу, они не продержатся до полудня, то... тебя тоже повесят. Ты понял?

— Да... — У Майера дрогнули колени. — Так я спущусь туда?

— Ты останешься здесь. И все, кто пришел с тобой, останутся. Следи в оба, любой шаг в сторону будет шагом в могилу...

Непрерывная серая цепочка потянулась от дороги к штольне. Два человека и ящик между ними. Пятнадцать ящиков за один раз, двадцать человек с пулеметами в укрытии. Дорога заминирована, «цуг-машины» ушли, все спокойно.

Вальтер щелкнул головкой секундомера. Темп отличный. Если он продержится до конца работы, то можно будет вернуть треть потерянного времени...

Перед тем как отправить охрану, Вальтер сказал короткую речь.

Строй черных эсэсовских мундиров, строй серых мундирчиков гитлерюгенда. А он с Петцолдом посредине.

— Немецкие солдаты! Мы с вами продолжаем воевать, для нас не существует приказов о капитуляции! То, что сделано вами сейчас, имеет неоценимое значение для нашей общей борьбы, для будущего Германии. Фюрер покинул нас, он ушел из жизни, но остался в сердце каждого истинного немца. Он завещал нам свои идеи, свое дело, свою борьбу. И мы ведем ее вместе с вами, доблестные немецкие солдаты! — Вальтер повернулся к строю охраны. — Сейчас мы расстанемся, но ненадолго. Все вы остаетесь в строю. В этом пакете инструкции, адреса, по которым вы рассредоточитесь на время, день-

ги. Гражданская одежда в ящике, находящемся в «цуг-машине». Вот ключ, возьмите, штурмфюрер. Вы назначаетесь старшим. На десятом километре начнете переодеваться на ходу. Сходить по одному, порядок указан в инструкции. Удачи вам! Хайль Гитлер!..

— Вы вручили им ключ от рая, Вильгельм, — усмехнулся Петцолд. — Но держу пари, что они не проедут десяти километров. Им раньше захочется в рай, вот увидите. Это печально: нет дисциплины — нет Германии...

Вальтера раздражал этот узколицый человек с сухими, зачесанными на лоб волосами. Он был сентиментален и болтлив, а обстановка вовсе не располагала к дружеским излияниям.

— Итак, пари? — Петцолд протянул ладонь, тоже узкую и сухую. Вальтер отметил про себя, что у этого человека все словно специально заужено: и лицо, и мундир, и вот ладонь. — Я очень люблю, — продолжал Петцолд, — такие чисто психологические пари.

— Считайте, что вы его выиграли.

Вальтер повернул голову в сторону скрытого туманом ущелья. Оттуда донесся приглушенный расстоянием взрыв, как будто горы тяжело и коротко вздохнули.

— Слышали?

— Да... — Петцолд глянул на часы, потом на Вальтера. — То, что я вам и говорил, коллега: эти подлецы отъехали максимум на шесть километров...

* * *

Последние ящики были аккуратно сложены на стеллажах. Вальтер еще раз проверил груз. Все на месте, все уложено по порядку. Тот, кому придется со временем прийти сюда, останется доволен работой.

«А вдруг это буду я... — подумалось Вальтеру. — Нет, другой. Мое дело спрятать, вскрывать поручат уже не мне...»

Он вспомнил о координатах, про которые говорили ему в Берлине. Кто-то знает и сейчас эти координаты, где-то записаны цифры, обозначающие их, когда-то они лягут на карту и будет сказано: вот здесь тайник, в этой точке...

— Все, — сказал Вальтер и посмотрел на часы. — Вы очень быстро выдохлись, малыши, не сэкономили даже часа. Это плохо... Петцолд, снимите внизу охрану, всех сюда. Туман поднялся, того гляди прилетит «ко-

фейная мельница» *, обнаружит скопление людей и сразу заподозрит неладное.

— А наши там, внизу, держатся! — прислушиваясь к отдаленной стрельбе, сказал Майер. — Уже полдень, а они держатся. — В его голосе звучали торжествующие нотки.

— Думаю, что из последних сил, — охладил Майера Вальтер. — С такими полководцами, как ты... — Он не закончил, оглянулся — снятое оцепление входило в главный штрек. — Все здесь?

— Да, — кивнул Петцолд. — Пятьдесят человек.

— Вот и отлично... Вы все же здорово потрудились, малыши! Я не ошибся, когда заменил вами тех ленивых олухов, что укатили отсюда. Мы с партайгеноссе Петцолдом не рискнули доверить им то, что без колебаний доверяем вам — будущему Германии, ее единственной надежде. Все, что вы здесь видите, — он обвел рукой штрек, ряды ящиков на стеллажах, — это часть фонда, необходимого для нашей будущей борьбы, для реванша, который мы дадим врагам Германии. Вам доверена важнейшая государственная тайна, будьте же достойны столь высокого доверия! Даже перед лицом смерти каждый из вас обязан молчать о том, что видел тут... А теперь... — он посмотрел на часы, — теперь пятьдесят шесть минут отдыха. Вы заслужили его... Майер! Вон в том зеленом ящике нет никаких секретов. В нем отличная колбаса, сало и шнапс. Подкрепитесь как следует, впереди трудный переход. Мы с партайгеноссе Петцолдом не будем вам мешать. Приступай, Майер.

— Яволь!

— Дальше главного штрека не выходить! Всем быть вместе! Майер, ответственность на тебе!

— Яволь.

— И не очень увлекайтесь шнапсом, малыши, впереди у вас еще работа...

Вальтер с Петцолдом пошли вдоль проводки, которая тянулась к выходу из штольни.

— Вы умело повели себя с этими юнцами, — сказал Петцолд. — Похоже, они верят вам как самому господу богу.

— Будем надеяться... — сухо отозвался Вальтер. — Итак, остается в силе исходный вариант схемы: первый взрыв заваливает штрек от начала и до конца, не за-

* Так называли немцы самолет-разведчик У-2.

трагивая боковые отсеки. Таким образом, если у кого и возникнет вдруг идея заняться без нашего на то разрешения раскопками, то он, пройдя весь главный штрек, не заметит ответвлений.

— Почему бы нам тогда не ограничиться одним взрывом? Чем меньше грохота сейчас, тем, по-моему, безопасней.

Тупость Петцолда раздражала. Неужели в Берлине не смогли подыскать кого-нибудь посообразительней, черт возьми! Или хотя бы помолчаливее...

— Второй взрыв, да будет вам понятно, срежет склон, словно ножом, сомнет штольню и все, что сползет вниз, к самой дороге. Именно второй взрыв исключит само появление у кого бы то ни было идиотской мысли о раскопках. Вы согласны с этим?

— Да, пожалуй... — пробормотал Петцолд.

— Очень рад. Тогда давайте сюда конец кабеля и быстрее в укрытие!..

* * *

В ярком свете аккумуляторных фонарей штрек казался даже уютным. Особенно после двух рюмок шнапса.

И колбаса была великолепной. А сало так и таяло во рту! Нечасто приходится есть такое сало. Может, Гуго Майер и жрет его каждую субботу, но у него отец — владелец аптски и, говорят, неплохо нажился на спекуляции медикаментами.

— За наших доблестных командиров! — Майер поднял над головой бутылку со шнапсом. Он был уже изрядно пьян. — За победу германского оружия! Хайль!

— Хайль! — грохнул в ответ хор голосов.

— Wir müssen siegen! *

— Wir müssen siegen! — скандировало вслед за Майером полсотни глоток.

И только Нойнтэ молчал. От выпитого шнапса его мутило, колбаса казалась безвкусной и какой-то липкой.

— Солдаты! — продолжал ораторствовать Майер. — У нас еще целых двадцать девять минут. Этого вполне достаточно для того, чтобы не спеша повесить двух негодяев. Как раз в конце главного штрека, где валяются сейчас эти подонки, дожидаясь своей участи,

* Мы должны победить! (нем.).

я видел отличную перекладину под потолком. На ней мы и вздернем их.

— Вздернем!

— Предателя Траубе, — Майер поднял над головой руки, — я повешу сам, вот этими руками! А русского уступаю Нойнтэ. Это ведь он так ловко спеленал его, не так ли, друзья?

— Он! Молодец, Фриц Девятка! Вперед!

Все повалили из штрека.

— А ты чего же? — спросил Фрица Майер.

— Я солдат, а не палач, — ответил Нойнтэ. — Тот русский мог убить меня, но не убил.

— Вот и осел! Значит, ты убьешь его. Марш вперед! Я давно присматриваюсь к тебе, Нойнтэ!

Они были одни в узком проходе, ведущем к главному штреку. Рыжие глаза Майера тускло мерцали в свете фонаря.

— Я никуда не пойду, — сказал Фриц. — Ты свинья и палач! Знай, если убьешь Герберта и этого русского, я проломлю тебе череп.

— Вот как?! — взвизгнул Майер. — Еще один предатель?! Сейчас ты у меня...

Он не договорил, осекся на полуслове. Острый конец ножа ткнулся ему в живот.

— Иди и останови их. — Нойнтэ держал нож крепко; в узком проходе не изловчиться, не выбить его из руки. — Тебе никто не давал права выносить смертные приговоры, Майер. Я предупредил тебя и иду к командиру. Он будет решать, а не ты.

Нож больше не покалывал Майера. Он вытер рукавом взмокший лоб, скользнул по стене к выходу. Фриц шел следом, держа автомат на изготовку.

* * *

— Они идут! — испуганно шепнул Герберт Минасу. — Слышишь, они идут!

— Слышу. Пусть идут... Ты не бойся их! Их нельзя бояться. Стыдно.

— Они убьют нас! Я знаю Майера. Это он нашел у меня листовку...

Привязанные друг к другу, спина к спине, они сидели в самом конце главного штрека, возле сваленных грудой вагонеток. Стянутые телефонными проводами ноги затекли, и любое движение причиняло боль.

Минас чувствовал, как время от времени вздрагивает спина Герберта.

— Нельзя плакать! — сказал он. — Ты же солдат, Герберт!

— Мне страшно...

— И мне страшно. Но плакать нельзя. Они не должны видеть, что кто-то из нас заплакал... Тебе сколько лет?

— Пятнадцать... Почти...

— Ты правда решил перейти к нам? Для этого спрятал листовку?

— Да... Мне очень захотелось домой, когда я услышал того... который говорил от вас. Он немец, и я поверил ему. Он ведь немец?

— Немец. Его зовут Карл Зигль. Запомни, Герберт, это имя, он замечательный человек, Карл Зигль. Его родители были коммунистами. Их казнили ва... — он хотел сказать «ваши», но поправился: — Их казнили гестаповцы.

— В гестапо многих казнили. За измену Германии.

— Ты так думаешь?

— Я не знаю. Нам так говорили.

В глубине главного штрэка слышались крики, смех и ругательства. По своду метнулся голубой луч света.

— Они идут! Они идут за нами!

— Пусть идут, Герберт. Не бойся, мы же вместе...

Потом раздался крик Майера:

— Эй там! Стойте! Назад, ко мне! Быстро!

Идущие остановились, недоуменно затоптались на месте.

— Кому сказал, сюда?! Что вы там застыли?..

Когда они подошли, Майер построил их, повел обратно в штрэк, где были сложены ящики.

— Наверное, есть еще колбаса или остался шнапс, — сказал кто-то из идущих сзади.

Но Майер не принял шутку; он мрачно шагнул впереди, держась за ствол висящего на шее автомата.

— Солдаты! — сказал он торжественно после того, как все расселись в узком и длинном, словно пенал, штрэке. — Небезызвестный вам Фриц Нойнтэ только что совершил предательский поступок. Угрожая мне, вашему отрядному фюреру, оружием, он потребовал сохранить жизни врагам Германии. Сейчас Нойнтэ, нарушив при-

каз, отправился якобы к командиру. На самом деле он трусливо дезертировал.

— Как дезертировал?!

— Фриц Нойнтэ, кавалер Железного креста, струсил?!

— Прибить его как собаку!..

— Солдаты! — Майер вскочил на ящик из-под продуктов. — Я призываю вас к действию. Пять человек во главе с тобой, Тимман, должны настичь его и вернуть сюда. Далеко ему не уйти. Я остаюсь здесь, как мне было приказано. Потом будет суд. Мы сорвем с Фрица Нойнтэ Железный крест, которого он больше недостоин, и повесим этого ублюдка вместе с теми двумя. Перекладина достаточно длинная, места хватит для всех трусов и отступников...

Нойнтэ шел, спотыкаясь о рельсы. Далеко впереди светлел позолоченный солнцем овал — выход из штольни.

Сейчас Фриц выберется из нее, подойдет к командиру и расскажет ему все.

Командир очень нравился Фрицу. Светловолосый и светлоглазый, сильный и, наверное, бесстрашный. Именно таким рисовался в воображении Нойнтэ его погибший много лет назад отец.

Командир справедлив, он при всех обозвал Гуго Майера клистирной трубкой, а потом еще и кретином, когда тот сунулся не в свое дело и стал распоряжаться при переноске ящиков с дороги в штрек. И заставил его таскать их наравне с другими...

Герберт Траубе был единственным добрым товарищем Фрица. Они познакомились давно — мать Траубе каждое рождество приходила в приют, приносила сиротам корзину со сладостями. У нее был небольшой кондитерский магазинчик невдалеке от школы.

Несколько раз фрау Траубе забирала Фрица на каникулы, и они вместе с Гербертом уезжали в деревню к его деду. То были самые лучшие дни в жизни Нойнтэ.

И потом еще Герберт был тезкой Норкуса, героического Норкуса с картины, висящей над кроватью Фрица...

Под сводом штольни тянулись два тонких кабеля. Подвешенные ко вбитым в скалу крючьям, они двумя разноцветными нитями, синей и красной, уходили к выходу. Нойнтэ не обратил на них внимания, он был целиком погружен в свои мысли.

Тот русский мог убить его. Всего секунда, и нож, ударив в бок, прошел бы к сердцу. Всего секунда...

Но русский не сделал этого. Почему?.. Почему он не сделал этого и теперь, связанный, лежит там, в конце главного штрека, вместе с Гербертом?..

Фриц вынул из ножен лезвие. «Все для Германии», — было вытравлено на нем готическими буквами.

Это был нож русского парня. Немецкий нож из золлингеновский стали. Фриц его приставил несколько минут назад к тощему животу Гуго Майера...

Тонкие кабели тянулись над головой, провисая в промежутках между крючьями. По одному из них, по красному, невидимая мгновенная неумолимая сила за тысячную долю секунды пронеслась от взрывного механизма до взрывателей, расположенных по всей длине главного штрека.

Громадная горячая ладонь толкнула Фрица в спину, сбила с ног. Вихрь пронесся над ним; плотная каменная пыль погасила далекий солнечный овал — выход из штольни.

* * *

Вальтер выглянул из-за козырька укрытия. Клубы серой пыли сползали по склону. Вход в штольню курился и был похож на рот, раскрытый в немом крике. Гора кричала, звала на помощь; отчаянный крик, не услышанный никем, клубился, стекая вниз, в заросли молодого дубняка.

— Вы были правы, — сказал Петцолд, — когда говорили им, что служба продолжается. Они и мертвые послужат Германии, когда спустя годы будет вскрыт этот тайник. Герои, пожертвовавшие собой ради будущего нации, доблестные защитники фатерлянда, презревшие смерть, найдут и более впечатляющие слова, не так ли, Вильгельм?.. Останки захоронят с почестями, сложат легенды, и не родившиеся еще сегодня солдаты будут вдохновляться их примером... Помните слова покойного фюрера?.. «Я освобождаю вас от химеры, имя которой — совесть!..»

— Простите, но мне сейчас не до цитат и не до размышлений о будущем, — Вальтер едва сдерживался, чтобы не послать этого философствующего болтуна ко всем его прародителям.

«С каким удовольствием я оставил бы тебя в том

штреке, где сейчас вопят от страха эти мальчишки! Там бы ты и рассказал им о преимуществах мертвых перед живыми, идиот!..»

И Вальтер и Петцолд успели переодеться. Мешковатые костюмы провинциальных бюргеров, шляпы с кисточками из барсучьей шерсти, заплечные мешки со скромными пожитками. И вполне надежные документы. Осталось еще раз крутануть ручку взрывного механизма, и можно уходить к австрийской границе по заранее обговоренному маршруту.

— Быстрее в нижнее укрытие, Петцолд!

Они перебежали вниз, к самой дороге.

— Что ж, с богом!..

Но взрыва не последовало.

— В чем дело? — встревожился Петцолд.

— Где-нибудь взрывной волной оборвало кабель, — ответил Вальтер, выходя из укрытия.

Он посмотрел на часы. Ровно тринадцать. Как там, внизу, с той стороны, на подходах к расщелине? Удержится ли заслон еще полчаса? Очень сомнительно... Да и с этой стороны в любой момент могут нагрянуть неожиданные гости. Самолеты дважды уже проходили над склоном, но, надо полагать, ничего не заметили.

— Берите синий кабель, Петцолд. Мы еще успеем.

— Вы думаете?

— Успеем! Я же, кажется, сказал вам: успеем!

Вперед!

— Слушаюсь!..

Они побежали в гору. Петцолд впереди с пропущенным через кулак синим кабелем, Вальтер следом.

«Ты еще и трус вдобавок. — Он со злобой смотрел на плоскую согнутую спину Петцолда. — Как жаль, что не было указания оставить тебя тут на вечные времена...»

Примерно о том же думал и Петцолд, следя, как тонкий шнурок кабеля, срываясь с земли, скользит через его кулак.

Обрыв обнаружили недалеко от входа в штольню — сорвавшийся камень расплющил кабель, придавил его к земле.

— Проверим до конца? — тяжело дыша, спросил Петцолд.

— Конечно. Второй раз взбежать сюда вам явно будет не под силу, — Вальтер насмешливо посмотрел на

запахавшегося Петцолда. — Вы в неважной форме, коллега.

Они соединили поврежденные концы кабеля и пошли дальше. И только тут заметили стоявшего у входа в штольню Фрица Нойнтэ.

Петцолд рванул из кармана пистолет, но Вальтер перехватил его руку.

— Да вы что! — крикнул он как можно громче. — Это ж малыш Нойнтэ! — Память Вальтера была хорошо натренирована, он без труда запоминал сотни фамилий, имен, цифр и никогда не пользовался никакими записями. — Что там у вас стряслось?.. Тебя послал Майер? Мы с партайгеноссе Петцолдом спешили вам на помощь!.. Ну что же ты молчишь, Нойнтэ?..

Фриц стоял не двигаясь, прижав рукой висящий поперек груди автомат. Синяя змейка кабеля, извиваясь меж камней, убегала вниз по склону, исчезала в сухом кулаке Петцолда. Фриц не отрываясь смотрел на нее. Потом ударил по кабелю каблуком. Раз, другой, третий. Он бил по нему остервенело, плюща о камни эту страшную синюю змейку. Он понял все.

— Что с тобой случилось, малыш? — крикнул Вальтер, осторожным движением вынимая пистолет. — Я вижу, ты выпил лишнего? Опомнись, Нойнтэ!

Эти слова вернули Фрица к действительности. Перед его глазами возникла пьяная рожа Майера, бутылка шнапса, поднятая над головой. «Выпьем за наших доблестных командиров!.. За наших доблестных командиров!.. Доблестных командиров!..»

Фриц нажал на спусковой крючок автомата, но Вальтер успел спрятаться за Петцолда. Придерживая одной рукой его сползающее к земле тело, хоронясь за ним, он стрелял по стоявшему во весь рост Нойнтэ. Всего каких-нибудь пятьдесят метров, такая легкоуязвимая мишень, ее можно продырявить с закрытыми глазами.

Но Нойнтэ продолжал стоять.

Низко, над самым склоном прошел самолет. Ударил длинной пулеметной очередью. Бросив пистолет, Вальтер побежал вниз, путаясь в траве, падая и вновь поднимаясь. Впервые в жизни все его существо охватил безумный животный страх. Страх перед этим проклятым Нойнтэ, которого не берут пули, перед черным дымящимся зевом штольни, перед всем, что окружало его, Вальтера, враждебно, неумолимо, угрожающе.

Каменный склон вырывался из-под ног, летел вниз, к

дороге, падая крутыми уступами. Вальтер валился с них, раздирая в кровь ладони. Быстрее к дороге! К узкой горной дороге, ведущей неизвестно куда...

Фриц не видел ни бегущего вниз Вальтера, ни неподвижно лежащего поперек склона Петцолда. Просто в какой-то момент он почувствовал, что автомат перестал биться в руках — кончились патроны. Отбросив его от себя, Фриц пошел вниз, скользя по каменистой осыпи.

Солнце стояло в зените, было жарко. Он сбросил с себя изодранный мундир, швырнул под ноги помятую каску; рванув рубаху, подставил горячим лучам бледную кожу груди.

Спустившись вниз, Фриц долго пил из ручья, окуная в него коротко стриженную голову. Желтый песок на дне медленно перекатывался, стайка прозрачных мальков танцевала вокруг опущенных в воду пальцев Нойнтэ...

Потом он услышал негромкий голос:

— Ты откуда тут взялся?

Перед Фрицем стоял пожилой человек в примятой пилотке с красной эмалевой звездочкой. В руках он держал нож с коротким округлым лезвием и белую липовую чурку.

— Вы кто?! — испуганно спросил Фриц. — Вы разве... немец?

— Не меньше, чем ты. Меня зовут Отто Штейнер. А тебя?

Сорвавшись с места, Фриц бросился к этому человеку.

— Там! — крикнул он, задыхаясь. — Там, наверху, штольня!.. И еще длинный штрек! Его взорвали!.. Там остались люди, живые люди, много людей! Помогите им!.. Помогите им!.. Помогите им!..

Я ВЕРНУСЬ, КОГДА РАСТАЕТ СНЕГ...

В комнате царил синий полумрак. Все было синим: потолок, стены, дверь, пикейное одеяло, которым был прикрыт Ива, и даже руки его, лежащие поверх этого одеяла.

Он хотел привстать, но от резкой боли в затылке и в спине на лбу выступила испарина. Ива застонал. «Что же это со мной? — подумал он. — Если я ранен, то почему нет бинтов?..»

Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Рэма. Увидев, что Ива открыл глаза, она вошла, и халат ее сразу стал синеватым. И косыночка на голове тоже.

«Почему все синее? Даже Рэма...»

— Ну наконец-то ты пришел в себя! — сказала Рэма, подходя к кровати. — Теперь дело пойдет на поправку. Только не надо двигаться и задавать мне вопросы. Я сама расскажу обо всем, что тебя интересует... — Она присела на кончик кровати, поправила на коленях халат. — Тебя контузило, Ива. Довольно сильно. Потому и синий свет в палате, и боль в затылке и в спине. Есть боль, да?

Ива моргнул: есть, мол, еще какая!

— Ничего, все это пройдет постепенно. Правда, с месячишко в госпитале пролежишь. Отправим в него, как только разрешит врач...

В халате Рэма была прежней, не такой, как в гимнастерке с погонами младшего лейтенанта медицинской службы. Словно ничего и не изменилось со времен Юнармии, и пришла она просто в госпиталь на Подгорной в халате, как и полагается.

— Бой за проход через горный склон, — рассказывала тем временем Рэма, — шел до середины дня. Они как очумели, эти гитлерюгенды. Оказывается, там, в горах, был какой-то тайный склад, но они даже не знали о нем — было приказано стоять стеной, ну и стояли, фанатики сопливые. Жалко смотреть было на тех, кто уцелел, мальчишки совсем: от страха сломленные какие-то, потерянные... Отпустили их по домам, не стали оформлять как пленных. «Фюреров» только придержали, те постарше и подлецы, видно, конченные...

Ива слушал и нетерпеливо ждал, когда же Рэма скажет о главном? Провались они, гитлерюгенды эти! Что там с ребятами, все ли в порядке? Целы ли ребята?...

Рэма поняла его, опустила глаза, помедлила.

— Знаешь, — сказала она, — Минастик-то без вести пропал. До сих пор ничего о нем не известно... В этом самом тайном складе, что был в горах, заживо похоронили мальчишек из гитлерюгенда. Саперы трое суток раскапывали заваленный взрывом главный штрек, некоторых успели спасти... Так вот, они говорили, что был там, в штреке, русский парень. По описанию похож на Минасика. А куда делся, неизвестно. Ни живого, ни мертвого не нашли. Возможно, бежать ему уда-

лось, ускользнуть в суматохе. А там попал в зону союзников, объявится через некоторое время. Ведь может быть так, правда?..

А Ромку ранило. Сильно. В ноги... Он отбивался до последнего... Его к ордену Красной Звезды представили. За мужество и стойкость, проявленные при спасении командира... Да, лейтенанта Зигля. Жив он, сейчас во фронтовом госпитале, с ним, слава богу, все в порядке... Ну а Ромку, его сперва у нас в медсанбате оперировали. Я присутствовала на операции. Впервые на такой... на страшной... Обе, и выше колена... Я сама отвозила его в госпиталь. Там сказали: ничего нельзя сделать, медицина в таких случаях бессильна. Так и сказали: бессильна...

Она продолжала говорить, опустив голову, а Ива видел Ромку, несущегося во весь дух Ромку. Сколько раз его спасали от беды резвые ноги! Он удирал от отца, гнавшегося за ним с ремнем, от профессора, угрожающе размахивающего выбивалкой для ковров, от кого только не приходилось ему удирать!

И вот теперь у него нет этих ног.

Ромка, Ромка!.. Что же ты будешь делать, Ромка!..

— А Шелкунчик как? — тихо спросил Ива.

— Какой шелкунчик? Э тот?.. — Рэма вынула из кармана халата большеголового улыбающегося человечка. — Он был у тебя в сумке от гранат.

— Нет, я не о нем... Отто Штейнер жив?

— Да. Его назначили помощником коменданта в какой-то немецкий городок, забыла название. Он уехал вчера... Я пойду, тебе вредно так долго разговаривать. Вместо меня останется он. — Рэма поставила на край тумбочки улыбающегося шелкунчика. — С ним не разговоришься... — Уже в дверях она обернулась. — Тебе целая пачка писем пришла. И три от Джули...

* * *

— Чхиквишвили? Это черненький такой, хулиганистый?.. Второй этаж, девятая палата. Вы халат возьмите, без халата не положено!

Ива накинул на плечи белый халат с оборванными тесемками.

Ромка встретил Иву радостно и шумно.

— Ва! — закричал он. — Кто пришел! Сагол, Ивка, не ожидал!.. Это мой лучший друг! — объявил он всей

палате. — В одном дворе жили. Моя сестра его девушка, ну!

На стуле возле Ромкиной кровати висела гимнастерка с новеньким орденом Красной Звезды и медалями за Берлин, Прагу и Победу.

— Вчера привезли, — сказал Ромка гордо. — Кубик сам вручал от имени командования дивизии. Старшина тоже приходил. И комроты. Подарки принесли... Интересно получается, ну: Берлин я не брал, Прагу не видел, а медали все равно полагаются, потому что дивизия в операцию входила, так Кубик объяснил. Очень хорошо, что входила!

Он говорил о своих медалях, а Ива боялся лишний раз взглянуть на одеяло, под которым лежал Ромка.

— Нашу дивизию на Дальний Восток перебрасывают, — сказал Ива. — Слышал?

— Как не слышал? Кубик говорил. Наверное, с японцами война начнется, так что ты тоже орден успеешь заслужить, не теряйся только, ну.

— Да нет, — улыбнулся Ива, — не успею. Меня демобилизуют скоро. Указ вышел о демобилизации рядового и сержантского состава старших возрастов, военнослужащих-женщин и студентов высших учебных заведений.

— Тц-тц-тц! Минаса тоже демобилизовали бы. Куда он делся?.. Но я думаю, все-таки живой, вот сердце чувствует, понимаешь?

— Да... Тебя когда выпишут?

— Не знаю. Говорят, месяца через два, не раньше.

— А то б вместе домой поехали бы.

— Нет, Ивка, я домой не поеду. — Улыбка сошла со смуглого Ромкиного лица, густые черные брови сошлись у переносицы. — Что ты! Ни за что не поеду!

— Как это не поедешь? — изумился Ива. — Почему?

— Почему, почему... Что, с Жорой-моряком соревноваться? Кто быстрее, да?.. Он же не поехал домой.

— Так у него совсем другие обстоятельства. Джуля рассказывала мне.

— Обстоятельства, обстоятельства!.. У него другие, у меня тоже другие.

— Ну а как же... мама твоя? И отец?

— Почему я должен ехать? Лучше они пусть приезжают. Ко мне в Сибирь.

— В какую еще Сибирь, Ромка, о чем ты?

— Сибирь одна, что, географию забыл уже? Хороший парень приглашает, дзмагац * мой, здесь, в госпитале, познакомились, ну. Тоже, между прочим, повар. Теперь я пельмени делать буду. Или их в Сибири хинкали кушать научу. Настоящие хинкали, иф, какие — телавские! — И он поцеловал сложенные щепоткой пальцы.

— Выдумщик ты, Ромка! Какие еще хинкали?

— Я же говорю: телавские! Ты лучше другое скажи: Джулька тебе письма пишет?

— Пишет. Вчера как раз получил... — Ива помедлил. — А ты что, не сообщил домой про... про свое ранение?

— Нет пока, успеется. Из Сибири напишу... Ну, что Джулька? Ждет тебя, намеки делает, да? — Ромка подмигнул, покровительственно хлопнул Иву по плечу. — Ты ей сразу не поддавайся, чтоб не воображала, понял?

— Да ну тебя!.. Джуля написала, что Алик нашелся. Оказывается, был у партизан. Его отряд прошел рейдом аж до Словакии. И знаешь что: ему Героя Советского Союза присвоили!

— Ва! — Ромка всплеснул руками. — Посмотри, какой наш дом теперь знаменитый! Раньше один профессор с орденом был, а теперь? У меня смотри, какой орден! — Он кивнул на висевшую возле кровати гимнастерку. — Алик тоже ничего, отличился, молодец.

— Помнишь, Ромка, наше озеро Доброй Надежды?

— Почему не помню? Еще тост поднимали, чтобы все живыми вернулись.

— Да, теперь уж все... Только вот Минасика нет.

— Ты думаешь, совсем пропал Минас?

Ива покачал головой.

— Был бы жив, нашли бы его саперы. Откопали же они этих... гитлерюгендов. Никогда я их не забуду...

Ива возвращался в часть. Надо было все оформить, получить проездные документы, проститься с товарищами.

Он ехал в попутном «студебеккере», груженном ящиками с длинногорлыми пивными бутылками.

— Пей, не стесняйся! — угощал его сивоусый пожилой шофер. — Пей, сынок, за мое здоровье, мне за ру-

* Побратим (груз.).

лем нельзя. Последний рейс делаю, все, до дому, до хаты подаюсь — демобилизация!.. А ты служи, пока молодой... Бери, еще бери, пиво тут мировое.

Ива тянул из бутылки темное крепкое пиво, а перед глазами все стояла ударившая его по сердцу картина: верткое Ромкино тело, такое короткое, такое маленькое под байковым госпитальным одеялом...

«Как я теперь в лахти играть буду? — смеясь, кричал ему Ромка. — Не стоит мне теперь в лахти играть, правильно?..»

«Хинкальщику скажи: очень извиняюсь, но приехать не могу. Знаю, он говорил — ждать будет, но, что делать, не могу!..»

«Если Джулька тебе сына родит, не надо его Ромео называть. Назовите Карлом!..»

* * *

«Дорогие Софья Левановна и Гурген Арамович! Мне бесконечно трудно было начать это письмо. Меня ни на минуту не оставляет надежда, что наш Минас жив...»

Командир полка Вадимин медленно выводил слова. Подбирал их, болезненно морщась, виня себя во всем. Себя одного...

Учебный полк, из которого он с помощью военкома Каладзе забрал ребят, был оставлен в запасе. Ни боев, ни опасностей, ничего. Как же так получилось, зачем он вмешался в естественный ход событий, нарушил его и вот теперь, мучаясь, пишет письмо родителям, потерявшим единственного сына?..

Сколько их, единственных сыновей, не вернулось под отчий кров! Вадимин вспомнил старшину Потапенко, что вышел первым к границе и, тяжело раненный, продолжал стоять, опираясь на древко полкового знамени. Гриша Потапенко, умерший от ран в госпитале, сын Галины Пилиповны, незнакомой Вадиминову женщины из маленького села на Каменец-Подольщине...

«Меня ни на минуту не покидает надежда, что наш Минас все же жив». Все же... Несмотря ни на что... Вне всякого сомнения...

Нет, лучше оставить «все же». Все же жив...

Надо надеяться, надо обязательно надеяться!

Великий дар матерей — надеяться и верить. Надеяться на то, что сыновья их живы и невредимы. И верить в то, что они обязательно когда-нибудь вернутся домой...

Поезд остановился у маленькой станции. Прямо от насыпи круто вверх уходил склон горы. Окно вагона было открыто. Пахло влажной землей, травой и нагретыми солнцем шпалами.

— Дело дрянь, — сказал Ивин спутник, умудренный большим дорожным опытом сержант. — Говорят, в горах ливни прошли, даже снег ударил там, на самой верхотуре. Речки все сбесились тут же, и то ли размыло что-то, то ли обвал получился, но путь закрыт. Загорать будем целые сутки, а то и больше.

Было обидно застрять в самом конце пути, на этой безвестной станции, приткнувшейся к устью глубокого ущелья.

Речка, вздущаяся и грозная, с грохотом катила по дну пудовые валуны. Узенький подвесной мост перевернутым коромыслом висел над ней, и было страшно даже подумать, что по такому мосту может кто-то пройти.

Поезд стоял в тени горного склона, казалось, он отдыхает от трудной извилистой дороги, от бесконечных подъемов, тоннелей, от необходимости подолгу ждать на разъездах встречные составы. Он очень устал, этот поезд военной поры, вагоны его обветшали, ему надоело вечно спешить и, как правило, все равно опаздывать.

— Слышь, друг, — все тот же сержант тормозил задремавшего было Иву. — Кончай ночевать, есть сильное предложение. Говорят, тут до города десять километров всего, махнем туда пешком ходом — за полтора часа на месте будем. А от города машины через перевал напрямик чешут по шоссейке, понял? Навалом, говорят, машин, с ходу уедем. К утру дома окажемся, а то и раньше, как штык. — Он стукнул кулаком по стенке вагона. — Нехай эта колымага ждет себе, пока ей рельсы свиной тушенкой смажут. На хрена нам в ней вкруга тащиться, время терять?

Предложение было настолько заманчивым и таило в себе так много несомненных выгод, что Ива, не раздумывая долго, согласился.

Правда, до города они добрались не за полтора часа, а за все четыре, и машин, идущих через перевал, особенно на ночь глядя, было далеко не так много, как обещали сержанту, но все же под утро их согласился взять с собой развеселый водитель старенькой полуторки.

— Садись! — сказал он, широким жестом показы-

вая на щербатый кузов. — Поедем! Денег не надо! С солдат денег не берем. На мешки с кукурузой садись. На клетки с цыплятами не садись, не надо. Тормоза у меня плохие, одна фара не работает, но ничего, доедем, правильно?

— Правильно, — согласился Ива, забрасывая в кузов вещмешок.

Когда грузовик выбрался к перевалу, солнце уже поднялось высоко. В узких расщелинах белели остатки не ко времени выпавшего снега, такого необычного в эту августовскую пору. Он таял под лучами солнца, бурые ручейки перебегали шоссе, вспенивались под колесами машины.

«Я возвращаюсь, — думал Ива. — Тает снег, и я возвращаюсь!..»

Сержант спал на мешках с кукурузой. В клетках, сколоченных из дранок, попискивали заболтанные тряской цыплята.

Дважды отказывали тормоза, и машина мчалась вниз, как угорелая. Ветер свистел в ушах, шофер кричал что-то, по пояс высунувшись из окна кабины, а клетки с цыплятами прыгали точно живые. Ива с сержантом метались по кузову, как могли удерживали скачущие клетки, но одна все же ускользнула от них за борт полуторки, разбилась об асфальт, и цыплята разлетелись веером.

— Останови! — кричал шоферу сержант. — Закуска разлетается!

— Как я остановлю?! — возмущался тот. — Подъем начнется — сама остановится, а пока спуск, не видишь, да?

Ива смеялся во все горло. Ему было весело и хорошо. От этого сумасшедшего бега машины, от того, как разлетаются по ущелью цыплята, словно они не цыплята, а тетерева, от того, что тает под солнцем снег и он, Ива Русанов, живой и невредимый, возвращается домой...

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Часть первая</i>	3
<i>Часть вторая</i>	135

Астахов Е. Е.

А91 Наш старый добрый двор: Роман. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 271 с., ил. — (Стрела).

1 р. 10 к. 100 000 экз.

Остросюжетный роман о подростках, чье четырнадцатилетие совпало с началом войны. В романе четыре главных героя. На их долю выпадает последний, завершающий бой второй мировой войны. И принимают они его так, как подобает солдатам, — мужественно и честно. Книга рассчитана на массового читателя.

А 70302—173
078(02)—81—245—81. 4702010200

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 2685

Евгений Евгеньевич Астахов
НАШ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ДВОР

Редактор **Г. Калашникова**
Художник **К. Фадин**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **Н. Носова**
Корректоры **Г. Трибунская, Г. Василёва**

Сдано в набор 02.12.80. Подписано в печать 20.05.81. А00082.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 14,28. Учетно изд. л. 15,0. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 10 к. Заказ 1751.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сушцевская, 21.

1 р. 10 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ